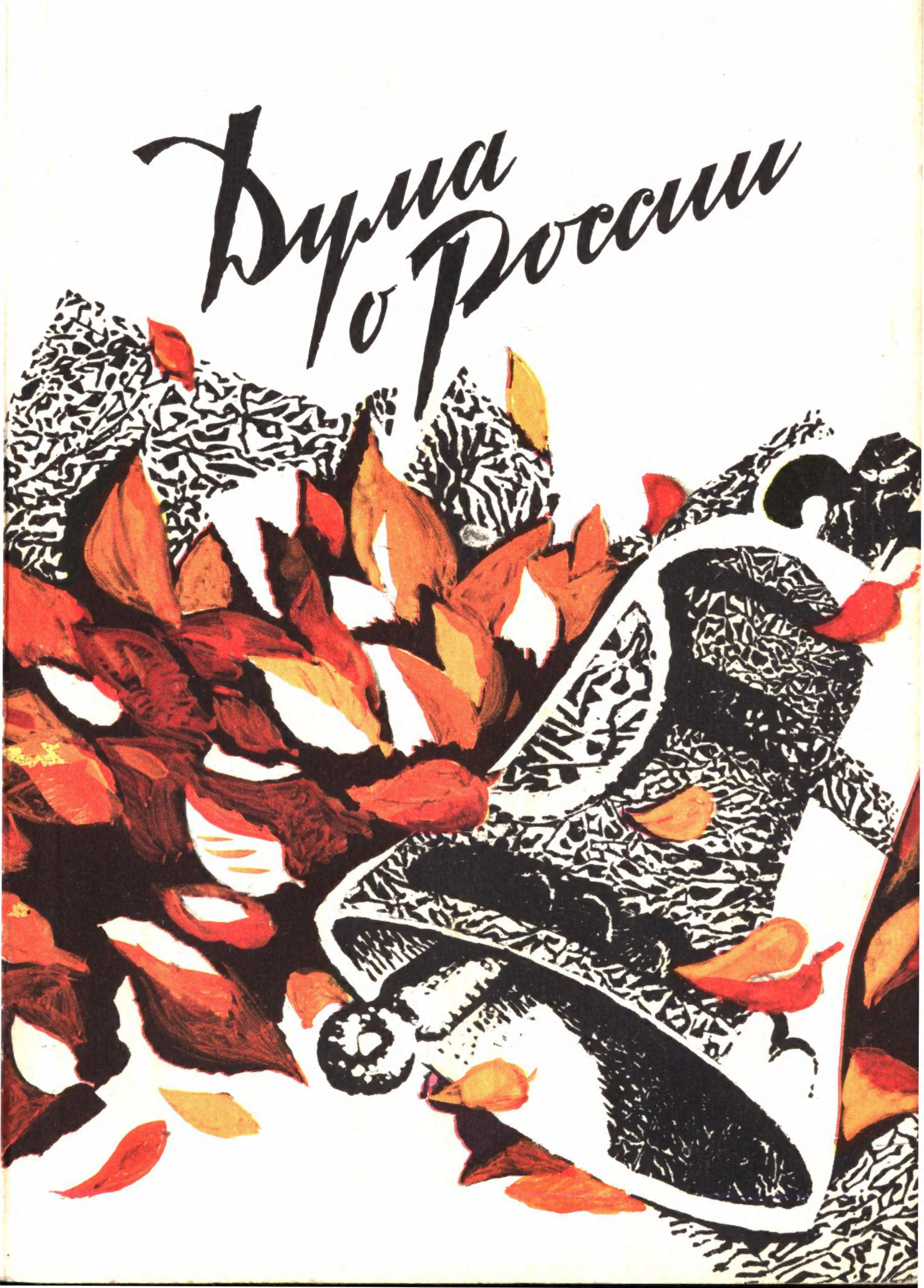
ДМИТРИЙ КЕДРИН

Дума о России



Дмитрий Кедрин





Дмитрий Кедрин

Дума о России

Москва. Издательство «Правда»
1990

84 Р 7
К 33

Составление
С. Д. Кедриной

Вступительная статья
Ю. Я. Петрунина

Иллюстрации и оформление
В. В. Кортовича

К $\frac{4702010200-1942}{080(02)-90}$ 1942—90

ISBN 5-253-00096-8

В 70-х годах сотрудники ленинградской Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина совместно с издательством «Книга» начали выпуск многотомного библиографического указателя «Русские советские писатели. Поэты». Материал в нем располагается в алфавитном порядке, и в десятом томе, изданном в 1987 году, очередь дошла до поэтов с фамилиями на букву «К». Тридцать страниц этого тома отведено Дмитрию Кедрину. Сюда вошли биографическая справка, полный перечень кедринских книг, а также отдельных его произведений с указанием времени и места их публикации. Завершается раздел,— как соответственно и другие персональные разделы тома, перечнем художественных произведений, посвященных самому поэту и его творчеству. Но если в большинстве случаев это пародии, то в кедринском разделе пародий только две, и более двадцати стихотворений написано в память о рано ушедшем из жизни поэте. Среди авторов — Николай Рубцов, Кайсын Кулиев, Всеволод Рождественский. В этом же ряду и самодеятельный поэт из Мытищ Михаил Жвирбля, ветеран Великой Отечественной войны, рабочий того подмосковного завода, где в начале тридцатых годов Кедрин был литсотрудником многотиражки. В указатель включено опубликованное местной городской газетой «За коммунизм» стихотворение Жвирбли «Когда поэта праведного чтут...».

Да, имя Дмитрия Кедрина почитается его коллегами. Образ талантливого певца России, «стареющего юноши в толстых очках», подлинного интеллигента, не изменившего своим принципам в сложнейшие тридцатые — сороковые годы, не то чтобы канонизируется, но за ним многие видят достойно прожитую жизнь и не растраченный всуе дар большого художника слова.

У кедринских стихов обширная читательская аудитория по всей стране (издают их и за рубежом). Достаточно привести такой пример — не залежался в книжных магазинах однотомник Кедрина, изданный четыре года назад в Перми трехсоттысячным тиражом. Этого поэта читают и те, кто обычно к поэзии не обращается, но знакомство с творчеством Кедрина нередко пробуждает у них интерес и к стихам других авторов.

В определенной степени популярность Кедрина связана с нелегкой его судьбой, с бытующими до сих пор легендами о загадочных или неустановленных обстоятельствах его рождения и смерти. Так, известно, что будущий поэт родился в 1907 году на руднике Богодуховском вблизи Донецка. Но достоверных сведений о его отце нет. Раннее детство Мити Кедрина (до шести лет) прошло в одном из сел неподалеку от города Балты, но в каком именно — никто сейчас не знает. Отголоски же тех рассветных лет, самых жадных на впечатления, чувствуются в стихотворении «Сердце», в «Песне про пана».

Отрочество Дмитрия Кедрина пришлось на бурные годы революций и интервенций, гражданской войны. Городом семнадцати властей назовет позже поэт свой Днепропетровск (тогда — Екатеринослав), куда он переехал с родными накануне первой мировой войны,— столько раз там переходила власть из рук в руки. Лишь в 1921 году, после ликвидации махновщины (ее основная база — город Гуляй-поле — относилась к той же Екатеринославской губернии) положение в округе стабилизировалось. Началось строительство новой жизни, одной из существенных примет которой стала культурная революция.

К грамоте, к знаниям, а через них — к активному участию в справедливом преобразовании мира, к творческому самораскрытию потянулись трудящиеся города и села. В Екатеринославе стала выходить молодежная газета «Грядущая смена». Сплотившийся вокруг нее рабкоровский актив вскоре выделил из своей среды литературно одаренных людей. И с осени 1923 года они начали выпускать свой ежемесячный журнал «Молодая кузница». Десятитысячный тираж быстро расходился — ведь в журнале сотрудничали товарищи и ровесники основной массы читателей. Такие, например, как двадцатилетние комсомольцы Михаил Светлов и Михаил Голодный, уже издавшие к тому времени первые свои книги. На следующий год в число активных авторов и «Грядущей смены», и «Молодой кузницы» вошел со своими стихами семнадцатилетний Дмитрий Кедрин. Еще через год первое кедринское стихотворение — «Погоня» — появляется уже в «Комсомольской правде».

Полон кровью рот мой черный,
Давит глотку потный страх,
Режет грудь мой конь упорный
О колючки на буграх...

Эти ранние публикации позволяли судить о несомненных способностях молодого екатеринославского стихотворца, ставшего после ухода из техникума путей сообщения постоянным сотрудником «Грядущей смены». Он свободно владел стихотворной техникой, легко подчинял замыслу слово и образ. Однако предсказать исходя из этого литературную

судьбу Мити Кедрина было пока невозможно. Дебютант с одинаковой легкостью писал и «в духе Есенина», и «под революционных романтиков». Пролеткультовские мотивы соседствовали у него с балладным строем, воспринятым от классической западноевропейской поэзии. А это значило, что свою дорогу, свою манеру ему еще предстояло искать. Будущий кедринский стих пока только брезжил в замыслах. На его формирование влияло многое — основательное знакомство с украинским и русским фольклором; культивируемое в семье уважение к Пушкину и Некрасову, Шевченко и Мицкевичу; жадный интерес к становлению молодой советской поэзии. Далеко не в последнюю очередь этические и эстетические принципы растущего поэта определялись и его полным слиянием с комсомолией 20-х годов.

Как и все «младокузнецы», Дмитрий Кедрин и мыслью, и словом, и делом поддерживал декларацию московского журнала «Молодая гвардия», обнародованную в декабре 1922 года: «Мы работаем, учимся творить и творим в гуще заводской и фабричной молодежи». С заданиями редакции он бывал на многих предприятиях города, выступал в красных уголках и общежитиях. Красноречивая деталь одного из ранних стихотворений — «легкий голод в часы последнего гудка» — не из воображения почерпнута. Такие строки появляются тогда, когда, по словам Маяковского, «каплей льешься с массами».

Замечательный поэт революции дважды побывал в Днепропетровске. Из воспоминаний Л. И. Кедриной известно, что «младокузнецы», и в том числе Дмитрий Кедрин, не пропустили ни одного выступления В. В. Маяковского в своем городе. Его уроки усваивались комсомольскими поэтами накрепко. Но сравнительно недавно стало известно, что примерно в те же годы Кедрин вел переписку с Максимилианом Волошиным, который, очевидно, был в его глазах продолжателем традиций русского классического стиха.

Именно такая готовность к восприятию уроков самых разных поэтических школ обещала со временем выработку интересной самостоятельной манеры. И молодому поэту из Днепропетровска удалось этого добиться. В некоторых его стихотворениях, созданных в середине 20-х годов, уже можно выделить сугубо кедринские обороты, мотивы, приемы. Встречаются они в «Казни» и «Кремле», в «Исповеди» и «Крылечке». В стихотворении «Затихший город» есть сожаление о том, что у голубых витрин стоит «слишком много восьмилетних нищих». Здесь угадывается один из ранних подходов к теме «Куклы». И вообще в зрелых кедринских стихах часто встречаются образы детей. В «Постройке», начинающейся с описания разрушенного дома, эскизно проглядывают трагические кедринские стихи осени 1941-го. Интересно вдуматься в отрывок из этого стихотворения, помеченного 1926 годом:

И нынче,
Я слышу,
Стучат молотки
В подвалах —
В столице мышиного царства:
Гранитный больной принимает глотки
Открытого доктором нэпом лекарства.

Такая благожелательная, хотя и высказанная вскользь, оценка нэпа была совсем не в духе «младокузнецов», да и вообще комсомольских поэтов той непростой поры. Значит, «Постройка» была написана человеком, способным вырабатывать и высказывать нестандартные суждения по серьезным социальным вопросам. А этому человеку тогда не исполнилось и двадцати лет.

Пройдет совсем немного времени, и будет написано стихотворение, с которого, по нашему мнению, начинается отсчет художнической зрелости Дмитрия Кедрина. Имеется в виду «Прошение» (1928) — пронзительной силы монолог старого крестьянина, доведенного до отчаяния и бесчувствия белогвардейским произволом. Его сын Петр, защищая свою жену от пьяного насильника в поручичьих погонах, сорвал «ненароком» один из этих погон, за что и был арестован как «большевистский гад». Старик просит пощадить сына, без которого всей семье впору погибать:

А мы с благодарностью — подводу, коня ли,
Последнюю рубашку, куда ни шло...
А если Петра уже разменяли —
    Просим отдать барахло.

В стихотворении около сорока строк, а как много в него вместилось — и ситуация, и три — как минимум — вполне зримых персонажа, и крестьянская психология. Потрясает концовка монолога. Потрясает без каких-либо громких слов и явных художественных приемов. Сила ее в достоверности. Рубашка на самом деле оказывается последней. Удивительно, что «Прошение» впервые было опубликовано, если не считать «Комсомольской правды» 1929 года, только в десятой по счету кедринской книге — в «Красоте» (1965). А ведь здесь уже можно разглядеть заявку на будущее обращение к историческим темам, к драме в стихах. В образе Петра, без которого «не обмолотить яровых», просматриваются черты Федора Коня. По крайней мере поручика этот осерчавший «мирный житель» встряхнул не слабее, чем Конь заносчивого опричника.

Переезд Дмитрия Кедрина в 1931 году в Москву (вслед за старши-

ми товарищами и земляками Михаилом Светловым и Михаилом Голодным) означал для него не просто приближение к центральным редакциям и издательствам. Не менее важны были смена обстановки, расширение кругозора. Город на Днепре, конечно, богат историческими именами и традициями, но средоточие их все-таки в Москве. К тому же в столице более чем где-либо ощущалась «живая история» — такой эпитет подобрал Кедрин, обдумывая накануне переезда основные направления своей литературной деятельности. Тогда же он записал как тему одного из задуманных произведений: «Метрополитен и кости бояр, казненных Иваном...»

Скорее всего дело случая, что в том же году после неудачных попыток обосноваться непосредственно в Москве Дмитрий Кедрин становится сотрудником многотиражки Мытищинского вагонного (ныне машиностроительного) завода, которому было поручено делать вагоны для первого в стране метрополитена. Но, возможно, сыграла свою роль и давняя учеба в техникуме путей сообщения. А заводская многотиражка, между прочим, выходила в свет под названием «Кузница».

В сентябре 1931 года в ней появилась статья о создании кружка рабочих авторов технической книги, подписанная двумя буквами «Д. К.». Так новый литсотрудник начал вникать в жизнь и проблемы большого подмосковного завода, положение которого в ту пору определялось малоприятным словом «прорыв» — был под угрозой годовой план. Страна, завершавшая первую пятилетку, недополучала от мытищинцев вагоны для электричек и трамваи. Заводские коммунисты начали бить тревогу еще в середине лета. Тогда-то «Кузница» из простой газеты «рабочих и служащих» стала «органом парткома и завкома». На помощь многотиражки крепко надеялись. И когда выяснилось, что за 9 месяцев на завод было принято 1366 человек, а уволилось 1204, «Кузница» поместила статью «Уничтожение текучести рабсилы — залог ликвидации прорыва». Одним из трех ее авторов был Дмитрий Кедрин. В статье обстоятельно говорилось о необеспеченности рабочих жильем и спецодеждой, о трудностях с питанием, об обезличке и частой переброске людей с участка на участок. Все это соответствовало истине, и тем не менее через несколько номеров в «Кузнице» появился разбор статьи о текучести кадров, в котором ее авторы обвинялись в хвостистских настроениях, поскольку они лишь отразили факты, а не мобилизовали вагоностроителей на ударную работу. Так молодой поэт прошел обработку политическими формулировками, а они тогда бывали и пострашнее.

В непосредственные обязанности литсотрудника Кедрина входили сбор материалов и подготовка к печати рабкоровских писем. Но вообще-то в редакции с ее штатом в два человека приходилось делать все. Тем

более что нагрузка постепенно нарастала — если сначала газета выходила один раз в десять дней, то потом один раз в пятидневку и, наконец, с мая 1932 года — каждые три дня. Кедрин писал и отчеты с собраний, и очерки, и репортажи, и фельетоны, и обзоры стенгазет. А до стихов руки не доходили. Одно из немногих исключений — приветствие зарубежным рабочим, приехавшим на завод по случаю 14-й годовщины Октября. Под его стихотворными строчками стоят подписи Дмитрия Кедрина и Павла Почтовика (редактора «Кузницы»).

Еще до начала работы в заводской газете Кедрин собрал рукопись первого своего стихотворного сборника (в основном из произведений, написанных уже в Москве), назвал ее «Свидетели» и отнес в Государственное издательство художественной литературы (ГИХЛ) Василию Казину. Тот пообещал дебютанту, что при положительном решении худсовета книга будет издана в начале 1932 года.

Как мы теперь знаем, книга действительно вышла под редакцией В. Казина и с тем же названием, но в сильно измененном и урезанном виде. И произошло это с опозданием — против первоначально обещанного срока — на целых восемь лет...

Дмитрий Кедрин, конечно, и предположить не мог, каким долгим будет ожидание. Он добросовестно работал в многотиражке, учил рабкоров владеть словом и сам подавал им в этом пример. Ему удавалось уже в заголовке материала сказать многое — «В девять дней рабочие вагоносборки прокуривают целый вагон», «Инженер Есученя притерся к стулу»... Литсотрудник собирал материалы для очерков, например, о заводском двадцатипятитысячнике В. Н. Суханове и не замечал, что сам становится героем книги. Книги, которая увидела свет намного раньше «Свидетелей». Речь идет о романе Александра Кононова «Упразднение Мефистофеля», созданном молодым прозаиком в основном на материале мытищинских впечатлений. Автор часто бывал на Вагонном, неплохо знал его людей и особенно дружил с газетчиками. В романе, имеющем подзаголовок «Хроника событий и чувств», среди действующих лиц есть литсотрудник многотиражки. В этом герое было нечто от Кедрина, но в еще большей степени черты поэта угадывались в образе писателя Фирсова, от лица которого велось повествование. И когда роман в 1932 году увидел свет, заводские книгочеи сразу же разобрались, кто с кого «списан».

Среди стихотворений, входящих в кедринские книги, лишь в одном («Христос и литейщик») прямым включением, как бы сказали мы сейчас, показан мытищинский завод:

Тонет в грохоте Швеллерный,
Сборка стрекочет и свищет,
Гидравлический ухает,

Кузня разводит пары.
Это дышит Индустрия,
Это Вагонный в Мытищах,
Напрягаясь, гудит,
Ликвидируя долгий прорыв.

Дыхание индустрии, прочувствованное поэтом в годы, отданные заводской газете, осталось с ним на всю жизнь. Когда в стихах военной поры мы встречаем у Кедрина редкое, специальное слово «бессемер» («Все Бессемеры тыла, как один, солдату отвечают: «Будь спокоен!»), то объяснить его появление совсем нетрудно. Несколько месяцев оно не сходило со страниц «Кузницы», взявшей шефство над строительством сталелитейного цеха. И был рапорт газете «Правда»: «Коллектив Мытищинского вагонного завода сегодня, 8 ноября, дает первую сталь нового Бессемера». В поэме «Уральский литейщик», несмотря на ее четкую географическую привязку, история обычной рабочей семьи выстроена на основе прежде всего подмосковных, мытищинских впечатлений и знакомств поэта, который сам восточнее Уфы не бывал.

И все-таки основное, что дала Дмитрию Кедрину его работа в большом заводском коллективе, — это возможность личного участия не только в технической реконструкции завода, а в более сложном деле — в воспитании нового человека.

«Надо много и внимательно наблюдать жизнь»,— напишет он, уже став консультантом, одному начинающему литератору. Для него самого наблюдение, причем длительное, не в жестких рамках творческой командировки, за жизнью многотысячного отряда вагоностроителей было большой школой. Действенность ее уроков была усилена тем, что Кедрин и наблюдал, и активно вмешивался в ход наблюдаемого, деятельно поддерживал тягу рабочего человека к культуре, ко всему передовому. Себя же он при этом отнюдь не считал неким венцом творения, перлом создания. Некоторые свои качества он мысленно заносил на «черную доску» — была такая в «Кузнице» наряду с привычной нам «Доской почета».

Пожалуй, одно из наиболее самокритичных стихотворений Кедрина — это «Двойник», где автор в число своих предков включает недоросля, изучая в себе самом признаки обывателя,— «равно неприязненный всем и всему,— он в жизнь эту входит, как узник в тюрьму...»

Провозгласив сердце ареной борьбы, которую ведет сама эпоха, поэт подкрепляет этот обязывающий образ стихами-поступками, затрагивающими самых близких ему людей. В «Кровинке» и «Беседе» лирический герой ведет нелицеприятный разговор с собственной матерью и с женой. Ситуации разные, но у них общая подоплека — социальная неустроенность быта. Печать времени в обоих стихотворениях прояви-

лась в том, что в них сильны обвинительные ноты. Нынешнему читателю с этим трудно согласиться или примириться. Прав был Евгений Евтушенко, заметивший по поводу «Кровинки», что вообще недопустимо так говорить о матери. Но давайте посмотрим с другой стороны — за что заступается поэт? И там, и там — за жизнь, взятую в ее крайних проявлениях. В «Беседе» его волнует судьба еще не родившегося человека:

Послушай, а что ты скажешь, если он будет Моцарт,
Этот неживший мальчик, вытравленный тобой?

В «Кровинке» речь идет о жизни старой матери — о жизни, под ударами быта превратившейся в убогое существование. Женщина, которая когда-то «влюблялась, кисейные платья носила, читала Некрасова», не просто поблекла и поседела. У нее между неподъемными жерновами рынка и кухни «душа искрошилась, как зуб, до корня». А сын никак не может согласиться с ее мольбами жить потише, без волнений, пряча от людей свою суть.

Затем, что она исповедует примус,
Затем, что она меж людей, как в лесу,—
Мою угловатую непримиримость
К мышиной судьбе я, как знамя, несу.

Нелегко дается поэту этот разговор. Дважды по ходу его меняется характер обращения к матери: с третьего лица — ко второму и обратно к третьему («родная кровинка течет в ее жилах» — «дотла допылала твоя красота» — «мне хочется расколдовать ее морок»). Концовка стихотворения подчеркнуто активна — «Я все ж поведу ее, ей вопреки!». Если бы сказано было «поведу тебя», то решение сына вывести мать на «солнечный берег житейской реки» осталось бы внутрисемейным делом. Здесь же свидетелем решительных слов делается читательская масса.

С этой точки зрения интересно сопоставить «Кровинку» с одним из наиболее известных кедринских стихотворений — с «Куклой». В нем тоже борьба за настоящую жизнь, на этот раз — за жизнь маленькой соседской девочки, дочери вечно пьяного грузчика.

Известно, как высоко оценил «Куклу», попавшуюся ему на глаза в редакции журнала «Красная новь», Алексей Максимович Горький. Когда осенью 1932 года на его квартире состоялась встреча членов правительства с ведущими писателями, Горький специально послал человека в редакцию «Красной нови» за этим произведением молодого поэта. И потом попросил обладавшего звучным голосом Владимира

Луговского: «Прочти, да прочти получше!» Луговской читал в полной тишине, а Горький взмахами руки отмечал самые важные места. Чем ему понравилась «Кукла»? Наверно, прежде всего гуманной направленностью, честным показом того, как непросто сдаются времени сырые норы с их нищим «уютом». И, конечно, пониманием целей, которые ставила перед собой Страна Советов.

Если бы сам Дмитрий Кедрин мог быть свидетелем этого важного события! Какой бы творческий импульс оно ему дало! Ведь ему и тогда, и потом так не хватало надежной поддержки. Именно в том году должна была увидеть свет его первая книга, но почему-то дело остановилось. И ту же «Куклу» — до Горького — печатать в «Красной нови» совсем не торопились. Ни одну московскую редакцию не заинтересовала «Гибель Балабоя», тематически перекликавшаяся с булгаковским «Бегом». А с этим стихотворением Кедрин связывал немалые надежды.

Невозможность выйти к читателю с основными своими произведениями и, следовательно, предстать перед ним в полный рост не могла не угнетать поэта. Он писал своему днепропетровскому другу Федору Сорокину: «Быть маленьким я не хочу, в большие меня не пустят... Понять, что ты никогда не расскажешь другим того большого, прекрасного и страшного,— что чувствуешь,— очень тяжело. Это опустошает дотла».

В 1935 году Кедрин написал «Приданое» — не самую трагическую, но самую, пожалуй, печальную из своих поэм. Используя большую историческую отдаленность описываемых событий (без малого на тысячу лет), поэт оснастил свою версию печальной судьбы поэта Фердуси (в современной транскрипции — Фирдоуси) очевидным автобиографическим подтекстом, усилил ее собственными переживаниями, предчувствиями. Много лет Фердуси сочинял замечательную книгу о сражениях и победах, книгу, где стих вился «легким золотом по черни». Однако шах, которому поэт отправил свой заветный труд, не торопился с ним познакомиться — «разве это государственное дело?». Так Фердуси и не дождался каравана с заслуженными наградами.

Стон верблюдов горбоносых
У ворот восточных где-то,
А из западных выносят
Тело старого поэта.

Ориентация ворот могла быть, в принципе, любой, но тело поэта выносят у Кедрина все-таки из западных, чтобы раздвинуть сугубо восточные рамки легенды.

Впервые для себя серьезно затронув в «Приданом» давнюю тему взаимоотношений поэта (художника, мастера) и властителя, Кедрин не раз еще обратится к ней в дальнейшем. И параллельно возникает одно

из объяснений их извечного конфликта — неукротимое стремление мастера к совершенствованию своих творений.

Фердуси все время казалось, что мало еще алмазов блещет на его страницах, что он может сделать «завязки приключений» еще более чудесными. И он неутомимо переделывал написанное. Но ведь точно так же поступают у Кедрина и строитель Федор Конь, и Рембрандт, а безымянные владимирские зодчие успевают только высказать свою уверенность в том, что могут создать храм еще более благолепный, чем возведенный ими храм Покрова. Все эти мастера так или иначе поплатились за свою творческую дерзость. Такое многократное повторение сюжетного хода, конечно же, не случайно. Кедрин упорно проводил очень важную для него мысль о природном праве таланта на полное раскрытие и на самостоятельность в принятии творческих решений.

В литературоведении есть понятие — Главная книга писателя. Дмитрия Кедрина иногда называют в этом смысле автором «Зодчих». Несомненно, в трагической истории о страшной царской «милости» кедринское начало проявилось наиболее ярко, сконцентрированно. И все-таки в Главной книге этого поэта, на наш взгляд, намного больше страниц — это все то, что осталось и надолго еще останется в благодарной памяти читателей. Все то, чего он не мог не написать.

Да, у него были полосы неверия в свое будущее. Длительная работа «в стол», странная медлительность издательств, непонимание со стороны некоторых редакционных работников — все это, конечно, омрачало настроение. И молодой еще человек начинает иногда думать о неудаче всей своей жизни. В кедринской лирике, относящейся к середине 30-х годов, часты срывы в минор. Вот, например, стихотворение «Соловей». Слушая ночную птицу, поэт ощущает, что в его крови горчит тридцатая осень, а обещанное признание так и не пришло. И уже готов он горем назвать свой песенный дар, уже проклинает соловья: «Мрачна твоя горькая власть... Ты вороном станешь, проклятый, за то, что морочил меня!»

Однако, кроме лирической струны, в распоряжении Дмитрия Кедрина имелась и эпическая. Она откликается не десятилетиям, а векам, набирает звучание исподволь, согласуясь с лирической струной, но и не только с ней. Еще — со всем постоянно накопляемым богатством знаний, впечатлений, раздумий. В этом обилии и зарождаются — у каждого творца по-своему — эпические замыслы.

В 1933 году Кедрин начал работу над поэмой «Свадьба». Она, похоже, тогда же была начерно написана вся. Но под окончательным вариантом текста значится дата — 1940. А опубликована она будет впервые через тридцать с лишним лет. Говоря коротко, это поэма о всесокрушающей силе любви, перед которой не устояло даже сердце

Аттилы, предводителя гуннов, чьи походы сотрясали Европу. Вождь свирепых варваров умер в ночь своей свадьбы: от избытка не испытанных ранее чувств разорвалась воловья оболочка его безжалостного сердца.

Неудивительно, что подобная тема смогла занять воображение молодого поэта. Поражает другое — направленная мощь художнической фантазии, убедительное воссоздание в зримых образах самого движения гуннских орд, фигуры их предводителя. Емкие, неожиданные детали вроде закладок из папских библий, попавших в гриву мула, позволяют на сравнительно небольшом стиховом пространстве разместить масштабную картину смены цивилизаций. Незабываемы краски и звуки (да и запахи) дикого свадебного пира. Здесь есть счастливо найденная подробность:

Над дикой свадьбой,
Очумев в дыму,
Меж закопченных стен чертога
Летал, на цепь посаженный, орел —
Полуслепой, встревоженный, тяжелый.
Он факелы горящие сшибал
Отяжелевшими в плену крылами.

Не скрепленные рифмой строки «Свадьбы» все равно представляются неразъемными. Слова в них подогнаны так, как бревна в древних теремах, возводившихся порой без единого гвоздя.

По-деловому сухой и бесстрастный финал поэмы («сыграли тризну», «вождя зарыли», «рабов зарезали», «скрылись») — это уже формальное завершение сюжета. Главное сказано до того: существует в мире сила, с которой не справиться даже вооруженным полчищам покорителей Европы. Стоит перечитать то место, где сказано о неодолимом противнике Аттилы, чтобы представить, с каким наслаждением поэт писал его. «За шиворот поднял бы дикаря... и поборол бы вновь». Ведь истинный поэт всегда ощущает себя на стороне любви и красоты, тогда как дикость, жестокость, подлость — извечные его враги.

Время возникновения у Кедрина замысла крупного произведения о Пушкине точно неизвестно. Можно сказать, что образ великого нашего соотечественника постоянно присутствовал в его сознании. Об этом легко судить по целому ряду стихотворений. В том же «Двойнике» лирический герой, объясняя происхождение светлой стороны своего «Я», заявляет: «Пушкин — мой дед». Потом в осеннем пейзаже возникнет «элегический пушкинский дождик». В стихах о жизни и гибели Грибоедова некто, осадив коня перед печальной повозкой, спросит о своем тезке: «Что везете, друзья?» В ритмах «Ермака» без труда

угадывается «Песнь о вещем Олеге». Но это относится уже к предпоследнему году жизни Кедрина. А в 1937-м, когда в стране широко отмечали столетие со дня смерти Пушкина, написана «Сводня» — глава из задуманной повести в стихах. Это как бы первое действие трагедии, завершившейся выстрелом на Черной речке.

Барон Геккерен красноречиво уговаривает Наталью Николаевну ответить на притязания Дантеса. Она долго и молча слушает старого сводника, пока рассерженный муж не находит ее и не увозит домой. Есть мнение, что «Сводня» — вполне законченная вещь. Ее идея — саморазоблачение врага поэта и вообще врагов любого творца. Особое коварство доводов барона о пушкинской непрактичности и нелояльности состоит в том, что они внушаются жене Александра Сергеевича. А как подло звучат слова о полезности страданий для поэта!

А будет он страдать — обогатится лира:
Она ржавеет в душном счастье мира.

Причина отказа от первоначального замысла могла заключаться и в том, что Кедрин после первой же главы почувствовал: Пушкин как центральный герой слишком близок ему и в личном, и в историческом плане. Сочинять за него монологи он просто не решился бы. Хорошо известные факты пушкинской биографии стали бы помехой для создания обобщенного образа Поэта, как это удалось с Фердуси. Ведь Кедрин-историк никогда не выступал в роли дотошного биографа той или иной исторической личности.

Автор первой изданной в Москве книги о Кедрине Петр Тартаковский[1] справедливо много места — две главы из пяти — отвел анализу именно исторических произведений поэта. Убедительны его выводы о том, как Кедрин выбирал героев для своих поэм (преимущественно из простых людей) и как он раскрывал их характеры (через деятельность прежде всего). Исследователем тонко подмечено кедринское чувство меры в использовании старинных слов и вообще реалий затронутой эпохи. Тартаковский пишет: «В Кедрине историк никогда не берет верх над художником». Но дальше он противоречит сам себе, говоря о «достоверности в изображении больших и малых событий и фактов, к которой стремился и которой достигал Дмитрий Кедрин».

Более поздний исследователь кедринского творчества Геннадий Красухин[2] убедительно оспорил утверждение коллеги о достоверности как самоцели. Правда, он от себя добавил эпитет «абсолютная достоверность», которого не было у Тартаковского. А доказательства были почти

---

[1] Тартаковский П. Дмитрий Кедрин.— М.: Сов. писатель, 1963.
[2] Красухин Г. В присутствии Пушкина.— М.: Сов. писатель, 1985.

на виду. Взять, к примеру, «Зодчих». Сведенные там вместе по воле автора создатели храма Покрова и «живописная артель монаха Андрея Рублева» на самом деле жили и творили в разные века.

И наряду с этим хорошо известно, как серьезно готовился Кедрин к каждому своему проникновению в ту или иную отдаленную эпоху. Он всегда старался познакомиться со свидетельствами современников (если они имелись), штудировал ученые труды, обдумывал и переосмыслял соответствующую художественную литературу. И, конечно, это делалось не для того, чтобы создать стихотворный вариант летописи или главы из учебника истории. Исторические поэмы Кедрина не могут заменить ни того, ни другого. Но интерес к прошлому — и прежде всего своего народа — они пробуждают и поддерживают, сохранению памяти о славных и трагических деяниях давних веков — служат, задуматься о чести и подлости, о творчестве и насилии — заставляют. И читатель становится участником движения поэтической легенды по цепи поколений. Историческое предание помогает порой осмыслить и объяснить современные автору события.

Исследователи творчества Дмитрия Кедрина отмечают неслучайность появления «Зодчих» именно в 1938 году.

...И тогда государь
Повелел ослепить этих зодчих...
...Соколиные очи
Кололи им шилом железным...
...Их клеймили клеймом...

В страшную пору, когда от имени государства рабочих и крестьян приспешники Сталина клеймили позором лучших сыновей советского народа, опасно было даже намекнуть на то, что легко читается за словами о «страшной царской милости». У думающих и честных людей эти строки, само их появление рождали, наверное, тайную радость — не переводятся на русской земле смелые, несгибаемые таланты! Смелость одного человека помогала и другим найти в себе силы для внутреннего хотя бы отпора. В том же черной памяти году «Зодчие» были напечатаны трижды. Сначала в мартовской книжке «Красной нови», а потом еще в сборниках «День советской поэзии» и «Победители» (редактором-составителем последнего был Иосиф Уткин).

В следующем году Дмитрий Кедрин с помощью журнала «Новый мир» выходит к всесоюзному читателю с «Песней про Алену-старицу», где отважная сподвижница Степана Разина накликивает на царя «беду неминучую» и где под конец песенный лад перебивается прямым обли-

чением державного зла: «Все звери спят. Все люди спят, одни дьяки людей казнят».

Тема противостояния человека из народа и самодержца развивается повестью в стихах «Конь». В противоположность «Зодчим» зачин ее связан не с победой («Как побил государь Золотую Орду...»), а с бедой — с московским пожаром от татарских стрел. И в таком случае еще больше нужны Москве мастера и умельцы. Федор Конь — один из них. «Устав от плотницкой работы...» — такими словами Конь вводится в действие. Подрядившись построить дом опричнику Штадену, он сверх договора, от себя, украсил ворота резными птицами — чтоб из этих ворот «легко езжалось хозяйским санкам». Но опричник не оценил душевного порыва Коня и, более того, оскорбил мастера. Ну, а тот не стерпел обиду и треснул по шее царского слугу. С того и начались злоключения работящего и талантливого русского мужика.

Зодчему, возведшему стены и башни московского Белого города, довелось испытать и батоги, и тюрьму, и горький хлеб бродяжничества. Повесть насыщена событиями, которые описаны зримо, динамично, с неизменным сочувствием к русскому самородку. К достоинствам «Коня» следует отнести и то, что, кроме притеснения таланта, мы видим и сам талант, его становление. Строительство Белого города показано не менее интересно и живо, чем побег Коня с Соловков или облава в Серебряном бору. Момент, когда зодчему на месте только что построенной башни увиделось более совершенное сооружение, дает читателю возможность сопережить одно из сокровенных состояний любого творца. Это состояние можно назвать моментом роста.

В однотомниках Дмитрия Кедрина «Рембрандт» обычно стоит особняком как единственное драматическое произведение. Но надо бы уточнить, что это единственная *дошедшая до нас* кедринская драма в стихах. А кроме нее, в том же жанре была написана «Параша Жемчугова». По воспоминаниям Л. И. Кедриной, над трагической историей знаменитой крепостной актрисы поэт работал около десяти лет. Практически завершенная рукопись ее бесследно пропала осенью 1941-го. Значит, «Рембрандт» был уже второй кедринской драмой в стихах. И если подготовительный период ее создания занял у автора около двух лет, то непосредственно на ее сочинение у него ушло всего лишь полтора месяца. Кедрин даже стеснялся потом признаваться в этом. Константин Симонов, например, считал, что «Рембрандт», написанный прекрасными стихами, потребовал нескольких лет труда. Интересно высказался об этом незаурядном произведении Владимир Луговской: «В самой своей большой и сильной вещи, в пьесе о Рембрандте, Кедрин показал нам художника, богатого духом... художника, который писал правдиво, честно и неподкупно. И в этом много от творческой характеристики самого Кедрина».

Драматическая форма давала автору возможность вложить в уста главного героя — «живописца нищих», потомка свободолюбивых гёзов — самые прогрессивные представления о сути и назначении искусства. Рембрандт не просто провозглашает высокие принципы — он подтверждает их каждой картиной и всей жизнью. «Бессмертный вкус нам дан, чтоб разглядеть и в прачке Афродиту»,— говорит великий художник, собираясь в виде богини изобразить Хендрике — служанку, дочь трубача. Постоянное общение с простыми людьми необходимо ему не только из-за поиска моделей, а также для того, чтобы из душной бюргерской среды возвращаться в свежую атмосферу нормальных человеческих отношений, где всё определяют труд и честь, а не мошна и знатность. «Натуру я ищу в них, может быть, а может, совесть...»

Впервые «Рембрандт» был опубликован в трех номерах журнала «Октябрь» за 1940 год. При этом Кедрину было предложено сократить текст драмы на несколько страниц. Поэт выполнил требование редакции. С тех пор «Рембрандт» так и перепечатывался в журнальном варианте. Читатели этой книги впервые получают возможность познакомиться с полным текстом замечательной драмы.

Так, в третьей картине восстановлен эпизод посещения мастерской Рембрандта амстердамскими купцами, когда в отсутствие хозяина бургомистр Сикс распускает сплетни о нем. Еще одна сцена связана с портретом Сикса. В целом они существенно дополняют образ этого коварного врага художника. В нем еще яснее угадываются черты современных нам высокопоставленных бюрократов — их тщеславие, алчность, беспринципность, претензии с высоты своей власти судить об искусстве.

Ну, наконец остепенились вы!
Я понимаю вас,— я сам писатель.

Публикация «Рембрандта» в центральном журнале, отмеченная к тому же литературной общественностью, не означала все же полной победы автора. Драму должны оценивать не читатели, а зрители. И примерно через год наметилась возможность первой постановки «Рембрандта». В одно из летних воскресений Кедрин должен был встретиться с режиссером. Но это было 22 июня — день, перечеркнувший многие и многие планы.

Великая Отечественная война, воспринятая Дмитрием Кедриным как общенародная беда, в творческом плане означала для него отказ от эпических замыслов и почти полное сосредоточение на лирике. Пришлось отложить на потом путешествия в прошлые века, так как фашистское нашествие ставило под угрозу само существование русского народа — вместе с его характером, со всей его историей и свершениями. Поэтому одной из основных тем гражданской лирики Кедрина стала

тема защиты Родины от вражеского посягательства.

Большая часть стихотворений, созданных поэтом за первые два военных года, включена им в рукописи книг «День гнева» и «Русские стихи». Книги эти так и не были изданы. Более того, ни в одном из сборников поэта не было еще таких разделов. Лишь в настоящей книге воля автора наконец-то учтена. Причем некоторые произведения из состава «Дня гнева», например, «16 октября», до этого издания печатались только в периодике.

Зенитка била около моста.
Гора мешков сползала со скамеек.
И подаянья именем Христа
Просил оборванный красноармеец.

Хотя бы только по этим строчкам можно судить о том, что в советской поэзии периода Великой Отечественной Дмитрий Кедрин занимает свое особое, ни с кем не разделяемое место. Своим именным знаком он как бы застолбил два пласта тем. О первом уже немного говорилось. Это стихи-призывы, стихи-обращения к соотечественникам, насыщенные историческими реалиями России. Основной их композиционный прием — неисчерпаемый ряд с перечислением всего, что дорого русской душе. И подмосковные пейзажи, и музейные реликвии, и славные имена наших патриотов, и «кудрявая вязь палешан», и обычные мальчишки у дороги — все это и многое другое поэт вводит в ткань стиха, вызывая священное чувство мести, укрепляя решимость в борьбе.

Запомни:
Всё это — Россия,
Которую топчут враги.

Второй тематический пласт условно можно назвать стихотворным дневником жителя прифронтовой полосы. До подмосковного поселка Черкизово, где жила семья Кедриных, в которой перед самой войной родился сын, немцы не дошли примерно пятнадцать километров. Быт на фоне нарастающей канонады Кедрин сумел запечатлеть откровенно, без умолчаний. Следуя собственному девизу — «поэзия требует полной обнаженности сердца»,— он не скрывает ни своей подавленности первоначальным ходом событий, ни даже моментов отчаяния. Но и в отчаянии личная судьба не отделяется от общенародной. Война воспринимается поэтом как завод, производящий страдания.

Но что за уши мне даны?
Оглохший в громе этих схваток,
Из всей симфонии войны
Я слышу только плач солдаток.

Воздушные тревоги, ожидание бомбежки, очереди за хлебом, слезные проводы на фронт — все вместил лирический дневник очевидца. Но и сверх того зафиксировано нечто, долго-долго еще не попадавшее на страницы книг: «В Казань бежали опрометью главки», «Народ ломил на базах погреба», «Из Уфы вернутся паникеры и тотчас забудут про нее...».

Как человек с крайне ослабленным зрением (минус семнадцать!) Кедрин не был военнообязанным. Сделав одну неудачную попытку эвакуироваться, он потом неоднократно пытался попасть в действующую армию. А в ожидании ответов на свои заявления он много и упорно работал над стихами и над переводами из антифашистской поэзии народов СССР. Многое из переведенного тогда тут же печаталось — в газетах (в том числе в «Правде»), в журналах и коллективных сборниках. В мае 1943 года Кедрин все-таки добился своего — его направили на Северо-Западный фронт работать в качестве писателя в газете Шестой воздушной армии «Сокол Родины». И в течение девяти месяцев из номера в номер на ее страницах он в стихах и прозе ведет боевую летопись отважных летчиков. Близкое знакомство с хозяевами фронтового неба дает Кедрину не только темы для оперативных откликов — благодаря им он еще глубже постигает характер своего народа и у него рождаются новые творческие замыслы.

В последнем рабочем блокноте Дмитрия Кедрина помечены десятки тем и направлений будущей литературной работы. Он собирался написать об Андрее Рублеве и Ломоносове, поэму о комсомольцах Краснодона и стихи о Стеньке Разине, полуфантастический роман о войне и книгу «О психологии творчества», «Заметки к истории русской авиации» и сатирическую вольную поэму...

Даже на стадии планов такая жажда творческого освоения истории и современности не может не волновать. По существу, эти кедринские заметки и наброски можно отнести к разряду исторических свидетельств того самого общественного подъема — типа декабристского,— который формировался в сознании пришедших с войны победителей. К сожалению, в условиях культа Сталина, когда требовались не творцы и мыслители, а «винтики», надеждам на раскрепощение духа не суждено было сбыться. Не воплотились в литературную реальность и творческие замыслы Дмитрия Кедрина. 18 сентября 1945 года по дороге из Москвы в Черкизово он погиб от рук убийцы (или убийц)...

Можно только гадать о том, звездой какого масштаба стал бы Кедрин, доведись ему исполнить задуманное. А ведь до нас и так дошло

не все, написанное им. Тем не менее этот скромнейший человек, не отмеченный никакими премиями или наградами, своим талантом, поставленным на службу народу, заслужил одно из самых почетных званий — он поэт читаемый.

В 1966 году, то есть через двадцать с лишним лет после гибели Кедрина, Ярослав Смеляков сказал о его стихах: «Думаю, что со временем их значение будет возрастать». Прошло еще более двадцати лет, и предсказание мастера можно смело повторить.

Творчество человека, чьи слова «огромная совесть стоит за плечами» были подтверждены всей его жизнью, оказывается весьма созвучным эпохе перестройки. Нам дорог кедринский интерес к отечественной истории, его сыновняя озабоченность судьбой Родины, неизменная демократичность его позиции. Кедрина издают и читают, ставят в театре и поют с эстрады, его цитируют и изучают в школе, с ним спорят и солидаризируются — он продолжает участвовать в текущем литературном процессе и в нашей общественной жизни. И это надолго.

Юрий Петрунин

Дума о России





КРАСОТА

Эти гордые лбы винчианских мадонн
Я встречал не однажды у русских крестьянок,
У рязанских молодок, согбенных трудом,
На току молотивших снопы спозаранок.

У вихрастых мальчишек, что ловят грачей
И несут в рукаве полушубка отцова,
Я видал эти синие звезды очей,
Что глядят с вдохновенных картин Васнецова.

С большака перешли на отрезок холста
Бурлаков этих репинских ноги босые...
Я теперь понимаю, что вся красота —
Только луч того солнца, чье имя — Россия!

5 сентября 1942

* * *

Да, и такой, моя Россия...
А. Блок

Хочешь знать, что такое Россия —
Наша первая в жизни любовь?
Милый друг! Это ребра косые
Полосатых шлагбаумных столбов.
Это щебет в рябиннике горьком,
Пар от резвых коней на бегу,
Это желтая заячья зорька,
След на сахарном синем снегу.

Это пахарь в портах полотняных,
Пес, что воет в ночи на луну,
Это слезы псковских полонянок
В безутешном ливонском плену,
Это горькие всхлипы гармоник,
Свет далеких пожаров ночных,
Это — кашка, татарка и донник
На высоких могилах степных.
Это — эхо от песни усталой,
Облаков перелетных тоска,
Это свист за далекой заставой
Да лучина в окне кабака.
Это хлеб в узелке новобранца,
Это туз, что нашит на плечо,
Это дудка в руке Самозванца,
Это клетка, где жил Пугачев.
Да, страна наша не была раем:
Нас к земле прибивало дождем.
Но когда мы ее потеряем,
Мы милей ничего не найдем.
18 сентября 1942

* * *

Я не знаю, что на свете проще?
Глушь да топь, коряги да пеньки.
Старая березовая роща,
Редкий лес на берегу реки.

Капельки осеннего тумана
По стволам текут ручьями слез.
Серый волк царевича Ивана
По таким местам, видать, и вез.

Ты родись тут Муромцем Илюшей,
Ляг на мох и тридцать лет лежи.
Песни пой, грибы ищи да слушай,
Как в сухой траве шуршат ужи.

На сто верст кругом одно и то же:
Глушь да топь, чижи да дикий хмель...
Отчего ж нам этот край дороже
Всех заморских сказочных земель?
20 сентября 1942

АЛЕНУШКА

Стойбище осеннего тумана,
Вотчина ночного соловья,
Тихая царевна Несмеяна —
Родина неяркая моя!

Знаю, что не раз лихая сила
У глухой околицы в лесу
Ножичек сапожный заносила
На твою нетленную красу.

Только всё ты вынесла и снова
За раздольем нив, где зреет рожь,
На пеньке у омута лесного
Песенку Аленушки поешь...

Я бродил бы тридцать лет по свету,
А к тебе вернулся б умирать,
Потому что в детстве песню эту,
Знать, и надо мной певала мать!
9 октября 1942

***

Такой ты мне привиделась когда-то:
Молочный снег, яичная заря.
Косые ребра будки полосатой,
Чиновничья припрыжка снегиря.

Я помню чай в кустодиевском блюдце,
И санный путь, чуть вьюга улеглась,
И капли слез, которые не льются
Из светло-серых с поволокой глаз...

Что ж! Прав и я: бродяга — дым становий,
А полководец — жертвенную кровь
Любил в тебе... Но множество любовей
Слилось в одну великую любовь!
1944



ЦЫГАНКА

Устав от разводов и пьянок,
Гостиных и карт по ночам,
Гусары влюблялись в цыганок,
И седенький поп их венчал.

«Дворянки» в капотах широких
Навагу едали с ножа,
Но староста знал, что оброка
Не даст воровать госпожа.

И слушал майор в кабинете,
Пуская дымок сквозь усы,
Рассказ, как «мужицкие» дети
Барчатам разбили носы!..

Он знал, что когда он отдышит
И сляжет, и встретит свой час,—
Цыганка поднимет мальчишек
И в корпус кадетский отдаст.

И вот уходил ее сверстник,
Ее благодетель — во тьму,
И пальцы в серебряных перстнях
Глаза закрывали ему.

Под гул севастопольской пушки
Вручал старшина Пантелей
Барчонку от смуглой старушки
Иконку и триста рублей.

Старушка в наколке нелепой
По дому бродила с клюкой,
И скоро в кладбищенском склепе
Ложили ее на покой.

А сыну глядела Россия,
Ночная метель и гроза
В немного шальные, косые,
С цыганским отливом глаза...

Доныне в усадебке старой
Остались следы этих лет:
С малиновым бантом гитара
И в рамке овальной портрет.

В цыганкиных правнуках слабых
Тот пламень дотлел и погас,
Лишь кровь наших диких прабабок
Нам кинется в щеки подчас.

16 января 1944



КОЛОКОЛ

В колокол, мирно дремавший,
Тяжелая бомба с размаха
Грянула...

А. К. Толстой

В тот колокол, что звал народ на вече,
Вися на башне у кривых перил,
Попал снаряд, летевший издалече,
И колокол, сердясь, заговорил.

Услышав этот голос недовольный,
Бас, потрясавший гулкое нутро,
В могиле вздрогнул мастер колокольный,
Смешавший в тигле медь и серебро.

Он знал, что в дни, когда стада тучнели
И закрома ломились от добра,
У колокола в голосе звенели
Малиновые ноты серебра.

Когда ж врывались в Новгород соседи
И был весь город пламенем объят,
Тогда глубокий звон червонной меди
Звучал, как ныне... Это был набат!

Леса, речушки, избы и покосцы
Виднелись с башни каменной вдали.
По большакам сновали крестоносцы,
Скот уводили и амбары жгли...

И рухнули перил столбы косые,
И колокол гудел над головой
Так, словно то сама душа России
Своих детей звала на смертный бой!
30 августа 1942

* * *

Россия! Мы любим неяркий свет
Твоих сиротливых звезд.
Мы косим твой хлеб. Мы на склоне лет
Ложимся на твой погост.

Россия! Ты — быстрый лесной родник,
Степной одинокий стог,
Ты — первый ребячески звонкий вскрик,
Глухой стариковский вздох.

Россия! Мы все у тебя в долгу.
Ты каждому — трижды мать.
Так можем ли мы твоему врагу
В служанки тебя отдать?..

На жизнь и на смерть пойдем за тобой
В своей и чужой крови!
На грозный бой, на последний бой,
Россия, благослови!
Декабрь 1942 г.

РОДИНА

Весь край этот, милый навеки,
В стволах белокорых берез,
И эти студеные реки,
У плеса которых ты рос.

И темная роща, где свищут
Всю ночь напролет соловьи,
И липы на старом кладбище,
Где предки уснули твои.

И синий ласкающий воздух,
И крепкий загар на щеках,
И деды в андреевских звездах,
В высоких седых париках.

И рожь на полях непочатых,
И эта хлеб-соль средь стола,
И псковских соборов стрельчатых
Причудливые купола.

И фрески Андрея Рублева
На темной церковной стене,
И звонкое русское слово,
И в чарочке пенник на дне.

И своды лабазов просторных,
Где в сене — раздолье мышам,
И эта — на ларчиках черных —
Кудрявая вязь палешан.

И дети, что мчатся, глазея,
По следу солдатских колонн,
И в старом полтавском музее
Полотнища шведских знамен.

И санки, чтоб вихрем летели!
И волка опасливый шаг,
И серьги вчерашней метели
У зябких осинок в ушах.

И ливни — такие косые,
Что в поле не видно ни зги...
Запомни:
Всё это — Россия,
Которую топчут враги.

16 августа 1942 г.

КЛАДЫ

Смоленск и Тула, Киев и Воронеж
Своей прошедшей славою горды.
Где нашу землю посохом ни тронешь —
Повсюду есть минувшего следы.

Нас дарит кладами былое время:
Копни лопатой — и найдешь везде:
Тут — в Данциге откованное стремя,
А там — стрелу, каленную в Орде.

Зарыли в землю много ржавой стали
Все, кто у нас попировал в гостях!
Как памятник стоит на пьедестале,
Так встала Русь на вражеских костях.

К нам, древней славы неусыпным стражам,
Взывает наше прошлое, веля,
Чтоб на заржавленном железе вражьем
И впредь стояла русская земля!

3 октября 1942

ПОЛУСТАНОК

Седой военный входит подбоченясь
В штабной вагон, исписанный мелком.
Рыжебородый тощий ополченец
По слякоти шагает босиком.

Мешком висит шинель на нем, сутулом,
Блестит звезда на шапке меховой.
Глухим зловещим непрерывным гулом
Гремят орудья где-то под Москвой.

Проходит поезд. На платформах — танки.
С их башен листья блеклые висят.
Четвертый день на тихом полустанке
По новобранцам бабы голосят.

Своих болезных, кровных, богом данных
Им провожать на запад и восток...
А беженцы сидят на чемоданах,
Ребят качают, носят кипяток.

Куда они? В Самару — ждать победу?
Иль умирать?.. Какой ни дай ответ,—
Мне все равно: я никуда не еду.
Чего искать? Второй России нет!
11 октября 1941

ВОРОН

В сизых тучках
Солнце золотится —
Точно рдеет
Уголек в золе...
Люди говорят,
Что ворон-птица
Сотни лет
Кочует по земле.

В зимний вечер
В роще подмосковной,
Неподвижен
И как перст один,
На зеленой
Кровельке церковной
Он сидит,
Хохлатый нелюдим.

Есть в его
Насупленном покое
Безразличье
Долгого пути!
В нем таится
Что-то колдовское,
Вечное,
Бессмертное почти!

«Отгадай-ка,—
Молвит он,—
Который
Век на белом свете
Я живу?
Я видал,
Как вел Стефан Баторий
Гордое шляхетство
На Москву.

Города
Лежали бездыханно
На полях
Поруганной земли...
Я видал,
Как орды Чингисхана
Через этот бор
С востока шли.

В этот лес
Французов
Утром хмурым
Завела
Недобрая стезя,
И глядел на них я,
Сыто щуря,
Желтые
Ленивые глаза.

Я потом
Из темной чащи слышал,
Как они бежали второпях,
И свивали полевые мыши
Гнезда
В их безглазых черепах.

Тот же месяц
Плыл над синим бором,
И закат горел,
Как ярый воск.
И у всех у них
Я, старый ворон,
Из костей
Клевал соленый мозг!»

Так и немцы:
Рвутся стаей хищной,
А промчится год —
Глядишь,
Их нет...
Черной птице
Надо много пищи,
Чтоб прожить на свете
Сотни лет.

Декабрь 1941



НЕТ!

Вон та
Недалекая роща,
Вся в гнездах
Крикливых грачей,
И холм этот,
Кашкой заросший,—
Уж если не наш он,
Так чей?

Поди
И на старом кладбище
Родные могилы спроси:
Ужель тебе
Сирым и нищим
Слоняться опять
По Руси?

Неужто
Наш кряжистый прадед,
Татарскую
Смявший басму,
Сказал бы:
«Пусть судит и рядит
Чужак
В моем крепком дому»?

Затем ли
Над зыбкою с лаской
Склонялась
Румяная мать,
Чтоб перед солдатом
Германским
Шапчонку
Мальчишке ломать?

К тому ли
Наш край нами нажит,
Чтоб жег его
Злобный сосед?..
Спроси —
И народ тебе скажет
Мильоноголосое:
Нет!
6 мая 1942

ДУМА О РОССИИ

Широка раскинулась Россия,
Много бед Россия выносила:
На нее с востока налетали
Огненной метелицей татары,
С запада, затмив щитами солнце,
Шли стеною на нее ливонцы.
«Вот ужо,— они ее пугали,—
Мы в песок сотрем тебя ногами!
Погоди, мол, вырастет крапива,
Где нога немецкая ступила...»

Бил дозорный в било на Пожаре,
К борзым коням ратники бежали,
Выводил под русским небом синим
Ополченье тороватый Минин,
От неволи польской и татарской
Вызволяли Русь Донской с Пожарским,
Смуглая рука царя Ивана
Крестоносцев по щекам бивала.
И чертили по степным яругам
Коршуны над ними круг за кругом,
Их клевало на дорогах тряских
Воронье в монашьих черных рясках,
И вздымал над битой вражьей кликой
Золотой кулак Иван Великий...

Сеял рожь мужик в портах посконных,
И Андрей Рублев писал иконы,
Русичи с глазами голубыми
На зверье с рогатиной ходили,

Федька Конь, смиряя буйный норов,
Строил чудотворный Белый город,
Плошка тлела в слюдяном оконце,
Девки шли холсты белить на солнце,
Пели гусли вещего Баяна
Славу прошлых битв, и Русь стояла,
И Москва на пепле вырастала,
Точно голубятня золотая...

Нынче вновь кривые зубы точит
Враг на русский край. Он снова хочет
Выложить костьми нас в ратном поле,
Волю отобрать у нас и долю,
Чтобы мы не пели наших песен,
Не владели ни землей, ни лесом,
Чтоб влекла орда тевтонов пьяных
Наших жен в шатры, как полонянок,
Чтобы наши малые ребята
От поклонов сделались горбаты,
Чтоб лишь странники брели босые
По местам, где встарь была Россия...

Не бывать такому сраму, братцы!
Грудью станем! Будем насмерть драться!
Изведем врага! Штыком заколем!
Пулею прошьем! Забьем дрекольем!
В землю втопчем! Загрызем зубами,
А не будем у него рабами!
Ястреб нам крылом врага укажет,
Шелестом трава о нем расскажет,
Даль заманит, выдаст конский топот,
Русская река его утопит...
Не испить врагу шеломом Дона!
Русские не склонятся знамена!
Будем биться так, чтоб видно было:
В мире нет сильнее русской силы!
Чтоб остались от орды поганой
Только безыменные курганы,
Чтоб вовек стояла величаво
Мать Россия, наша жизнь и слава!
1942



ГРИБОЕДОВ

Помыкает Паскевич,
Клевещет опальный Ермолов...
Что ж осталось ему?
Честолюбие, холод и злость.
От чиновных старух,
От язвительных светских уколов
Он в кибитке катит,
Опершись подбородком на трость.

На груди его орден.
Но, почестями опечален,
В спину ткнув ямщика,
Подбородок он прячет в фуляр.
Полно в прятки играть.
Чацкий он или только Молчалин —
Сей воитель в очках,
Прожектер,
Литератор,
Фигляр?

Прокляв а́нглийский клоб,
Нарядился в халат Чаадаев,
В сумасшедший колпак
И в моленной сидит, в бороде.
Дождик выровнял холмики
На островке Голодае,
Спят в земле декабристы,
И их отпевает... Фаддей!

От мечты о раве́нстве,
От фраз о свободе натуры,
Узник Главного штаба,
Российским послом состоя,

Он катит к азиятам
Взимать с Тегерана куруры,
Туркменчайским трактатом
Вколачивать ум в персиян.

Лишь упрятанный в ящик,
Всю горечь земную изведав,
Он вернется в Тифлис.
И, коня осадивший в грязи,
Некто спросит с коня:
«Что везете, друзья?»
— «Грибоеда.
Грибоеда везем!» —
Пробормочет лениво грузин.

Кто же в ящике этом?
Ужели сей желчный скиталец?
Это тело смердит,
И торчит, указуя во тьму,
На нелепой дуэли
Нелепо простреленный палец
Длани, коей писалась
Комедия
«Горе уму».

И покуда всклокоченный,
В сальной на вороте ризе,
Поп армянский кадит
Над разбитой его головой,
Большеглазая девочка
Ждет его в дальнем Тебризе,
Тяжко носит дитя
И не знает,
Что стала вдовой.
1936

РАСПУТИН

В камнях вылуща, в омутах вымоча,
Стылый труп отрыгнула вода.
Оста́лась от Григорий Ефимыча
Много-много — одна борода!
Дух пошел. Раки вклещились в бороду.
Примерзает калоша ко льду.

Два жандарма проводят по городу
Лошадь с прахом твоим в поводу.
И бредут за санями вдовицами
Мать-царица и трое княжон...
Помнишь: баба твоя белолицая
Говорила: «Не лезь на рожон!»
Нет! Поплелся под арки Растрельины
С посошком за горючей мечтой!..
Слушай, травленный, топленный, стрелянный,
Это кто ж тебя так и за что?
Не за то ли, что кликал ты милкою
Ту, что даже графьям неровня?
Что царицу с мужицкой ухмылкою
Ты увел, как из стойла коня?..
Слизни с харями ряженых святочных!
С их толпою равняться тебе ль?
Всей Империи ты первый взяточник,
Первый пьяница, первый кобель!..
Помнишь, думал ты зорькою тающей:
«Не в свою я округу забрел!»
Гришка-Гришка! Высоко летаешь ты,
Да куда-то ты сядешь, орел?
Лучше б травы косить. Лучше б в девичьей
Щупать баб да петрушку валять,
Чем под нож дураков Пуришкевичей
Бычье горло свое подставлять!
Эх, пройтиться б теперь с песней громкою
В заливные луга, где косьба!..
Хоть и в княжьих палатах — да фомкою
Укокошили божья раба!
1935

ПРОШЕНИЕ

Ваше благородие! Теперь косовица,
Хлебушек сечется, снимать бы пора.
Руки наложить? На шлее удавиться?
Не обмолотить яровых без Петра.

Всех у нас работников — сноха да внучек.
Молвить по порядку, я врать не люблю,
Вечером пришли господин поручик
Вроде бы под мухой. Так, во хмелю.

Начали — понятное дело: пьяный,
Хмель хотя и ласковый, а шаг до греха,—
Бегать за хозяйкой Петра, Татьяной,
Которая нам сноха.

Ты из образованных? Дворянского рода?
Так не хулигань, как последний тать.
А то повалил посреди огорода,
Принялся давить, почал хватать.

Петр — это наш, это — мирный житель:
А ни воровать, а ни гнать самогон.
Только, ухватившись за ихний китель,
Петр ненароком сорвал погон.

Малый не такой, чтобы драться с пьяным,
Тронул их слегка, приподнял с земли.
Они же осерчали. Грозя наганом,
Взяли и повели.

Где твоя погибель — поди приметь-ка,
Был я у полковника, и сам не рад.
Говорит: «Расстреляем!» Потому как Петька
Будто бы есть «большевистский гад».

Ваше благородие! Прилагаю при этом
Сдобных пирогов — напекла свекровь.
Имей, благодетель, сочувствие к летам,
Выпусти Петра, пожалей мою кровь.

А мы с благодарностью — подводу, коня ли,
Последнюю рубашку, куда ни шло...
А если Петра уже разменяли —
Просим отдать барахло.

1929
Днепропетровск

ГИБЕЛЬ БАЛАБОЯ

В порванной кубанке, небритый, рябой,
Ходит по Берлину Василь Балабой.
У Васьки на сердце серебряный хрестик,
Бо Васька — герой Ледяного Похода.
А только — пошли вы с тым хрестиком вместе к...
То есть, извиняюсь... Дождик... Погода...
Шапка у пуху. Сапоги у глине.

Пожалиться некому,— разговорчик детский!
Мало ль этой людки у том у Берлине?
И ведь каждая тварь говорит по-немецки!
Отшумел ты, Вася! Труба нам с тобой!
Блин с тебя, любезный Василь Балабой!
Ты ли пановал малярийной Кубанью,
Чуб носил до губ, сапоги до бедра?..
Молодость проел ты и ряшку кабанью,
Ту, что нагулял на харчах у Шкура!..
Всякому понятно, что щука в пруде
Чувствует себя, как рыба в воде!
Перышко возьми да на счетах подбей-ка:
Что ж тебе осталось? Подводит бока...
Трубка-носогрейка да бритва-самобрейка,
То есть — молочко от рябого бычка...
В порванной кубанке, небритый, рябой,
Тощий и в растерзанном виде,
Шляясь по Берлину, Василь Балабой
Зашел к атаману Гниде.
Ходит она, гнида, в малиновых штанах,
Грудь у ей, у гниды, уся в орденах,
Ментик на гниде с выпушкой.
Кушают они с лапушкой.
Вытерла усы от блинов от пшеничных:
«Кто его впустил, такую ворону? —
Масло облизала.— Пройдите, станичник!
Я уже пожертвовал. В церковь. Крону...» —
Злость его взяла, не хватило ли сил
(Он ведь пер на Орел, с-под Царицына драпал),
Голова ль закружилась, а только Василь
Шапку скинул, завыл, опрокинулся на пол:
«За ваши за души, за эти гроши
Клинком оглоушен я, пулей прошит.
Вы гребли в сундуки серебро и меха,
Запаскудили совесть и душу сожгли мою!..
Для чего под Ростовом я клал потроха
За твою за Единую да Неделимую?!»
Взял Балабоя денщик-текинец,
Дал натощак Балабою гостинец,
Сел Балабой между лип на бульваре,
Возле плевательниц на Фридрихштрассе...
Скрипка мяукает где-то в баре,
Молодость вспомнилась... Скучно, Вася!..
Так-то. Людям — хресты и медали,
А нам, медведям, ничего не дали!

Варька, прощай! Я дарил тебе мыло.
Ты, чай, поешь на морском берегу:
«Девять я любила, восемь разлюбила,
Одного позабыть не могу!..»
За что же? За удаль ночного погрома?
За хмель? За каемку погона?..
Ерема, Ерема, сидел бы ты дома,
Точил бы свои веретена!
1931

ДУМА

Батька сыну говорит: «Не мешкай!
Навостри, поди, кривую шашку!..»
Сын на батьку поглядел с усмешкой,
Выпил и на стол поставил чашку.

«Обойдется! — отвечал он хрипло.—
Стар ты, батька, так и празднуй труса,
Ну, а я еще горелки выпью,
Сала съем и рушником утруся».

Всю субботу на страстной неделе
До рассвета хлопцы пировали,
Пиво пили, саламату ели,
Утирали губы рукавами.

Утром псы завыли без причины,
Крик «Алла!» повис над берегами.
Выползали на берег турчины,
В их зубах — кривые ятаганы.

Не видать конца турецкой силе:
Черной тучей лезут янычары!
Женщины в селе заголосили,
Маленькие дети закричали.

А у тех османов суд короткий:
Женскою не тронулись слезою,
Заковали пахарей в колодки
И ведут невольников к Азову.

Да и сам казак недолго пожил,
Что отцу ответил гордым словом:
Снял паша с хмельного хлопца кожу
И набил ее сухой половой.

Посадил его, беднягу, на кол,—
Не поспел казак опохмелиться!..
Шапку снял и горестно заплакал
Над покойным батька смуглолицый:

«Не пришлось мне малых внуков нянчить
Под твоею крышей, сыну милый!
Я стою, седой, как одуванчик,
Над твоею раннею могилой.

Знать, глаза тебе песком задуло,
Что без пользы сгинул ты, задаром.
Я возьму казацкую бандуру
И пойду с бандурой по базарам,

Подниму свои слепые очи
И скажу такое слово храбрым:
Кто в цепях в Стамбул идти не хочет —
Не снимай руки с казацкой сабли!..»
1939

ПЕСНЯ ПРО СОЛДАТА

Шилом бреется солдат,
Дымом греется...

Шли в побывку
Из Карпат
Два армейца.

Одному приснилось:
Мать
Стала гневаться,
А другой шел
Повидать
Красну девицу.

Под ракитой
Небольшой,
Под зеленою,
Он ту девицу
Нашел
Застреленную.

А чумак
Уху варит
При конце реки.
«Шли тут нынче,—
Говорит,—
Офицерики.
Извели они,
Видать,
Девку гарную!..»

И подался
Тот солдат
В Красну Армию.
1938

КРЫМ

Старинный друг, поговорим,
Старинный друг, ты помнишь Крым?
Вообразим, что мы сидим
Под буком темным и густым.
Медуз и крабов на мели
Босые школьники нашли,
За волнорезом залегли
В глубоком штиле корабли.
А море, как веселый пес,
Лежит у отмелей и кос
И быстрым языком волны
Облизывает валуны.
Звезда похожа на слезу,
А кипарисы там, внизу,—
Как две зеленые свечи
В сандалом пахнущей ночи.
Ты закурил и говоришь:
— Как пахнет ночь! Какая тишь!
Я тут уже однажды был,
Но край, который я любил,
Но Крым, который так мне мил,
Я трехдюймовками громил.
Тогда, в двадцатом, тут кругом
Нам каждый камень был врагом,
И каждый дом, и каждый куст...
Какая перемена чувств!
Ведь я теперь на берегу
Окурка видеть не могу,

Я веточке не дам упасть,
Я камешка не дам украсть.
Не потому ль, что вся земля,—
От Крыма и до стен Кремля,
Вся до последнего ручья —
Теперь ничья, теперь моя?
Пусть в ливадийских розах есть
Кровь тех, кто не успел расцвесть,
Пусть наливает виноград
Та жизнь, что двадцать лет назад
Пришла, чтоб в эту землю лечь,—
Клянусь, что праздник стоит свеч!
Смотри! Сюда со связкой нот
В пижаме шелковой идет
И поднимает скрипку тот,
Кто грыз подсолнух у ворот.
Тропинкой, города правей,
В чадры укрыты до бровей
Уже татарки не идут:
Они играют в теннис тут.
Легки, круглы и горячи,
Летят над сеткою мячи,
Их отбивают москвичи —
Парашютистки и врачи...
Наш летний отдых весел, но,
Играя в мяч, идя в кино,
На утлом ялике гребя,
Борясь, работая, любя,—
Как трудно дался этот край,
Не забывай, не забывай!..
Ты смолк. В потемках наших глаз
Звезда крылатая зажглась.
А море, как веселый пес,
Лежит у отмелей и кос,
Звезда похожа на слезу,
А кипарисы там, внизу,
Нам светят, будто две свечи,
В сандалом пахнущей ночи...
Тогда мы выпили до дна
Бокал мускатного вина,
Бокал за родину свою,
За счастье жить в таком краю,
За то, что Кремль, за то, что Крым
Мы никому не отдадим.

1935



В ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

В тайге, в болотах, вдалеке,
На голубой Амгунь-реке
Поселок Керби мирно спит,
Сугробы месяц серебрит.
Скажи: давно ли вся страна
Узнала эти имена?
Ту осень не забудем мы.
Туман. Предчувствие зимы.
И первых заморозков лед
И утром проводы в полет
Троих отважных дочерей
Великой родины моей.
Мы будем помнить эти дни,
Когда не знали мы о них,
И плыл на розыски в полет
За самолетом самолет.
И жгли костры плотовщики
На берегах Амгунь-реки,
И шел в обход охотник тот,
Что векшу в глаз дробинкой бьет.
Тайга... Лишайники... Вода...
Но все в порядке. Ведь когда
Сто семьдесят мильонов их,
Друзей и родичей твоих,—
Они обшарят там и тут
Всю землю и тебя найдут!
В свинцовых глазках пряча злость,
К ним шел медведь — незваный гость,
Лишь три патрона в кобуре,
И что за вкус в сырой коре?
Замел полянку ту снежок,
Куда Раскова свой прыжок
Направила. Ольшаник тот,

Где Осипенко самолет
Остановила, нынче тут
Мороз. Потрескивает куст.
Кругом болото разлилось.
Тут бурый мишка, частый гость,
Разрыв сердито мерзлый мох,
Находит... меховой сапог.
Мы вспоминаем их полет,
А Гризодубова поет
Под лампой светлою в тени:
— Вздохни, Соколик, и засни!
Спит вся Москва. И вдалеке,
На голубой Амгунь-реке,
Поселок Керби мирно спит,
Сугробы месяц серебрит...
1938

ДОБРО

Потерт сыромятный его тулуп,
Ушастая шапка его, как склеп,
Он вытер слюну с шепелявых губ
И шепотом попросил на хлеб.

С пути сучковатой клюкой нужда
Не сразу спихнула его, поди:
Широкая медная борода
Иконой лежит на его груди!

Уже, замедляя шаги на миг,
В пальто я нащупывал серебро:
Недаром премудрость церковных книг
Учила меня сотворять добро.

Но вдруг я подумал: к чему он тут,
И бабы ему медяки дают
В рабочей стране, где станок и плуг,
Томясь, ожидают умелых рук?

Тогда я почуял, что это — враг,
Навел на него в упор очки,
Поймал его взгляд и увидел, как
Хитро шевельнулись его зрачки.

Мутна голубень беспокойных глаз
И, тягостный, лицемерен вздох!
Купчина, державший мучной лабаз?
Кулак, подпаливший колхозный стог?

Бродя по Москве, он от злобы слеп,
Ленивый и яростный паразит,
Он клянчит пятак у меня на хлеб,
А хлебным вином от него разит!

Такому не жалко ни мук, ни слез,
Он спящего ахает колуном,
Живого закапывает в навоз
И рот набивает ему зерном.

Хитрец изворотливый и скупой,
Он купит за рубль, а продаст за пять.
Он смазчиком проползет в депо,
И буксы вагонов начнут пылать.

И если, по грошику наскоблив,
Он выживет, этот рыжий лис,—
Рокочущий поезд моей земли
Придет с опозданьем в социализм.

Я холодно опустил в карман
Зажатую горсточку серебра
И в льющийся меж фонарей туман
Направился, не сотворив добра.
1933



ХРИСТОС И ЛИТЕЙЩИК

Ходит мастер Грачев
Между ломом наполненных бочек,
Закипает вагранка,
И вязкая шихта густа.

Растворяются двери,
И пятеро чернорабочих
На тяжелой тележке
В литейку привозят Христа.
Он лежит, как бревно,
Перед гулкой сердитой вагранкой,
Притаившись молчит,
Как баран под ножом на торгу.
На челе его — венчик.
На впалой груди его — ранка.
И Грачев молотком
Ударяет в зеленый чугун!

«Ты мне адом грозил,
Жизнь и труд у меня отбирая,
Ты мне рай обещал
За терпенье мое на земле,
Я не верю в тебя.
Мне не нужно ни ада, ни рая.
Собирайся, обманщик,
Ты сам побываешь в котле!
Хочешь ты или нет,—
Ты нас выручишь, идол грошовый,
Ты нам дашь свое тело,—
Густой и тягучий металл.

Переплавив тебя,
Мы в вагонах чугунной дешевой,
Облегченной деталью
Заменим цветную деталь.
Те, с тележкою, ждут.
И Грачев говорит: «Унесите!»
Рельсы глухо звенят,
И вагранка бурлит горячо.
«Не греши, человек!» —
Лицемерно взывает спаситель.
«Я сварю тебя, боже!» —
Ему отвечает Грачев.
И чугунного бога
К вагранке несут приседая,
И смеясь погружают
В горячий кисель чугуна.
Он скрывается весь,
Лишь рука миродержца худая,
Сложена для креста,

Из вагранки вылазит одна.
Он вздымал эту руку
С перстом, заостренным и тонким,
Проповедуя нищим
Смиренье в печали земной,
Над беременной бабой,
Над чахлым цинготным ребенком,
Над еврейским погромом,
Над виселицей, над войной.

Мастер ходит вокруг,
Подсыпая песок понемногу,
Мастер пену снимает,
И рыжая пена редка.
«Убери твою руку!» —
Грачев обращается к богу,
А вагранка бурлит,
И она исчезает, рука...

Исчезает навеки!
С размаху по лживому богу
Человек тяжело
Ударяет железным багром,
Чтоб с Христом заодно
Навсегда позабыли дорогу
В нашу чистую землю
И виселица и погром!

Тонет в грохоте Швеллерный,
Сборка стрекочет и свищет,
Гидравлический ухает,
Кузня разводит пары.
Это дышит Индустрия,
Это Вагонный в Мытищах,
Напрягаясь, гудит,
Ликвидируя долгий прорыв.

Я люблю этот гул,
Я привык к механическим бурям,
Я на камень сажусь
Меж набитых землею опок.
И подходит Грачев.
И Грачев предлагает: «Закурим...»

Что ж, товарищ, закурим,
Покуда он варится — бог.
1933



СОЛОВЬИНЫЙ МАНОК



***

Любезный читатель! Вы мрак, вы загадка.
Еще не снята между нами рогатка.
Лежит моя книжка под Вашей рукой.
Давайте знакомиться! Кто Вы такой?
Быть может, Цека посылает такого
В снега, в экспедицию «Сибирякова»,
А может быть, чаю откушав ко сну,
Вы дурой браните больную жену.
Но нет, Вы из первых. Вторые скупее,
Вы ж царственно бросили 20 копеек,
Раскрыли портфель и впихнули туда
Пять лет моей жизни, два года труда.
И если Вас трогают рифмы, и если
Вы дома удобно устроитесь в кресле
С покупкой своей, что дешевле грибов,—
Я нынче же Вам расскажу про любовь
Раскосого ходи с работницей русской,
Китайца роман с белобрысой Маруськой,
Я Вам расскажу, как сварили Христа,
Как Байрон разгневанный сходит с холста,
Как к Винтеру рыбы ввалились гурьбою,
Как трудно пришлось моему Балабою,
Как шлет в контрразведку прошенье мужик
И как мой желудок порою блажит.
Порой в одиночку, по двое, по трое,
Толпою пройдут перед Вами герои.
И каждый из них принесет Вам ту злость,
Ту грусть, что ему испытать довелось,

Ту радость, ту горечь, ту нежность, тот смех,
Что всех их роднит, что связует их всех.
Толпа их... Когда, побеседовав с нею,
Читатель, Вам станет немного яснее,
Кого Вам любить и кого Вам беречь,
Кого ненавидеть и чем пренебречь,—
За выпись в блокноте, за строчку в цитате,
За добрую память — спасибо, читатель!..
Любезный читатель! А что, если Вы
Поклонник одной лишь «Вечерней Москвы»,
А что, если Вы обыватель и если
Вас трогают только романы Уэдсли.
Увы! Эта книжка без хитрых затей!
Тут барышни не обольщают детей,
Решительный граф, благородный, но бедный,
Не ставит на карту свой перстень наследный,
И вкруг завещания тайного тут
Скапен с Гарпагоном интриг не плетут!..
Двугривенный Ваш не бросайте без цели,
Купите-ка лучше коробочку «Дели».
Читать эту книжку не стоит труда:
Поверьте, что в ней пустячки, ерунда.
1932

АФРОДИТА

Протирая лорнеты,
Туристы блуждают, глазея
На безруких богинь,
На героев, поднявших щиты.
Мы проходим втроем
По античному залу музея:
Я, пришедший взглянуть,
Старичок завсегдатай
И ты.
Ты работала смену
И прямо сюда от вальцовки.
Ты домой не зашла,
Приодеться тебе не пришлось.
И глядит из-под фартука
Краешек синей спецовки,
Из-под красной косынки —
Сверкающий клубень волос.

Ты ступаешь чуть слышно,
Ты смотришь, немножко робея,
На собранье богов
Под стволами коринфских колонн.
Закатившая очи,
Привычно скорбит Ниобея,
Горделиво взглянувший,
Пленяет тебя Аполлон.

Завсегдатай шалеет.
Его ослепляет Даная.
Он молитвенно стих
И лепечет, роняя пенсне:
«О небесная прелесть!
Ответь, красота неземная,
Кто прозрел твои формы
В ночном ослепительном сне?»
Он не прочь бы пощупать
Округлость божественных ляжек,
Взгромоздившись к бессмертной
На тесный ее пьедестал.
И в большую тетрадь
Вдохновенный его карандашик
Те заносит восторги,
Которые он испытал.
«Молодой человек! —
Поучительно,
С желчным присвистом,
Проповедует он,—
Верьте мне,
Я гожусь вам в отцы:
Оскудело искусство!
Покуда оно было чистым,
Нас божественной радостью
Щедро дарили творцы».
«Уходи, паралитик!
Что знаешь ты,
Нищий и серый?
Может быть, для Мадонны
Натурой служила швея.
Поищи твое небо
В склерозных распятьях Дюрера,
В недоносках Джиотто,
В гнилых откровеньях Гойя́».
Дорогая, не верь!

Если б эти кастраты, стеная,
Создавали ее,
Красота бы давно умерла.
Красоту создает
Трижды плотская,
Трижды земная
Пепелящая страсть,
Раскаленное зренье орла.
Посмотри:
Все богини,
Которые, больше не споря,
Населяют Олимп,
Очутившийся на Моховой,
Родились в городках
У лазурного теплого моря,
И — спроси их —
Любая
Была в свое время живой.
Хлопотали они
Над кругами овечьего сыра,
Пряли тонкую шерсть,
Пели песни,
Стелили постель...
Это жен и любовниц
В сварливых властительниц мира
Превращает Скопас,
Переделывает Пракситель.

Красота не угасла!
Гляди, как спокойно и прямо
Выступал гладиатор,
Как диск заносил Дискобол.
Я встречал эти мускулы
На стадионе «Динамо»,
Я в тебе, мое чудо,
Мою Афродиту нашел.
Оттого на тебя
(Ты уже покосилась сердито)
Неотвязно гляжу,
Неотступно хожу по следам.
Я тебя, моя радость,
Живая моя Афродита,—
Да простят меня боги! —
За их красоту не отдам.

Ты глядишь на них, милая,
Трогаешь их, дорогая,
Я хожу тебе вслед
И причудливой тешусь игрой:
Ты, я думаю молча,
На цоколе стройном, нагая,
Рядом с пеннорожденной
Казалась бы младшей сестрой,
Так румянец твой жарок,
Так губы свежи твои нынче,
Лебединая шея
Так снежно бела и стройна,
Что когда бы в Милане
Тебя он увидел бы — Винчи,—
Ты второй Джиокондой
Сияла бы нам с полотна!
Между тем ты не слепок,
Ты — сверстница мне,
Ты — живая.
Ходишь в стоптанных туфлях.
Я родинку видел твою.
Что ж, сердись или нет,
А тебя, проводив до трамвая,
Я беру тебя в песню,
Мечту из тебя создаю.
Темнокудрый юнец
По расплывчатым контурам линий
Всю тебя воссоздаст
И вздохнет о тебе горячо.
Он полюбит твой профиль,
И взор твой студеный и синий,
И сквозь легкую ткань
Золотое в загаре плечо.

Вечен ток вдохновенья!
И так, не смолкая, гудит он
Острым творческим пламенем
Тысячелетья, кажись.
Так из солнечной пены
Встает и встает Афродита,
Пены вольного моря,
Которому прозвище —
Жизнь.

1931

КИТАЙСКАЯ ЛЮБОВЬ

Полезно заметить,
Что с Фый Сянь ку
Маруська сошлась, катаясь.
Маруська пошла
На Москва-реку,
И к ней подошел китаец.

Китаец был желт
И черноволос,
Сказал ей, что служит в тресте.
Хоть он и скуласт
И чуточку кос,
А сели кататься вместе.

Он выпалил сотню
Любовных слов,
Она ему отвечала.
Итак, китайская эта любовь
Имеет свое начало.
Китаец влюбился,
Как я, как все...
В Таганке жила Маруська.
Китаец пришел к ней.
Ее сосед
На нехристя пса науськал.

Просвирни судачили из угла:
«Гляди-ка! С кем она знается!»
И Марья Ивановна предрекла:
«Эй, девка!
Родишь китайца!»

«В какую ж он масть
Пойдет, сирота?» —
Гадали кумушки заново.
«Полоска бела, полоска желта»,—
Решила Марья Ивановна.

Она ошибалась.
Дитя родилось —
Гладкое, без полосок.
Ребенок был желт
И слегка раскос,
Но — определенно — курносый!

Две мощные крови
В себе смешав,
Лежал,
Кулачки меж пеленок пряча,
Сначала поплакал,
Потом, не спеша,
И улыбаться начал.

Потом,
Расширяя свои берега,
Уверенно, прочно, прямо
Пошел на коротких
Кривых ногах
И внятно промолвил: «Мама».

Двух рас
В себе сочетающий кровь,
Не выродился,
Не вымер,
Но жил, но рос,
Крутолоб и здоров,
И звали его —
Владимир!

А мать и отец?
Растили сынка
И жили да поживали
И, как утверждают наверняка,
Китайца не линчевали.
‹1931›



КУКЛА

Как темно в этом доме!
Тут царствует грузчик багровый,
Под нетрезвую руку
Тебя колотивший не раз...

На окне моем — кукла.
От этой красотки безбровой
Как тебе оторвать
Васильки загоревшихся глаз?

Что ж!
Прильни к моим стеклам
И красные пальчики высунь...
Пес мой куклу изгрыз,
На подстилке ее теребя.
Кукле — много недель!
Кукла стала курносой и лысой.
Но не все ли равно?
Как она взволновала тебя!

Лишь однажды я видел:
Блистали в такой же заботе
Эти синие очи,
Когда у соседских ворот
Говорил с тобой мальчик,
Что в каменном доме напротив
Красный галстучек носит,
Задорные песни поет.
Как темно в этом доме!
Ворвись в эту нору сырую
Ты, о время мое!
Размечи этот нищий уют!
Тут дерутся мужчины,
Тут женщины тряпки воруют,
Сквернословят, судачат,
Юродствуют, плачут и пьют.

Дорогая моя!
Что же будет с тобой?
Неужели
И тебе между них
Суждена эта горькая часть?
Неужели и ты
В этой доле, что смерти тяжеле,
В девять — пить,
В десять — врать
И в двенадцать —
Научишься красть?

Неужели и ты
Погрузишься в попойку и в драку,
По намекам поймешь,
Что любовь твоя —
Ходкий товар,
Углем вычернишь брови,
Нацепишь на шею — собаку,
Красный зонтик возьмешь
И пойдешь на Покровский бульвар?

Нет, моя дорогая!
Прекрасная нежность во взорах
Той великой страны,
Что качала твою колыбель!
След труда и борьбы —
На руке ее известь и порох,
И под этой рукой
Этой доли —
Бояться тебе ль?

Для того ли, скажи,
Чтобы в ужасе,
С черствою коркой
Ты бежала в чулан
Под хмельную отцовскую дичь,—
Надрывался Дзержинский,
Выкашливал легкие Горький,
Десять жизней людских
Отработал Владимир Ильич?

И когда сквозь дремоту
Опять я услышу, что начат
Полуночный содом,
Что орет забулдыга-отец,
Что валится посуда,
Что голос твой тоненький плачет,—
О терпенье мое!
Оборвешься же ты наконец!

И придут комсомольцы,
И пьяного грузчика свяжут,
И нагрянут в чулан,
Где ты дремлешь, свернувшись в калач,
И оденут тебя,
И возьмут твои вещи,

И скажут:
«Дорогая!
Пойдем,
Мы дадим тебе куклу.
Не плачь!»
1932

ХУДОЖНИКУ

(шуточное)

Б. Иванову

Подшивающий бумажки,
Затерялся в наших буднях
Маленькой многотиражки
Уважаемый сотрудник.

Быть бы вам тореадором
Где-нибудь в Севилье старой,
На балконы бы к сеньорам
Лезть со шпагой и гитарой,

На ковре у милых ножек
Разразиться б серенадой,
Распугав севильских кошек
Оглушительной руладой.

И ходить, как учит мода,
В шляпе и в плаще расшитом;
Из «крестового похода»
С фонарем вернуться — битым,

Но, отделавшись испугом,
Вновь заняться б флиртом, пеньем,
Всем сеньорам стать бы другом
И грозою — всем дуэньям;

И носить на медной пряжке
Пять каменьев изумрудных...
Маленькой многотиражки,
Уважаемый сотрудник!
1933

ПОЕДИНОК

К нам в гости приходит мальчик
Со сросшимися бровями,
Пунцовый густой румянец
На смуглых его щеках.
Когда вы садитесь рядом,
Я чувствую, что меж вами
Я скучный, немножко лишний,
Педант в роговых очках.

Глаза твои лгать не могут.
Как много огня теперь в них!
А как они были тусклы...
Откуда же он воскрес?
Ах, этот румяный мальчик!
Итак, это мой соперник,
Итак, это мой Мартынов,
Итак, это мой Дантес!

Ну что ж! Нас рассудит пара
Стволов роковых Лепажа
На дальней глухой полянке,
Под Мамонтовкой, в лесу.
Два вежливых секунданта,
Под горкой — два экипажа,
Да седенький доктор в черном,
С очками на злом носу.

Послушай-ка, дорогая!
Над нами шумит эпоха,
И разве не наше сердце —
Арена ее борьбы?
Виновен ли этот мальчик
В проклятых палочках Коха,
Что ставило нездоровье
В колеса моей судьбы?

Наверно, он физкультурник,
Из тех, чья лихая стайка
Забила на стадионе
Испании два гола.
Как мягко и как свободно
Его голубая майка
Тугие гибкие плечи
Стянула и облегла!

А знаешь, мы не подымем
Стволов роковых Лепажа
На дальней глухой полянке,
Под Мамонтовкой, в лесу.
Я лучше приду к вам в гости
И, если позволишь, даже
Игрушку из Мосторгсина
Дешевую принесу.

Твой сын, твой малыш безбровый
Покоится в колыбели.
Он важно пускает слюни,
Вполне довольный собой.
Тебя ли мне ненавидеть
И ревновать к тебе ли,
Когда я так опечален
Твоей морщинкой любой?

Ему покажу я рожки,
Спрошу: «Как дела, Егорыч?»
И, мирно напившись чаю,
Пешком побреду домой.
И лишь закурю дорогой,
Почуяв на сердце горечь,
Что наша любовь не вышла,
Что этот малыш — не мой.
1933

КРОВИНКА

Родная кровинка течет в ее жилах,
И больно — пусть век мою слабость простит —
От глаз ее жалких, от рук ее милых
Отречься и память со счетов скостить.

Выветриваясь, по куску выпадая,
Душа искрошилась, как зуб, до корня.
Шли годы, и эта ли полуседая,
Тщедушная женщина — мать у меня?

Убогая! Где твоя прежняя сила?
Какая дорога в могилу свела?
Влюблялась, кисейные платья носила,
Читала Некрасова, смуглой была.

Растоптана зверем, чье прозвище — рынок,
Раздавлена грузом матрасов и соф,
Сгорела на пламени всех керосинок,
Пылающих в недрах кухонных Голгоф.

И вот они — вечная песенка жалоб,
Сонливость, да втертый в морщины желток,
Да косо, по-волчьи свисающий на лоб,
Скупой, грязноватый седой завиток.

Так попусту, так бесполезно и глупо
Дотла допылала твоя красота!
Дымящимся паром кипящего супа
Весь мир от тебя заслонила плита!

В истрепанных туфлях, потертых и рыжих,
С кошелкой, в пальто, что не греет души,
Привыкла блуждать между рыночных выжиг,
Торгуясь, клянясь, скопидомя гроши.

Трудна эта доля, и жребий несладок:
Пугаться трамваев, бояться людей,
Толкаться в хвостах продуктовых палаток,
Среди завсегдатаев очередей.

Но желчи не слышно в ее укоризне,
Очаг не наскучил ей, наоборот:
Ей быть и не снилось хозяйкою жизни,
Но только властительницей сковород.

Она умоляет: «Родимый, потише!
Живи не спеша, не волнуйся, дитя!
Давай проживем, как подпольные мыши,
Что ночью глубокой в подвалах свистят!»

Затем, что она исповедует примус,
Затем, что она меж людьми как в лесу,—
Мою угловатую непримиримость
К мышиной судьбе я, как знамя, несу.

Мне хочется расколдовать ее морок,
Взять под руку мать, как слепое дитя,
От противней чадных, от жирных конфорок
Увесть ее на берег моря, хотя

Я знаю, он будет ей чуден и жуток,
Тот солнечный берег житейской реки...
Слепую от шор, охромевшую в путах,
Я все ж поведу ее, ей вопреки!
1933

АД

Недобрый дух повел меня,
Уже лежавшего в могиле,
В страну подземного огня,
Которой Данте вел Вергилий.

Из первого в девятый круг
Моя душа была ведома —
Где жадный поп и лживый друг
И скотоложец из Содома.

Я видел гарпий в том леске,
Над тем узилищем, откуда
В нечеловеческой тоске
Бежал обугленный Иуда.

Колодезь ледяной без дна,
Где день за днем и год за годом,
Как ось земная, Сатана
Простерт от нас до антиподов.

Я грешников увидел всех —
Их пламя жжет и влага дразнит,
Но каждому из них за грех
Вменялась боль одной лишь казни.

«Где мне остаться?» — я спросил
Ведущего по адским стогнам.
И он ответил: «Волей сил
По всем кругам ты будешь прогнан».
1934

БРОДЯГА

Есть у каждого бродяги
Сундучок воспоминаний.
Пусть не верует бродяга
И ни в птичий грай, ни в чох,—

Ни на призраки богатства
В тихом обмороке сна, ни
На вино не променяет
Он заветный сундучок.

Там за дружбою слежалой,
Под враждою закоптелой,
Между чувств, что стали трухлой
Связкой высохших грибов,—
Перевязана тесемкой
И в газете пожелтелой,
Как мышонок, притаилась
Неуклюжая любовь.

Если якорь брига выбран,
В кабачке распита брага,
Ставни синие забиты
Навсегда в родном дому,—
Уплывая, все раздарит
Собутыльникам бродяга,
Только этот желтый сверток
Не покажет никому...

Будет день: в борты, как в щеки,
Оплеухи волн забьют — и
«Все наверх! — засвищет боцман.—
К нам идет девятый вал!»
Перед тем как твердо выйти
В шторм из маленькой каюты,
Развернет бродяга сверток,
Мокрый ворот разорвав.

И когда вода раздавит
В трюме крепкие бочонки,
Он увидит, погружаясь
В атлантическую тьму:
Тонколицая колдунья,
Большеглазая девчонка
С фотографии грошовой
Улыбается ему.
1934

ДВОЙНИК

Два месяца в небе, два сердца в груди,
Орел позади, и звезда впереди.
Я поровну слышу и клекот орлиный,
И вижу звезду над родимой долиной:
Во мне перемешаны темень и свет,
Мне Недоросль — прадед, и Пушкин — мой дед.

Со мной заодно с колченогой кровати
Утрами встает молодой обыватель,
Он бродит, раздет, и немыт, и небрит,
Дымит папиросой и плоско острит.
На сад, что напротив, на дачу, что рядом,
Глядит мой двойник издевательским взглядом,
Равно неприязненный всем и всему,—
Он в жизнь в эту входит, как узник в тюрьму.

А я человек переходной эпохи...
Хоть в той же постели грызут меня блохи,
Хоть в те же очки я гляжу на зарю
И тех же сортов папиросы курю,
Но славлю жестокость, которая в мире
Клопов выжигает, как в затхлой квартире,
Которая за косы землю берет,
С которой сегодня и я в свой черед
Под знаменем гезов, суровых и босых,
Вперед заношу мой скитальческий посох...
Что ж рядом плетется, смешок затая,
Двойник мой, проклятая косность моя?

Так, пробуя легкими воздух студеный,
Сперва задыхается новорожденный,
Он мерзнет, и свет ему режет глаза,
И тянет его воротиться назад,
В привычную ночь материнской утробы;
Так золото мучат кислотною пробой,
Так все мы в глаза двойника своего
Глядим и решаем вопрос: кто кого?

Мы вместе живем, мы неплохо знакомы,
И сильно не ладим с моим двойником мы:
То он меня ломит, то я его мну,
И, чуть отдохнув, продолжаем войну.
К эпохе моей, к человечества маю
Себя я за шиворот приподымаю.

Пусть больно от этого мне самому,
Пускай тяжело,— я себя подыму!
И если мой голос бывает печален,
Я знаю: в нем фальшь никогда не жила!..
Огромная совесть стоит за плечами,
Огромная жизнь расправляет крыла!
1934

ДОЛЖНИК

Подгулявший шутник, белозубый, как турок,
Захмелел, прислонился к столбу и поник.
Я окурок мой кинул. Он поднял окурок,
Раскурил и сказал, благодарный должник:

«Приходи в крематорий, спроси Иванова,
Ты добряк, я сожгу тебя даром, браток».
Я запомнил слова обещанья хмельного
И бегущий вдоль потного лба завиток.

Почтальоны приходят, но писем с Урала
Мне в Таганку не носят в суме на боку.
Если ты умерла или ждать перестала,
Разлюбила меня,— я пойду к должнику.

Я приду в крематорий, спущусь в кочегарку,
Где он дырья чинит на коленях штанов,
Подведу его к топке, пылающей жарко,
И шепну ему грустно: «Сожги, Иванов!»
1934

КОФЕЙНЯ

...Имеющий в кармане мускус
не кричит об этом на улицах.
Запах мускуса говорит за него.

Саади

У поэтов есть такой обычай —
В круг сойдясь, оплевывать друг друга.
Магомет, в Омара пальцем тыча,
Лил ушатом на беднягу ругань.

Он в сердцах порвал на нем сорочку
И визжал в лицо, от злобы пьяный:
«Ты украл пятнадцатую строчку,
Низкий вор, из моего «Дивана»!

За твоими подлыми следами
Кто пойдет из думающих здраво?»
Старики кивали бородами,
Молодые говорили: «Браво!»

А Омар плевал в него с порога
И шипел: «Презренная бездарность!
Да минет тебя любовь пророка
Или падишаха благодарность!

Ты бесплоден! Ты молчишь годами!
Быть певцом ты не имеешь права!»
Старики кивали бородами,
Молодые говорили: «Браво!»

Только некто пил свой кофе молча,
А потом сказал: «Аллаха ради!
Для чего пролито столько желчи?»
Это был блистательный Саади.

И минуло время. Их обоих
Завалил холодный снег забвенья.
Стал Саади золотой трубою,
И Саади слушала кофейня.

Как ароматические травы,
Слово пахло медом и плодами,
Юноши не говорили: «Браво!»
Старцы не кивали бородами.

Он заворожил их песней птичьей,
Песней жаворонка в росах луга...
У поэтов есть такой обычай —
В круг сойдясь, оплевывать друг друга.
1936

СОЛОВЕЙ

Несчастный, больной и порочный
По мокрому саду бреду.
Свистит соловей полуночный
Под низким окошком в саду.

Свистит соловей окаянный
В саду под окошком избы.
«Несчастный, порочный и пьяный,
Какой тебе надо судьбы?

Рябиной горчит и брусникой
Тридцатая осень в крови.
Ты сам свое горе накликал,
Милуйся же с ним и живи.

А помнишь, как в детстве веселом
Звезда протирала глаза
И ветер над садом был солон,
Как детские губы в слезах?

А помнишь, как в душные ночи,
Один между звезд и дубов,
Я щелкал тебе и пророчил
Удачу твою и любовь?..»

Молчи, одичалая птица!
Мрачна твоя горькая власть.
Сильнее нельзя опуститься,
Страшней невозможно упасть!

Рябиной и горькой брусникой
Тропинки пропахли в бору.
Я сам свое горе накликал
И сам с этим горем умру.

Но в час, когда комья с лопаты
Повалятся в яму, звеня,
Ты вороном станешь, проклятый,
За то, что морочил меня!
1936

ПОДМОСКОВНАЯ ОСЕНЬ

В Перово пришла подмосковная осень
С грибами, с рябиной, с ремонтами дач.
Ты больше, пиджак парусиновый сбросив,
Не ловишь ракеткою теннисный мяч.

Березки прозрачны, скворечники немы,
Утрами морозец хрустит по садам:
И дачница в город везет хризантемы,
И дачник увязывает чемодан.

На мокрых лугах зажелтелась морошка.
Охотник в прозрачном и гулком лесу,
По топкому дерну шагая сторожко,
Несет в ягдташе золотую лису.

Бутылка вина кисловата, как дрожжи.
Закурим, нальем и послушаем, как
Шумит элегический пушкинский дождик
И шаткую свечку колеблет сквозняк.
1936

СЕРДЦЕ

(Бродячий сюжет)

Девчину пытает казак у плетня:
«Когда ж ты, Оксана, полюбишь меня?
Я саблей добуду для крали своей
И светлых цехинов, и звонких рублей!»
Девчина в ответ, заплетая косу:
«Про то мне ворожка гадала в лесу.
Пророчит она: мне полюбится тот,
Кто матери сердце мне в дар принесет.
Не надо цехинов, не надо рублей,
Дай сердце мне матери старой твоей.
Я пепел его настою на хмелю,
Настою напьюсь — и тебя полюблю!»
Казак с того дня замолчал, захмурел,
Борща не хлебал, саламаты не ел.
Клинком разрубил он у матери грудь
И с ношей заветной отправился в путь:
Он сердце ее на цветном рушнике
Коханой приносит в косматой руке.
В пути у него помутилось в глазах,
Всходя на крылечко, споткнулся казак.
И матери сердце, упав на порог,
Спросило его: «Не ушибся, сынок?»
1935

* * *

Когда кислородных подушек
Уж станет ненадобно мне —
Жена моя свечку потушит,
И легче вздохнется жене.

Она меня ландышем сбрызнет,
Что в жизни не жаловал я,
И, как подобает на тризне,
Не очень напьются друзья.

Чахоточный критик, от сплетен
Которого я изнемог,
В публичной «Вечерней газете»
Уронит слезу в некролог.

Потом будет мартовский дождик
В сосновую крышку стучать
И мрачный подпивший извозчик
На чахлую клячу кричать.

Потом, перед вечным жилищем
Простясь и покончив со мной,
Друзья мои прямо с кладбища
Зайдут освежиться в пивной.

Покойника словом надгробным
Почтят и припомнят, что он
Был малость педант, но способный,
Слегка скучноват, но умен.

А между крестами погоста,
Перчаткой зажавшая рот,
Одета печально и просто,
Высокая дама пройдет.

И в мартовских сумерках длинных,
Слегка задохнувшись от слез,
Положит на мокрый суглинок
Весенние зарева роз.

1936



КРОВЬ

Белый цвет вишневый отряхая,
Стал Петро перед плетнем коханой.
Он промолвил ей, кусая губы:
«Любый я тебе или не любый?
Прогулял я трубку-носогрейку,
Проиграл я бритву-самобрейку.
Что ж! В корчме поставлю шапку на кон
И в леса подамся к гайдамакам!»

«Уходи, мужик,— сказала Ганна.—
Я кохаю не тебя, а пана.—
И шепнула, сладко улыбаясь:
— Кровь у пана в жилах — голубая!»

Два денька гулял казак. На третий
У криницы ночью пана встретил
И широкий нож по рукоятку
Засадил он пану под лопатку.

Белый цвет вишневый отряхая,
Стал Петро перед плетнем коханой.
А у Ганны взор слеза туманит,
Ганна руки тонкие ломает.
«Ты скажи, казак,— пытает Ганна,—
Не встречал ли ты дорогой пана?»

Острый нож в чехле кавказском светел.
Отвечает ей казак: «Не встретил».
Нож остер, как горькая обида.
Отвечает ей казак: «Не видел».
Рукоятка у ножа резная.
Отвечает ей казак: «Не знаю.
Только ты пустое толковала,
Будто кровь у пана — голубая!»

1936

ПЕСНЯ ПРО ПАНА

Настегала дочку мать крапивой:
«Не расти большой, расти красивой,
Сладкой ягодкой, речной осокой,
Чтоб в тебя влюбился пан высокий,
Ясноглазый, статный, черноусый,
Чтоб дарил тебе цветные бусы,
Золотые кольца и белила.
Вот тогда ты будешь, дочь, счастливой».

Дочка выросла, как мать велела!
Сладкой ягодкою, королевой,
Белой лебедью, речной осокой,
И в нее влюбился пан высокий,
Черноусый, статный, ясноглазый,
Подарил он ей кольцо с алмазом,
Пояс драгоценный, ленту в косы...
Наигрался ею пан — и бросил!

Юность коротка, как песня птичья,
Быстро вянет красота девичья,
Иссеклися косы золотые,
Ясный взор слезинки замутили.
Ничего-то девушка не помнит,
Помнит лишь одну дорогу в омут,
Только тише, чем кутенок в сенцах,
Шевельнулась дочь у ней под сердцем.

Дочка в пана родилась — красивой.
Настегала дочку мать крапивой:
«Не расти большой, расти здоровой,
Крепкотелой, дерзкой, чернобровой,
Озорной, спесивой, языкатой,
Чтоб тебя не тронул пан проклятый.
А придет он, потный, вислоусый,
Да начнет сулить цветные бусы,
Пояс драгоценный, ленту в косы,—
Отпихни его ногою босой,
Зашипи на пана, дочь, гусыней,
Выдери его глаза косые!»
1936

ЛЮБОВЬ

Щекотка губ и холодок зубов,
Огонь, блуждающий в потемках тела,
Пот меж грудей... и это есть — любовь?
И это все, чего ты так хотела?

Да! Страсть такая, что в глазах темно!
Но ночь минует, легкая, как птица...
А я-то думал, что любовь — вино,
Которым можно навсегда упиться!
1936

СТРАДАНИЯ МОЛОДОГО КЛАССИКА

Всегда ты на людях,
Как слон в зверинце,
Как муха в стакане,
Как гусь на блюде...
Они появляются из провинций,
Способные молодые люди.

«У вас одна комната?
Ах, как мало!
Погодка стоит —
Не придумать плоше!»
Ты хмуришься
И отвечаешь вяло:
«Снимайте, снимайте свои калоши!»

Ты грустно оглядываешь знакомых
И думаешь:
«Ну, добивайте сразу!»
Куда там!
Они извлекают томы
Любовных стихов,
Бытовых рассказов.

«Быть может, укажете недостаток?
Родной!
Уделите одну минуту!
Вы заняты?
Я буду очень краток:
В поэмке
Всего восемнадцать футов!»

Мелькают листы.
Вдохновенье бурно.

Чтецы невменяемы,—
Бей их, режь ли...
Ты слушаешь.
Ты говоришь:
— Недурно! —
И — лжешь.
Ибо ты от природы вежлив.

На ходиках без десяти двенадцать.
Ты громко подтягиваешь бечевку,
Но гости твои говорят:
— Признаться,
У вас так уютно!
Мы к вам с ночевкой.

Ты громко вздыхаешь!
— Ложитесь с миром! —
И думаешь
День ото дня плачевней:
Во что превратилась твоя квартира?
В ночлежку?
В родильный приют?
В харчевню?

А ночью под сердцем
Тихонько плачет
Утопленный в пресной дневной водице
Твой стих,
Что был вовсе не плохо начат,
Но помер в тебе,
Не успев родиться.

И, стиснувши, как рукоять кинжала,
Мундштук безобиднейший,
В нервной дрожи
Ты думаешь:
«Муза уже сбежала.
Жена собирается сделать то же...»

А утром,
Когда постучит знакомый,
Ты снова в себе не найдешь сноровки
Ему на докучный вопрос:
«Вы дома?» —
Раздельно ответить:
«В командировке».
1937

ГОРБУН И ПОП

В честно́м храме опосля обедни,
Каждый день твердя одно и то ж,
Распинался толстый проповедник:
До чего, мол, божий мир хорош!
Хорошо, мол, бедным и богатым,
Рыбкам, птичкам в небе голубом!..
Тут и подошел к нему горбатый
Высохший урод с плешивым лбом.
Он сказал ему как можно кротче:
«Полно, батя! Далеко зашел!
Ты, мол, на меня взглянувши, отче,
Молви: все ли в мире хорошо?
Я-де в нем из самых из последних.
Жизнь моя пропала ни за грош!»
— «Не ропщи! — ответил проповедник.—
Для горбатого и ты хорош».
1937

БЕСЕДА

На улице пляшет дождик. Там тихо, темно и сыро.
Присядем у нашей печки и мирно поговорим.
Конечно, с ребенком трудно. Конечно, мала квартира.
Конечно, будущим летом ты вряд ли поедешь в Крым.

Еще тошноты и пятен даже в помине нету,
Твой пояс, как прежде, узок, хоть в зеркало посмотри!
Но ты по неуловимым, по тайным женским приметам
Испуганно догадалась, что́ у тебя внутри.

Не скоро будить он станет тебя своим плачем тонким
И розовый круглый ротик испачкает молоком.
Нет, глубоко под сердцем, в твоих золотых потемках
Не жизнь, а лишь завязь жизни завязана узелком.

И вот ты бежишь в тревоге прямо к гомеопату.
Он лыс, как головка сыра, и нос у него в угрях,
Глаза у него навыкат и борода лопатой.
Он очень ученый дядя — и все-таки он дурак!

Как он самодовольно пророчит тебе победу!
Пятнадцать прозрачных капель он в склянку твою
нальет.

«Пять капель перед обедом, пять капель после обеда —
И все как рукой снимает! Пляшите опять фокстрот!»

Так, значит, сын не увидит, как флаг над Советом
вьется?
Как в школе Первого мая ребята пляшут гурьбой?
Послушай, а что ты скажешь, если он будет Моцарт,
Этот не живший мальчик, вытравленный тобой?

Послушай, а если ночью вдруг он тебе приснится,
Приснится и так заплачет, что вся захолонешь ты,
Что жалко взмахнут в испуге подкрашенные ресницы
И волосы разовьются, старательно завиты,

Что хлынут горькие слезы и начисто смоют краску,
Хорошую, прочную краску с темных твоих ресниц?..
Помнишь, ведь мы читали, как в старой английской
сказке
К охотнику приходили души убитых птиц.

А вдруг, несмотря на капли мудрых гомеопатов,
Непрошеной новой жизни не оборвется нить!
Как ты его поцелуешь? Забудешь ли, что когда-то
Этою же рукою старалась его убить?

Кудрявых волос, как прежде, туман золотой клубится,
Глазок исподлобья смотрит лукавый и голубой.
Пускай за это не судят, но тот, кто убил,— убийца.
Скажу тебе правду: ночью мне страшно вдвоем с тобой!
1937

ВИНО

Слышал я сызмала: ходят вдвоем
Горькое горюшко с горьким вином.
Как же им, горьким, вдвоем не идти,
Коль у обоих кривые пути?
Горькое горюшко тянет на дно,
Голову горькое кружит вино...
Что ж! Позабудем тоску и запьем
Горькое горюшко горьким вином!
Странное дело: уму вопреки
Горькие врозь, они вместе — сладки.
1937

ГЛУХАРЬ

Выдь на зорьке и ступай на север
По болотам, камушкам и мхам.
Распустив хвоста колючий веер,
На сосне красуется глухарь.

Тонкий дух весенней благодати,
Свет звезды — как первая слеза...
И глухарь, кудесник бородатый,
Закрывает желтые глаза.

Из дремотных облаков исторгла
Яркий блеск холодная заря,
И звенит, чумная от восторга,
Зоревая песня глухаря.

Счастлив тем, что чувствует и дышит,
Красотой восхода упоен,—
Ничего не видит и не слышит,
Ничего не замечает он!

Он поет листву купав болотных,
Паутинку, белку и зарю,
И в упор подкравшийся охотник
Из берданки бьет по глухарю...

Может, так же в счастья день желанный,
В час, когда я буду петь, горя,
И в меня ударит смерть нежданно,
Как его дробинка — в глухаря.
1938

* * *

Прощай, прощай, моя юность,
Звезда моя, жизнь, улыбка!
Стала рукой мужчины
Мальчишеская рука.
Ты прозвенела, юность,
Как дорогая скрипка
Под легким прикосновеньем
Уверенного смычка.

Ты промелькнула, юность,
Как золотая рыбка,
Что канула в сине море
Из сети у старика!
1938

ЗИМНЕЕ

Экой снег какой глубокий!
Лошадь дышит горячо.
Светит месяц одинокий
Через левое плечо.

Пруд окован крепкой бронью,
И уходят от воды
Вправо — крестики вороньи,
Влево — заячьи следы.

Гнется кустик на опушке,
Блещут звезды, мерзнет лес,
Тут снимал перчатки Пушкин
И крутил усы Дантес.

Раздается на полянке
Волчьих свадеб дальний вой.
Мы летим в ковровых санках
По дороге столбовой.

Ускакали с черноокой
И — одни... Чего ж еще?
Светит месяц одинокий
Через левое плечо.

Неужели на гулянку
С колокольцем под дугой
Понесется в тех же санках
Завтра кто-нибудь другой?

И усы ладонью тронет,
И увидит у воды
Те же крестики вороньи,
Те же заячьи следы?

На погост он мельком глянет,
Где ограды да кресты.
Мельком глянет, нас помянет:
Жили-были я да ты!..

И прижмется к черноокой,
И задышит горячо.
Глянет месяц одинокий
Через левое плечо.
1938

БЕССМЕРТИЕ

Кем я был? Могильною травою?
Хрупкой галькою береговою?
Круглобоким облачком над бездной?
Ноздреватою рудой железной?

Та трава могильная сначала
Ветерок дыханием встречала,
Тучка плакала слезою длинной,
Пролетая над родной долиной.

И когда я говорю стихами —
От кого в них голос и дыханье?
Этот голос — от прабабки-тучи,
Эти вздохи — от травы горючей!

Кем я буду? Комом серой глины?
Белым камнем посреди долины?
Струйкой, что не устает катиться?
Перышком в крыле у певчей птицы?

Кем бы я ни стал и кем бы ни был —
Вечен мир под этим вечным небом:
Если стану я водой зеленой —
Зазвенит она одушевленно,

Если буду я густой травою —
Побежит она волной живою.
В мире все бессмертно: даже гнилость.
Отчего же людям смерть приснилась?
1938

ЗЯБЛИК

Весной в саду я зяблика поймал.
Его лучок захлопнул пастью волчьей.
Лесной певец, он был пуглив и мал,
Но, как герой, неволю встретил молча.

Он петь привык лесное торжество
Под светлым солнышком на клейкой ветке...
Нет! Золотая песенка его
Не прозвучит в убогой этой клетке!

Упрямец! Он не походил на нас,
Больных людей, уступчивых и дряблых,
Нахохлившись, он молчаливо гас,
Невольник мой, мой горделивый зяблик.

Горсть муравьиных лакомых яиц
Не вызвала его счастливой трели.
В глаза ручных моих домашних птиц
Его глаза презрительно смотрели.

Он все глядел на поле за окном
Сквозь частых проволок густую сетку,
Но я задернул грубым полотном
Его слегка качавшуюся клетку.

И, чувствуя, как за его тюрьмой
Весна цветет все чище, все чудесней,—
Он засвистал!.. Что делать, милый мой?
В неволе остается только песня!
1939



ПЛАСТИНКА

Л. К.

Когда я уйду,—
Я оставлю мой голос
На черном кружке.
Заведи патефон,
И вот,

Под иголочкой,
Тонкой, как волос,
От гибкой пластинки
Отделится он.

Немножко глухой
И немножко картавый,
Мой голос тебе
Прочитает стихи,
Окликнет по имени,
Спросит:
«Устала?»,
Наскажет
Немало смешной чепухи.

И сколько бы ни было
Злого, дурного,
Печалей,
Обид,—
Ты забудешь о них.
Тебе померещится,
Будто бы снова
Мы ходим в кино,
Разбиваем цветник.

Лицо твое
Тронет волненья румянец.
Забывшись,
Ты тихо шепнешь:
«Покажись!»

Пластинка хрипнет
И окончит свой танец —
Короткий,
Такой же недолгий,
Как жизнь.
1939

КЛЕТКА

Пасмурный щегол и шустрый чижик
Зерна щелкают, водою брызжут —
И никак не уживутся вместе
В тесной клетке на одном насесте.

Много перьев красных и зеленых
Потеряли чижик и щегленок,
Так и норовят пустые птицы
За хохлы друг другу ухватиться.

Глупые пичуги! Неужели
Не одно зерно вы в клетке ели,
Не в одной кормушке воду пили?..
Что ж неволю вы не поделили?

1939

ОСТАНОВКА У АРБАТА

Профиль юности бессмертной
Промелькнул в окне трамвая.
М. Голодный

Я стоял у поворота
Рельс, бегущих от Арбата,
Из трамвая глянул кто-то
Красногубый и чубатый.
Как лицо его похоже
На мое — сухое ныне!..
Только чуточку моложе,
Веселее и невинней.
А трамвай — как сдунет ветром,
Он качнулся, уплывая.
Профиль юности бессмертной
Промелькнул в окне трамвая.
Минут годы. Подойдет он —
Мой двойник — к углу Арбата.
Из трамвая глянет кто-то
Красногубый и чубатый,
Как и он, в костюме синем,
С полевою сумкой тоже,
Только чуточку невинней,
Веселее и моложе.
А трамвай — как сдунет ветром,
Он промчится, завывая...
Профиль юности бессмертной
Промелькнет в окне трамвая.

На висках у нас, как искры,
Блещут первые сединки,
Старость нам готовит выстрел
На последнем поединке.

Даже маленькие дети
Станут седы и горбаты,
Но останется на свете
Остановка у Арбата,
Где, ни разу не померкнув,
Непрестанно оживая,
Профиль юности бессмертной
Промелькнет в окне трамвая!
⟨1939⟩



ЦВЕТОК

Я рожден для того, чтобы старый поэт
Обо мне говорил золотыми стихами,
Чтобы Дафнис и Хлоя в четырнадцать лет
Надо мною впервые смешали дыханье,
Чтоб невеста, лицо погружая в меня,
Скрыла нежный румянец в минуту помолвки.
Я рожден, чтоб в сиянии майского дня
Трепетать в золотистых кудрях комсомолки.
Одинаково вхож во дворец и в избу,
Я зарей позолочен и выкупан в росах...
Если смерть проезжает в стандартном гробу,
Торопливая, на неуклюжих колесах,
То друзья и на гроб возлагают венок,—
Чтоб и в тленье мои лепестки трепетали.
Тот, кто умер, в могиле не так одинок
И несчастен, покуда там пахнет цветами.
Украшая постельку, где плачет дитя,
И могильной ограды высокие жерди,
Я рожден утешать вас, равно золотя
И восторги любви, и терзания смерти.
1939

БАБКА МАРИУЛА

После ночи пьяного разгула
Я пошел к Проклятому ручью,
Чтоб цыганка бабка Мариула
Мне вернула молодость мою.

Бабка курит трубочку из глины,
Над болотом вьются комары,
А внизу горят среди долины
Кочевого табора костры.

Черный пес, мне под ноги бросаясь,
Завизжал пронзительно и зло...
Молвит бабка: «Знаю все, красавец,
Что тебя к старухе привело!

Не скупись да рублик мне отщелкай,
И, как пыль за ветром, за тобой
Побежит красотка с рыжей челкой,
С пятнышком родимым над губой!»

Я ответил: «Толку в этом мало!»
Робок я, да и не те года...»
В небесах качнулась и упала
За лесок падучая звезда.

«Я сидел,— сказал я,— на вокзалах,
Ездил я в далекие края.
Ни одна душа мне не сказала,
Где упала молодость моя!

Ты наводишь порчу жабьим зубом,
Клады рыть указываешь путь.
Может, юность, что идет на убыль,
Как-нибудь поможешь мне вернуть?»

Отвечала бабка Мариула:
«Не возьмусь за это даже я!
Где звезда падучая мелькнула,
Там упала молодость твоя!»

1 июня 1941

***

Когда-то в сердце молодом
Мечта о счастье пела звонко...
Теперь душа моя — как дом,
Откуда вынесли ребенка.

А я земле мечту отдать
Всё не решаюсь, всё бунтую...
Так обезумевшая мать
Качает колыбель пустую.
15 июня 1941 г.



БАБЬЕ ЛЕТО

Наступило бабье лето —
Дни прощального тепла.
Поздним солнцем отогрета,
В щелке муха ожила.

Солнце! Что на свете краше
После зябкого денька?..
Паутинок легких пряжа
Обвилась вокруг сучка.

Завтра хлынет дождик быстрый,
Тучей солнце заслоня.
Паутинкам серебристым
Жить осталось два-три дня.

Сжалься, осень! Дай нам света!
Защити от зимней тьмы!
Пожалей нас, бабье лето:
Паутинки эти — мы.
4 октября 1941 г.

УГОЛЕК

Минуют дни незаметно,
Идут года не спеша...
Как искра, ждущая ветра,
Незримо зреет душа.

Когда налетевший ветер
Раздует искру в пожар,
Слепые люди заметят:
Не зря уголек лежал!
23 октября 1941

В ПАРКЕ

Старинной купаленки шаткий настил,
Бродя у пруда, я ногою потрогал.
Под этими липами Пушкин грустил,
На этой скамеечке сиживал Гоголь.

У корней осин показались грибы,
Сентябрьское солнышко греет нежарко,
Далекий раскат орудийной стрельбы
Доносится до подмосковного парка.

Не смерть ли меня окликает, грозя
Вот-вот навалиться на узкие плечи?
Где близкие наши и наши друзья?
Иных уже нет, а другие далече!..

Свистят снегири. Им еще незнаком
Раскатистый гул, отдаленный и слабый.
Наверно, им кажется, будто вальком
Белье выбивают на озере бабы.

Мы ж знаем, что жизнь нашу держит в руках
Слепая судьба и что жребий наш выпал...
Стареющий юноша в толстых очках
Один загляделся на вечные липы.
3 ноября 1941

АРХИМЕД

Нет, не всегда смешон и узок
Мудрец, глухой к делам земли:
Уже на рейде в Сиракузах
Стояли римлян корабли.

Над математиком курчавым
Солдат занес короткий нож,
А он на отмели песчаной
Окружность вписывал в чертеж.

Ах, если б смерть — лихую гостью —
Мне так же встретить повезло,
Как Архимед, чертивший тростью
В минуту гибели — число!

5 декабря 1941



ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ

Улетают птицы зá море,
Миновало время жатв,
На холодном сером мраморе
Листья желтые лежат.

Солнце спряталось за ситцевой
Занавескою небес,
Черно-бурою лисицею
Под горой улегся лес.

По воздушной тонкой лесенке
Опустился и повис
Над окном — ненастья вестником —
Паучок-парашютист.

В эту ночь по кровлям тесаным,
В трубах песни заводя,
Заскребутся духи осени,
Стукнут пальчики дождя.

В сад, покрытый ржавой влагою,
Завтра утром выйдешь ты
И увидишь — за ночь — наголо
Облетевшие цветы.

На листве рябин продрогнувших
Заблестит холодный пот.
Дождик, серый, как воробышек,
Их по ягодке склюет.
1937—1941

ПРИРОДА

Что делать? Присяду на камень,
Послушаю иволги плач.
Брожу у забитых досками,
Жильцами покинутых дач.

Еще не промчалось и года,
Как смолкли шаги их вдали.
Но, кажется, рада природа,
Что люди отсюда ушли.

Соседи в ночи незаметно
Заборы снесли на дрова,
На гладких площадках крокетных
Растет, зеленея, трава.

Забывши хозяев недавних,
Весь дом одряхлел и заглох,
На стенах, на крышах, на ставнях
Уже пробивается мох.

Да зеленью, вьющейся дико,
К порогу забившей пути,
Повсюду бушует клубника,
Что встарь не хотела расти.

И если, бывало, в скворечнях
Скворцы приживались с трудом,
То нынче от зябликов вешних
В саду настоящий содом!

Тут, кажется, с нашего века
Прошли одичанья века...
Как быстро следы человека
Стирает природы рука!
28 июня 1942 г.

БОГ

Скоро-скоро, в желтый час заката,
Лишь погаснет неба бирюза,
Я закрою жадные когда-то,
А теперь — усталые глаза.

И когда я стану перед богом,
Я скажу без трепета ему:
«Знаешь, боже, зла я делал много,
А добра, должно быть, никому.

Но смешно попасть мне к черту в руки,
Чтобы он сварил меня в котле:
Нет в аду такой кромешной муки,
Что б не знал я горше — на земле!»
10 июля 1942 г.

* * *

Скинуло кафтан зеленый лето,
Отсвистели жаворонки всласть.
Осень, в шубу желтую одета,
По лесам с метелкою прошлась,
Чтоб вошла рачительной хозяйкой
В снежные лесные терема
Щеголиха в белой разлетайке —
Русская румяная зима!
1 октября 1942 г.

* * *

Вот и вечер жизни. Поздний вечер.
Холодно и нет огня в дому.
Лампа догорела. Больше нечем
Разогнать сгустившуюся тьму.

Луч рассвета, глянь в мое оконце!
Ангел ночи! Пощади меня:
Я хочу еще раз видеть солнце —
Солнце первой половины Дня!

30 апреля 1943.

ВОСПОМИНАНИЯ О КРЫМЕ

Не ночь, не звезды, не морская пена,—
Нет, в памяти доныне, как живой,
Мышастый ослик шествует степенно
По раскаленной крымской мостовой.

Давно смирен его упрямый норов:
Автомобиль прижал его к стене,
И рдеет горка спелых помидоров
В худой плетенке на его спине.

А впереди, слегка раскос и черен,
В одних штанишках, рваных на заду,
Бритоголовый толстый татарчонок,
Спеша, ведет осленка в поводу.

Между домов поблескивает море,
Слепя горячей синькою глаза.
На каменном побеленном заборе
Гуляет бородатая коза.

Песок внизу каймою пены вышит,
Алмазом блещет мокрое весло,
И валуны лежат на низких крышах,
Чтоб в море крыши ветром не снесло.

А татарчонку хочется напиться.
Что Крым ему во всей его красе?
И круглый след ослиного копытца
Оттиснут на асфальтовом шоссе.

1943

* * *

Оказалось, я не так уж молод:
Юность отшумела. Жизнь прошла.
До костей пронизывает холод,
Сердце замирает от тепла.

В час пирушки кажется хмельною
Даже рюмка слабого вина,
И коль шутит девушка со мною,
Всё мне вспоминается жена.
1943



МОРОЗ НА СТЕКЛАХ

На окнах, сплошь заиндевелых,
Февральский выписал мороз
Сплетенье трав молочно-белых
И серебристо-сонных роз.

Пейзаж тропического лета
Рисует стужа на окне.
Зачем ей розы? Видно, это
Зима тоскует о весне.
7 февраля 1943

* * *

Какое просторное небо! Взгляни-ка:
У дальнего леса дорога пылит,
На тихом погосте растет земляника,
И козы пасутся у каменных плит.

Как сонно на этом урочище мертвых!
Кукушка гадает кому-то вдали,
Кресты покосились, и надписи стерты,
Тяжелым полетом летают шмели.

И если болят твои старые кости,
Усталое бедное сердце болит,—
Иди и усни на забытом погосте
Средь этих простых покосившихся плит.

Коль есть за тобою вина или промах
Такой, о котором до смерти грустят,—
Тебе всё простят эти ветви черемух,
Всё эти высокие сосны простят.

И будут другие безумцы на свете
Метаться в тенетах любви и тоски,
И станут плести загорелые дети
Над гробом твоим из ромашек венки.

Присядут у ног твоих юноша с милой,
И ты сквозь заката малиновый дым
Услышишь слова над своею могилой,
Которые сам говорил — молодым.

9 июля 1944

* * *

О твоей ли, о моей ли доле,
Как ты все снесла, как я стерпел,—
На рассвете, на рассвете в поле,
В чистом поле жаворонок пел?

Что ж осталось, что же нам осталось?
Потерпи хоть час, хоть полчаса...
Иссеклась, поблекла, разметалась
Та коса, заветная коса!

Я не знаю, я и сам не знаю —
Наша жизнь долга иль коротка?
Дом ли строю, песню ль запеваю —
Молкнет голос, падает рука!

Скоро, друг мой нежный, друг мой милый,
Голосистый жаворонок тот
Над моею, над твоей могилой
Песню, чудо-песню запоет.

24 июля 1944

***

Ты говоришь, что наш огонь погас,
Твердишь, что мы состарились с тобою,
Взгляни ж, как блещет небо голубое!
А ведь оно куда старее нас...
1944

***

Был слеп Гомер, и глух Бетховен,
И Демосфен косноязык.
Но кто поднялся с ними вровень,
Кто к музам, как они, привык?
Так что ж педант, насупясь, пишет,
Что творчество лишь тем дано,
Кто остро видит, тонко слышит,
Умеет говорить красно?
Иль им, не озаренным духом,
Один закон всего знаком —
Творить со слишком тонким слухом
И слишком длинным языком?..
. . . .
1944

МАТЬ

Любимого сына старуха в поход провожала,
Винцо подносила, шелковое стремя держала.
Он сел на коня и сказал, выезжая в ворота:
«Что ж! Видно, такая уж наша казачья работа!
Ты, мать, не помри без меня от докуки и горя:
Останусь в живых — так домой ворочусь из-за моря.
Жди в гости меня, как на север потянутся гуси!..»
«Ужо не помру! — отвечала старуха.— Дождуся!»

Два года она простояла у тына. Два года
На запад глядела: не едет ли сын из похода?
На третьем году стала смерть у ее изголовья.
«Пора! — говорит.— Собирайся на отдых, Прасковья!»

Старуха сказала: «Я рада отдать тебе душу,
Да как я свою материнскую клятву нарушу?
Покуда из дома хлеб-соль я не вынесу сыну,
Я смертное платье свое из укладки не выну!»

Тут смерть поглядела в кувшин с ледяною водою.
«Судьбина,— сказала,— грозит ему горькой бедою:
В неведомом царстве, где небо горячее сине,
Он, жаждой томясь, заблудился в безводной пустыне.
Коль ты мне без спору отдашь свое старое тело,
Пожалуй, велю я, чтоб тучка над ним пролетела!»
И матери слезы упали на камень горючий,
И солнце над сыном затмилось прохладною тучей.
И к влаге студеной припал он сухими губами,
И мать почему-то пришла удалому на память.
А смерть закричала: «Ты что ж меня, баба, морочишь?
Сынка упасла, а в могилу ложиться не хочешь?»
И мать отвечала: «Любовь, знать, могилы сильнее!
На что уж ты — сила, а что ты поделаешь с нею?
Не гневайся, матушка. Сядь. Подожди, коли хочешь,
Покуда домой из похода вернется сыночек!»
Смерть глянула снова в кувшин с ледяною водою.
«Судьбина,— сказала,— грозит ему новой бедою:
Средь бурного моря сынок твой скитается ныне,
Корабль его тонет, он гибнет в глубокой пучине.
Коль ты мне без спору отдашь свою грешную душу,
Пожалуй, велю я волне его кинуть на сушу!»
И смерть замахнулась косой над ее сединою.
И к берегу сына прибило могучей волною,
И он заскучал по родному далекому дому
И плетью своей постучал в подоконник знакомый.
«Ну!—молвила смерть.—Я тут попусту времечко трачу!
Тебе на роду написали, я вижу, удачу.
Ты сыну, не мне, отдала свою душу и тело.
Так вот он стучится. Милуй же его, как хотела!»
1944

ЗОЛОТО

Мужик в землянке прорубал оконце:
Невесело сидеть в кромешной мгле!
Под заступом, как маленькие солнца,
Блестят крупинки золота в земле.

Мужик, сопя, презрительно наступит
На золото тяжелою пятой.
На что оно? Ужо он в лавке купит
На пятачок сусали золотой.

Ведь мужику-то лень и наклониться,
А тут копай его да спину гни...
Настанет праздник — вся его божница
Сусалью заблистает без возни!
1944

***

Юность! Ты не знаешь власти детских ручек,
Голоска, что весел, ломок и высок.
Ты не понимаешь, что, как звонкий ключик,
Сердце открывает этот голосок!
1944

ИНФАНТА

1

Шлейфы дам и перья франтов
Не трепещут в блеске бала.
Молчалив покой инфанты
В глубине Эскуриала.

Там замкнулась королева
С королем, своим супругом.
Дочь их тяжко заболела
Изнурительным недугом.

Зря епископ служит мессу,
Лекарь бьется, маг ворожит,—
Захворавшую принцессу
Исцелить никто не может!

Где он, взгляд живой и пылкий,
Полный негою любовной?
Еле-еле бьется жилка
На руке ее бескровной.

2

Королю поклон отвесив
И томясь придворным блеском,
Врач стоит перед принцессой
В пышной спальне королевской.

Тяготит его повязка
С желтым знаком иудея!..
На щеках инфанты краска
Выцветает, холодея.

Не встает она с постели,
Дышит слабо и неровно,
Жилка бьется еле-еле
На руке ее бескровной.

А вокруг — безлюдны залы,
Тишина в дворце просторном.
«У принцессы крови мало! —
Говорит еврей придворным.—

Злой недуг ее погубит,
Унесет или состарит.
Кто инфанту больше любит,
Тот ей кровь свою подарит!»

При словах его, как дети,
Царедворцы задрожали.
«Кровь моя,— король ответил,—
Это кровь моей державы!»

Королева, хмуря брови,
Отвечала: «Разве мало
Я дала инфанте крови
В день, когда ее рожала?»

Принц глядел в окно куда-то,
Теребя свои перчатки.
Он сказал, что кровь солдату
Лить прилично только в схватке...

Врач, блестя холодным взглядом,
Вынул скальпель и реторту:
«Сам я крови сколько надо
Дам инфанте полумертвой,

Чтоб поверили в науку,
Возвращающую силу!..»
Обнажил худую руку
И ножом надрезал жилу.

3

Кровь инфанты стала жаркой,
Хворь ее прошла бесследно.
С ней гуляет в старом парке
Португальский принц наследный.
1944

***

Кайсыну Кулиеву

Ночь поземкою частой
Заметает поля.
Я пишу тебе. Здравствуй!
Офицер Шамиля.

Вьюга зимнюю сказку
Напевает в трубу.
Я прижал по-кавказски
Руку к сердцу и лбу.

Искры святочной ваты
Блещут в тьме голубой...
Верно, в дни Газавата
Мы встречались с тобой.

Тлела ярость былая,
Нас враждой разделя:
Я — солдат Николая,
Ты — мюрид Шамиля.

Но над нами есть выше,
Есть нетленнее свет:
Я не знаю, как пишут
По-балкарски «поэт».

Но не в песне ли сила,
Что открыла для нас:
Кабардинцу — Россию,
Славянину — Кавказ?

Эта сила — не знак ли,
Чтоб, скитаньем ведом,
Заходил ты, как в саклю,
В крепкий северный дом.

И, как Байрон, хромая,
Проходил к очагу...
Пусть дорога прямая
Тонет в рыхлом снегу,—

В очаге, не померкнув,
Пламя льнет к уголькам,
И, как колокол в церкви,
Звонок тонкий бокал.

К утру иней налипнет
На сосновых стенах...
Мы за лирику выпьем
И за дружбу, кунак!

10 февраля 1945 г.

ЗАДАЧА

Мальчик жаловался, горько плача:
«В пять вопросов трудная задача!
Мама, я решить ее не в силах,
У меня и пальцы все в чернилах,
И в тетради места больше нету,
И число не сходится с ответом!»
«Не печалься! — мама отвечала.—
Отдохни и всё начни сначала!»
Жизнь поступит с мальчиком иначе:
В тысячу вопросов даст задачу.
Пусть хоть кровью сердце обольется —
Всё равно решать ее придется.
Если скажет он, что силы нету,—
То ведь жизнь потребует ответа!
Времени она оставит мало,
Чтоб решать задачу ту сначала,—
И покуда мальчик в гроб не ляжет,
«Отдохни!» — никто ему не скажет.

1 марта 1945 г.

КАК МУЖИК ОБИДЕЛСЯ

Никанор первопутком ходил в извоз,
А к траве ворочался до дому.
Почитай, и немного ночей пришлось
Миловаться с женой за год ему!

Ну, да он был старательный мужичок:
Сходит в баньку, поест, побреется,
Заберется к хозяюшке под бочок —
И, глядишь, человек согреется.

А Матрена рожать здорова была!
То есть экая баба клятая:
Муж на пасху воротится — тяжела.
На крещенье придет — брюхатая!

Никанор, огорченья не утая,
Разговор с ней повел по-строгому:
«Ты, Матрена, крольчиха аль попадья?
Снова носишь? Побойся бога, мол!»

Тут уперла она кулаки в бока:
«Спрячь глаза,— говорит,— бесстыжие!
Аль в моих куличах не твоя мука?
Все ребята в тебя. Все — рыжие!»

Начала она зыбку качать ногой,
А мужик лишь глазами хлопает:
На коленях — малец, у груди — другой,
Да еще трое лазят по полу!

Он, конешно, кормил их своим трудом,
Но однако же не без жалобы:
«Положительно, граждане, детский дом:
На пять баб за глаза достало бы!»

Постарел Никанор. Раз — глаза протер,
Глядь-поглядь, а ребята взрослые.
Стал Никита шахтер, а Федот — монтер,
Все — большие, ширококостые!

Вот по горницам ходит старик, ворча:
«Без ребят обернулся где бы я?
Захвораю — так кличу сынка-врача,
Лук сажу — агронома требую!

Про сынов моих слава идет окрест,
Что ни дочка — голубка сизая!
А как сядут за стол на двенадцать мест,
Так куда тебе полк — дивизия!..»

Поседела Матренина голова:
Уходилась с такою оравою.
За труды порешила ее Москва
Наградить «Материнской славою».

Муж прослышал и с поля домой попер,
В тот же вечер с хозяйкой свиделся.
«Нынче я,— заявляет ей Никанор,—
На Верховный Совет обиделся.

Нету слов,— говорит,— хоть куда декрет:
Наградить тебя — дело нужное,
Да в декрете пустячной статейки нет:
Про мои про заслуги мужние!

Наше дело, конечно, оно пустяк,
Но меня забижают, вижу я:
Тут, вертись не вертись, а ведь как-никак —
Все ребята в меня. Все — рыжие!

Девять парней — что соколы, и опять —
Трое девок, и все красавицы!
Ты Калинычу, мать, не забудь сказать!
Без опары пирог не ставится.

Уж коли ему орден навесить жаль,
Все ж пускай обратит внимание
И велит мужикам нацеплять медаль —
Не за доблесть, так за старание.

Коль поправку мою он внесет в декрет —
Мы с тобой, моя лебедь белая,
Поживем-поживем да под старость лет
Октябренка, глядишь, и сделаем!»

4 мая 1945

***

Все мне мерещится поле с гречихою,
В маленьком доме сирень на окне,
Ясное-ясное, тихое-тихое
Летнее утро мерещится мне.

Мне вспоминается кляча чубарая,
Аист на крыше, скирды на гумне,
Темная-темная, старая-старая
Церковка наша мерещится мне.

Чудится мне, будто песню печальную
Мать надо мною поет в полусне,
Узкая-узкая, дальняя-дальняя
В поле дорога мерещится мне.

Где ж этот дом с оторвавшейся ставнею,
Комната с пестрым ковром на стене?
Милое-милое, давнее-давнее
Детство мое вспоминается мне.

13 мая 1945 г.

МЫШОНОК

Что ты приходишь, горбатый мышонок,
В комнату нашу в полуночный час?
Сахарных крошек и фруктов сушеных
Нет и в помине в буфете у нас.

Бедный мышонок! Из кухонь соседних,
Верно, тебя выгоняют коты.
Знаешь ли? Мне, мой ночной собеседник,
Кажешься слишком доверчивым ты!

Нрав домработницы нашей — не кроткий:
Что, коль незваных гостей не любя,
Вдруг над тобой занесет она щетку
Иль в мышеловку изловит тебя?..

Ты поглядел, словно вымолвить хочешь:
«Жаль расставаться с обжитым углом!»,
Словно согреться от холода ночи
Хочешь моим человечьим теплом.

Чудится мне, одиночеством горьким
Блещут чуть видные бусинки глаз.
Не потому ли из маленькой норки
Ты и выходишь в полуночный час?..

Что ж! Пока дремлется кошкам и людям
И мышеловок не видно вокруг,—
Мы с тобой все наши беды обсудим,
Мой молчаливый, мой маленький друг!

Я — не гляди, что большой и чубатый,—
А у соседей, как ты, не в чести.
Так приходи ж, мой мышонок горбатый,
В комнату к нам — и подольше гости!
16 мая 1945 г.

* * *

На кладбище возле домика
Весна уже наступила:
Разросшаяся черемуха,
Стрекающая крапива.

На плитах щербатых каменных
Любовники ночью синей
Опять возжигают пламенник
Природы неугасимой.

Так трется между жерновами
Бессмертный помол столетий...
Наверное, скоро новые
В поселке заплачут дети.
2 июня 1945

Я

Много видевший, много знавший,
Знавший ненависть и любовь,
Всё имевший, всё потерявший
И опять всё нашедший вновь.

Вкус узнавший всего земного
И до жизни жадный опять,
Обладающий всем и снова
Всё стремящийся потерять.

Июнь 1945 г.

***

Л. К.

Нам, по правде сказать, в этот вечер
И развлечься-то словно бы нечем:
Ведь пасьянс — это скучное дело,
Книги нет, а лото надоело...
Вьюга, знать, разгуляется к ночи:
За окошком ненастье бормочет,
Ветер что-то невнятное шепчет...
Завари-ка ты чаю покрепче,
Натурального чаю, с малиной:
С ним и ночь не покажется длинной!
Да зажги в этом сумраке хмуром
Лампу ту, что с большим абажуром.
У огня на скамеечке низкой
Мы усядемся тесно и близко
И, чаек попивая из чашек,
Дай-ка вспомним всю молодость нашу,
Всю, от ветки персидской сирени
(Положи-ка мне ложку варенья).
Вспомню я,— мы теперь уже седы,—
Как ты раз улыбнулась соседу,
Вспомнишь ты,— что уж нынче за счеты,—
Как пришел под хмельком я с работы,
Вспомним ласково, по-стариковски,
Нашей дочери русые коски,
Вспомним глазки сынка голубые
И решим, что мы счастливы были,
Но и глупыми всё же бывали...
Постели-ка ты мне на диване:
Может, мне в эту ночь и приснится,
Что ты стала опять озорницей!

5 июля 1945 г.



ПРИГЛАШЕНИЕ НА ДАЧУ

...Итак, приезжайте к нам завтра, не позже!
У нас васильки собирай хоть охапкой.
Сегодня прошел замечательный дождик —
Серебряный гвоздик с алмазною шляпкой.

Он брызнул из маленькой-маленькой тучки
И шел специально для дачного леса,
Раскатистый гром — его верный попутчик —
Над ним хохотал, как подпивший повеса.

На Пушкино в девять идет электричка.
Послушайте, вы отказаться не вправе:
Кукушка снесла в нашей роще яичко,
Чтоб вас с наступающим счастьем поздравить!

Не будьте ленивы, не будьте упрямы.
Пораньше проснитесь, не мешкая встаньте.
В кокетливых шляпах, как модные дамы,
В лесу мухоморы стоят на пуанте.

Вам будет на сцене лесного театра
Вся наша программа показана разом:
Чудесный денек приготовлен на завтра,
И гром обеспечен, и дождик заказан!

6 июля 1945

* * *

Бывало, в детстве я в чулан залезу,
Где сладко пахнет редькою в меду,
И в сундучке, окованном железом,
Рабочий ящик бабушки найду.
В нем был тяжелый запах нафталина
И множество диковинных вещиц:
Старинный веер из хвоста павлина,
Две сотни пуговиц и связка спиц.

Я там нашел пластинку граммофона,
Что, видно, модной некогда была,
И крестик кипарисовый с Афона,
Что, верно, приживалка привезла.
Я там нашел кавказский пояс узкий,
Кольцо, бумаги пожелтевшей десть,
Письмо, написанное по-французски,
Которое я не сумел прочесть.
И в уголку нашел за ними следом
Колоду бархатных венгерских карт,
Наверное, отобранных у деда:
Его губили щедрость и азарт.
Я там нашел мундштук, зашитый в замшу,
На нем искусно вырезан медведь.
Судьба превратна: дед скончался раньше,
Чем тот мундштук успел порозоветь.
Кольцо с дешевым камушком — для няни,
Таблетки для приема перед сном,
Искусственные зубы, что в стакане
Покоились на столике ночном.
Два вышитые бисером кисета,
Гравюр старинных желтые листы,
Китовый ус из старого корсета,—
Покойница стыдилась полноты.
Тетрадка поварских рецептов старых,
Как печь фриштык, как сдобрить калачи,
И лентой перевязанный огарок
Ее венчальной свадебной свечи.
Да в уголку за этою тетрадкой
Нечаянно наткнуться мне пришлось
На бережно завернутую прядку
Кудрявых детских золотых волос.
Что говорить,— неважное наследство,
Кому он нужен, этот вздор смешной?
Но чья-то жизнь — от дней златого детства
До старости прошла передо мной.
И в сердце нету места укоризне,
И замирает на губах укор:
Пройдет полвека — и от нашей жизни
Останется такой же пестрый сор!

1945

КОЛОКОЛА

Видно, вправду скоро сбудется
То, чего душа ждала:
Мне весь день сегодня чудится,
Что звонят в колокола.

Только двери в храме заперты,
Кто б там стал трезвонить зря?
Не видать дьячка на паперти
И на вышке звонаря.

Знать, служение воскресное
Не у нас в земном краю:
То звонят чины небесные
По душе моей в раю.

27 ноября 1941



ДЕНЬ ГНЕВА



ГЛУХОТА

Война бетховенским пером
Чудовищные ноты пишет.
Ее октав железный гром
Мертвец в гробу — и тот услышит!

Но что за уши мне даны?
Оглохший в громе этих схваток,
Из всей симфонии войны
Я слышу только плач солдаток.

2 сентября 1941

* * *

Не дитятко над зыбкою
Укачивает мамушка —
Струится речкой шибкою
Людская кровь по камушкам.

Сердца врагов не тронутся
Кручиною великою.
Пусть сыч с высокой звонницы
Беду на них накликает,

Чтоб сделались им пыльными
Пути-дороги узкие,
Крестами надмогильными
Березы стали русские.

Пускай им ноги свяжутся
В пути сухими травами,
Ключи в лесу покажутся
В горячий день — кровавыми,

Костры горят холодными,
Негреющими искрами,
В узилища подводные
Утащат реки быстрые,

Вся кровь по капле вытечет,
Тупым ножом отворена,
Пусть злые клювы выточат
О черепа их вороны.

Над головами ведьмою
Завоет вьюга русская,
Одни волки с медведями
Глядят в их очи тусклые.

Чертополох качается
В степи над их курганами,
Червяк — и тот гнушается
Телами их погаными.
1941

ПЛАЧ

В убежище плакал ребенок,
И был нестерпимо высок,
И был раздирающе звонок
Подземный его голосок.

Не треском смешных погремушек,
Что нас забавляли, блестя,—
Отрывистым грохотом пушек
Земля повстречала дитя.

Затем ли живет он? Затем ли
На свет родила его мать,
Чтоб в яму, в могилу, под землю
Ребенка живым закопать?

Ему не забыть этой были:
Как выла сирена в ночи,
Как небо наотмашь рубили
Прожекторы, точно мечи.

Седой, через долгие годы
Он вспомнит: его увели
От бомб, что неслись с небосвода,
В глубокие недра земли.

И если он выживет — где бы
И как бы ни лег его путь,—
Он всюду, боящийся неба,
К земле будет голову гнуть.
17 августа 1941



НОЧЬ В УБЕЖИЩЕ

Ложишься спать, когда в четыре
Дадут по радио отбой.
Умрешь — единственная в мире
Всплакнет сирена над тобой.

Где звезды, что тебе знакомы?
Их нет, хотя стоит июль:
В пространствах видят астрономы
Следы трассирующих пуль.

Как много тьмы, как света мало!
Огни померкли, и одна
Вне досяженья трибунала
Мир демаскирует луна.

...Твой голос в этом громе тише,
Чем писк утопленных котят...
Молчи! Опять над нашей крышей
Бомбардировщики летят!
13 августа 1941

ЗАВТРА

Когда над стропилами щели
Умолкнут зенитные пушки,
Мы втащим узлы и постели
В убогие наши избушки.

Мы вычистим скарб этот жалкий
И щель нашу плугом запашем,
Посадим ночные фиалки
На бомбоубежище нашем.

И, все забывая на свете,
С улыбкой посмотрим с террасы,
Как наши беспечные дети
Играют осколками в классы.
15 августа 1941

ДОМ

Дом разнесло. Вода струями хлещет
Наружу из водопроводных труб.
На мостовую вывалены вещи,
Разбитый дом похож на вскрытый труп.

Чердак сгорел. Как занавес в театре,
Вбок отошла передняя стена.
По этажам разрезанная на три,
Вся жизнь в квартирах с улицы видна.

Их в доме много. Вот в одной из нижних
Рояль в углу отлично виден мне.
Обрывки нот свисают с полок книжных,
Белеет маска Листа на стене.

Площадкой ниже — вид другого рода:
Обои размалеваны пестро,
Свалился наземь самовар с комода...
Там — сердце дома, тут — его нутро.

А на вещах — старуха с мертвым взглядом
И юноша, старухи не свежей.
Они едва ли не впервые рядом
Сидят, жильцы различных этажей!

Теперь вся жизнь их, шедшая украдкой,
Открыта людям. Виден каждый грех...
Как ни суди, а бомба — демократка:
Одной бедой она равняет всех!
18 августа 1941 г.

ОСЕНЬ СОРОК ПЕРВОГО ГОДА

Еще и солнце греет что есть силы,
И бабочки трепещут на лету,
И женщины взволнованно красивы,
Как розы, постоявшие в спирту.

Но мчатся дни. Проходит август краткий.
И мне видны отчетливо до слез
На лицах женщин пятна лихорадки —
Отметки осени на листьях роз.

Ах, осень, лета скаредный наследник!
Она в кулак готова все сгрести.
Недаром солнце этих дней последних
Спешит дожечь, и розы — доцвести.

А женщины, что взглядом ласки просят,
Не опуская обреченных глаз,—
Предчувствуют, что, верно, эта осень
Окажется последней и для нас!
19 августа 1941 г.

ПОГОДА

Ни облачка! Томясь любовной мукой,
Кричат лягушки, пахнет резеда.
В такую ночь и самый близорукий
Иглу в траве отыщет без труда.

А как луна посеребрила воду!
Светло кругом, хоть по руке гадай...
И мы ворчим: «Послал же черт погоду:
В такую ночь бомбежки ожидай».
8 сентября 1941

ГАЗ

Есть некий газ. Ни с воздухом, ни с влагой
Несходен он на запах и на цвет,
Неуловим лакмусовой бумагой,
Но от него противогаза нет.

Он протечет в убежище любое,
Ты дверь закроешь, он войдет в окно.
И то, что было некогда тобою,
Вдруг замычит, в скота превращено.

Его симптом — не слезы и не кашель,
Он не из тех, которыми бомбят,
Но от него синеют щеки наши
И распухают животы ребят.

Он душит все народы друг за дружкой.
Вслед за войной его приходит час...
Сам люизит — лишь детская игрушка
В сравненьи с ним! Царь Голод этот газ!
19 сентября 1941

ЖИЛЬЕ

Ты заскучал по дому? Что с тобою?
Еще вчера, гуляка из гуляк,
Ты проклинал дырявые обои
И эти стены с музыкой в щелях!

Здесь слышно все, что делают соседи:
Вот — грош упал, а вот скрипит диван.
Здесь даже в самой искренней беседе
Словца не скажешь — разве если пьян!

Давно ль ты врал, что угол этот нищий
Осточертел тебе до тошноты?
Давно ль на это мрачное жилище
Ты громы звал?.. А что, брат, скажешь ты,

Когда, смешавшись с беженскою голью,
Забыв и чин и звание свое,
Ты вдруг с холодной бесприютной болью
Припомнишь это бедное жилье?
23 сентября 1941 г.

КУКЛА

Ни слова сквозь грохот не слышно!..
Из дома, где мирно спала,
В убежище девочка вышла
И куклу с собой принесла.

Летят смертоносные птицы,
Ослепшие в прожекторах!
У женщин бескровные лица,
В глазах у них горе и страх.

И в этой семье сиротливой,
Что в щели отбоя ждала,
По совести, самой счастливой
Тряпичная кукла была!

О чем горевать этой кукле?
Ей тут безопаснее всех:
Торчат ее рыжие букли,
На толстых губах ее смех...

«Ты в силах,— спросил я,— смеяться?»
И, мнится, услышал слова:
«Я кукла. Чего мне бояться?
Меня не убьют. Я мертва».

24 сентября 1941

ДЕВОЧКА В ПРОТИВОГАЗЕ

Только глянула — и сразу
Напрямик сказала твердо:
«Не хочу противогаза —
У него слоновья морда!»

Дочь строптивую со вздохом
Уговаривает мама:
«Быть капризной — очень плохо!
Отчего ты так упряма?

Я прощу тебе проказы
И куплю медовый пряник.
Походи в противогазе!
Привыкай к нему заране...»

Мама делается строже,
Дочка всхлипывает тихо:
«Не хочу я быть похожа
На противную слониху».

Мать упрямице курносой
Подарить сулила краски,
И торчат льняные косы
С двух сторон очкастой маски.

Между стекол неподвижных
Набок свис тяжелый хобот...
Объясни-ка ей, что ближних
Люди газом нынче гробят,

Что живет она в эпоху,
Где убийству служит разум...
Быть слоном теперь неплохо:
Кто его отравит газом?

1 октября 1941

РЫБЫ

Туч серебряные глыбы
Расступились — и видны,
Точно призрачные рыбы,
Самолеты близ луны.

Так и кажется, что некто
Сел за рощицей вдали
И, как удочку, прожектор
К ним закинул от земли.

И бежит с негромким треском
В небеса не потому ль,
Как светящаяся леска,
Цепь трассирующих пуль?

На конце их зыбкой нитки
От луны невдалеке
Заплясал разрыв зенитки,
Как наживка на крючке.

Нехитер закон охоты:
Миг — и рыба тут как тут!
Но приманку самолеты,
Проплывая, не клюют.

Если нас не изувечат,
То воронки поутру
Скажут нам — какую мечут
Эти окуни икру!
2 октября 1941

***

На погост завернула дорога,
Белый крест осенила сосна...
Ну, приятель! Теперь ни тревога,
Ни бомбежка тебе не страшна.

Как бы звонко сирены ни пели,—
Из-под этой косматой сосны
Ты не встанешь: могильные щели
Не боятся воздушной волны.

Хороши блиндажи гробовые!
И когда начинается бой,—
Что таиться? — Судьбою живые
Поменяться готовы с тобой.
13/X—1941

ЕСЛИ

От бежавших рыцари наживы
Грузовик везут с инвентарем:
«Пригодится, если будем живы,
Обменяем, если не помрем!»

Но не жаль вещей осиротелых
Тем, кто ищет в странствиях приют:
«Лучше справим, если будем целы,
Разживемся, если не убьют!»

Это слово бродит в наших мыслях,
Раздается, как припев звуча...
Надо всеми шеями нависло
Лезвие Дамоклова меча!
18 октября 1941



16 ОКТЯБРЯ

Стоял октябрь, а всем казалось март:
Шел снег и таял, и валил сначала...
Как ворожея над колодой карт,
История загадочно молчала.

Сибирский поезд разводил пары,
В купе рыдала крашеная дама:
Бабье коробку паюсной икры
У дамы вытрясло из чемодана.

Зенитка била где-то у моста,
Гора мешков сползала со скамеек.
И подаянья именем Христа
Просил оборванный красноармеец.

Вверху гудел немецкий самолет,
В Казань бежали опрометью главки.
Подпивший малый на осклизлый лед
Свалился замертво у винной лавки.

Народ ломил на базах погреба,
Несли муку колхозницы босые...
В те дни решалась общая Судьба:
Моя судьба, твоя судьба, Россия!
20 октября 1941

НЕПОГОДЬ

Сегодня выпал день хороший:
С утра осенний дождик льет.
Теряя в слякоти калоши,
Идет по улицам народ.

Туман висит у самых кровель,
Густой и белый, словно чад.
И с гулом падающих бревен
В Москве зенитки не стучат.

Конечно, вечером сегодня
Не вспыхнет ни одна звезда!
И, расхрабрившись, точно ходят
По расписанью поезда.

Бранить погоду нет причины,—
Остались немцы на мели.
Недаром выбрились мужчины
И дамы брови подвели.

В трамвае слышатся остроты,
Друг друга бабы не честят.
Всем ясно: вражьи самолеты
Сегодня к нам не прилетят!

27 октября 1941

ИСТОРИЯ

По целым дням народ, сходя с ума,
Простаивал в очередях огромных,
А по ночам была такая тьма,
Что и старухи не могли припомнить.

Из облаков немецкие листки,
Как ястребы, летели на колени,
И в деревнях гадали старики
По Библии о светопреставленье.

Хозяйки собирались у ворот,
Гремела пушка, как далекий молот.
Ползли слушки. И писем ждал народ.
Стояла осень. Надвигался голод.

А над рекой, над полем, над леском,
Небесный свод пересекая косо,
Вертлявый «юнкерс» узеньким дымком
Выписывал гигантский знак вопроса.

14 ноября 1941

ТОЛКУЧИЙ РЫНОК

Есть под Москвой толкучий рынок.
Туда, едва лишь рассветет,—
Кто на салазках, кто на спинах,—
Сгибаясь тащит скарб народ.

Там старичок, румян и прыток,
Сует прохожему под нос
Альбом двусмысленных открыток...
Ловкач, прости его Христос!

Он всем торгует понемножку:
Меняет сахар на вино,
Мануфактуру на картошку
И патефоны на пшено.

Пускай весь мир летит под горку,
Несется к черту на рога —
Берут курильщики махорку!
Нужна сластенам курага!

В чем недостаток, в чем излишек —
Он обо всем осведомлен.
Возок березовых дровишек
За пачку соли купит он.

Война несет ему достаток,
Деньжата множит и добро.
Пучок засаленных тридцаток
Меняет он на серебро.

К чему он лезет вон из кожи?
Зачем ему такая прыть?
Ужель, два долгих века прожив,
Теперь он третий хочет жить?

Да: с дряблых щек не сходит краска!
И как бы обмер он, узнай,
Что нынче вечером фугаска
В прах разнесет его трамвай!

25 ноября 1941

СЛЕДЫ ВОЙНЫ

Следы войны неизгладимы!..
Пускай окончится она,
Нам не пройти спокойно мимо
Незатемненного окна!

Юнцы, видавшие не много,
Начнут подтрунивать слегка,
Когда нам вспомнится тревога
При звуке мирного гудка.

Счастливцы! Кто из них поверит,
Что рев сирен кидает в дрожь,
Что стук захлопнувшейся двери
На выстрел пушечный похож?

Вдолби-ка им — как трудно спичка
Порой давалась москвичам
И отчего у нас привычка
Не раздеваться по ночам?

Они, минувшего не поняв,
Запишут в скряги старика,
Что со стола ребром ладони
Сметает крошки табака.

25 ноября 1941 г.

МАТЬ

Война пройдет — и слава богу.
Но долго будет детвора
Играть в «воздушную тревогу»
Среди широкого двора.

А мужики, на бревнах сидя,
Сочтут убитых и калек
И, верно, вспомнят о «планиде»,
Под коей, дескать, человек.

Старуха ж слова не проронит!..
Отворотясь, исподтишка
Она глаза слепые тронет
Каймою черного платка...

30 ноября 1941

ГРИПП

Меня томит гриппок осенний,
Но в сердце нет былой тоски:
Сплелись в цепочку воскресений
Недуга светлые деньки.

Я рад причудливой бутылке
С микстурой, что уже не впрок,
Свинцовой тяжести в затылке,
Тому, что грудь теснит жарок.

Ведь смерть нас каждый вечер дразнит,
Ей в эту осень повезло!
Не потому ли, точно в праздник,
Вокруг так чисто и светло?

Как бел снежок в далекой чаще!
Как лед синеет у реки!..
Да: впрямь всего бокала слаще
Винца последние глотки!

12 декабря 1941

СОЛДАТ

Гусар, в перестрелки бросаясь,
Стихи на биваках писал.
В гостиных пленяя красавиц,
Бывал декабристом гусар.

А нынче завален по горло
Военной работой солдат.
Под стать пневматическим сверлам
Тяжелый его автомат.

Он в тряском товарном вагоне
Сидит, разбирая чертеж,
В замасленном комбинезоне
На сварщика чем-то похож.

Ну, что же! Подсчитывай, целься,
Пали в механических птиц!
Ты вышел из книги Уэльса —
Не с ярких толстовских страниц.

С гусарами схож ты не очень:
Одет в меховые штаны,
Ты просто поденный рабочий
Завода страданий — войны.

22 декабря 1941 г.



СТАНЦИЯ ЗИМА

Говорят, что есть в глухой Сибири
Маленькая станция Зима.
Там сугробы метра в три-четыре
Заметают низкие дома.

В ту лесную глушь еще ни разу
Не летал немецкий самолет.
Там лишь сторож ночью у лабазов
Костылем в сухую доску бьет.

Там порой увидишь, как морошку
Из-под снега выкопал медведь.
У незатемненного окошка
Можно от чайку осоловеть.

Там судьба людская, точно нитка,
Не спеша бежит с веретена.
Ни одна тяжелая зенитка
В том краю далеком не слышна.

Там крепки бревенчатые срубы,
Тяжелы дубовые кряжи.
Сибирячек розовые губы
В том краю по-прежнему свежи.

В старых дуплах тьму лесных орехов
Белки запасают до весны...
Я б на эту станцию поехал
Отдохнуть от грохота войны.

1941

НА ФРОНТ

Теперь весь мир пошел враскачку,
Шатаясь, как хмельной...
Сошлись приятели на дачку,
Чтоб выпить по одной.

Они велели гармонисту
Наяривать матлот.
Гармонь прервет то дальний выстрел,
То близкий самолет.

А пареньки пьяны немножко:
На фронт им скоро... Что ж!
Им невдомек, что рев гармошки
На реквием похож.
1941

ЗАВЕТ

В час испытаний
Поклонись отчизне
По-русски,
В ноги,
И скажи ей:
«Мать!
Ты жизнь моя!
Ты мне дороже жизни!
С тобою — жить,
С тобою — умирать!»

Будь верен ей.
И, как бы ни был длинен
И тяжек день военной маеты,—
Коль пахарь ты,
Отдай ей всё, как Минин,
Будь ей Суворовым,
Коль воин ты.

Люби ее.
Клянись, как наши деды,
Горой стоять
За жизнь ее и честь,
Чтобы сказать
В желанный час победы:
«И моего
Тут капля меда есть!»
1942

БОРЬБА

Века прошли
В борьбе жестокой:
Врага стараясь превозмочь,
Навстречу дню,
Что шел с Востока,
Шла с Запада
Глухая ночь.

Но как бы
Над землею смутно
Ее ни нависала тень,—
Мир знал:
Непобедимо
Утро.
С Востока
Снова встанет день!
1942

1941

Ты, что хлеб свой любовно выращивал,
Пел, рыбачил, глядел на зарю.
Голосами седых твоих пращуров
Я, Россия, с тобой говорю,

Для того ль новосел заколачивал
В первый сруб на Москве первый гвоздь,
Для того ль астраханцам не плачивал
Дани гордый владимирский гость;

Для того ль окрест города хитрые
Выводились заслоны да рвы
И палили мы пеплом Димитрия
На четыре заставы Москвы;

Для того ль Ермаковы охотники
Белку били дробинкою в глаз;
Для того ль пугачевские сотники
Смердам чли Государев Указ;

Для того ли, незнамы-неведомы,
Мы в холодных могилах лежим,
Для того ли тягались со шведами
Ветераны Петровых дружин;

Для того ли в годину суровую,
Как пришел на Москву Бонапарт,
Попалили людишки дворовые
Огоньком его воинский фарт;

Для того ль стыла изморозь хрусткая
У пяти декабристов на лбу;
Для того ль мы из бед землю Русскую
На своем вывозили горбу;

Для того ль сеял дождик холодненький,
Точно слезы родимой земли,
На этап бритолобых колодников,
Что по горькой Владимирке шли;

Для того ли под ленинским знаменем
Неусыпным тяжелым трудом
Перестроили мы в белокаменный
Наш когда-то бревенчатый дом;

И от ярого натиска вражьего
Отстояли его для того ль,—
Чтоб теперь истлевать тебе заживо
В самой горькой из горьких неволь.

Чтоб, тараща глаза оловянные,
Муштровала ребят немчура,
Чтобы ты позабыл, что славянами
Мы с тобой назывались вчера?..

Бейся ж так, чтоб пришельцы поганые
К нам ходить заказали другим.
Неприятелям на поругание
Не давай наших честных могил!

Оглянись на леса и на пажити,
Выдвигаясь с винтовкою в бой:
Всё, что кровным трудом нашим нажито,—
За твоею спиной, за тобой!

Чтоб добру тому не быть растащену,
Чтоб Отчизне цвести и сиять,
Голосами седых твоих пращуров
Я велю тебе насмерть стоять!
Февраль 1942

НЕ ПЕЧАЛЬСЯ!

Не печалься!
Скоро, очень скоро
Возвратится мирное житье:
Из Уфы вернутся паникеры
И тотчас забудут про нее.

Наводя на жизнь привычный глянец,
Возвратят им старые права,
Полноту, солидность и румянец
Им вернет ожившая Москва.

Засияют окна в каждом доме,
Патефон послышится вдали...
Не печалься: всё вернется — кроме
Тех солдат, что в смертный бой пошли.
3 марта 1942

***

Это смерть колотит костью
По разверзшимся гробам:
«Дранг нах Остен!
Дранг нах Остен!» —
Выбивает барабан.

Лезут немцы, и пойми ты:
Где изъяны в их броне?..
«Мессершмитты»,
«Мессершмитты»
Завывают в вышине.

Шарит враг незваным гостем
По домам и погребам...
«Дранг нах Остен!
Дранг нах Остен!» —
Выбивает барабан.

Толпы спят на полустанках,
Пол соломой застеля.
Где-то близко вражьи танки
Пашут русские поля.

Толстый унтер хлещет в злости
Баб смоленских по зубам...
«Дранг нах Остен!
Дранг нах Остен!» —
Выбивает барабан.

Рвутся бомбы. Дети плачут.
Первой крови горек вкус.
Воет пьяный автоматчик:
«Рус капут!
Сдавайся, рус!..»
1942

ФЮРЕР

Неужели он был ребенком,
Пил, как все, молоко — и рос
С детским пухом на тельце тонком,
В светлых капельках детских слез?

И, вместилище всякой скверны,
Пропасть зла без краев и дна,—
Неужели сказал он первым
Слово «мама», а не «война»?

Нет! Зачатый тупицей прусским
После выпивки в кабаке,
Он родился с кровавым сгустком
В желтом сморщенном кулачке.

И, явившись из тьмы утробной
В мир сверкающий, стал кричать
Так визгливо, так адски-злобно,
Что его испугалась мать.
1942

ХЛЕБ И ЖЕЛЕЗО

Хлеб зреет на земле, где солнце и прохлада,
Где звонкие дожди и щебет птиц в кустах.
А под землей, внизу, поближе к недрам ада
Железо улеглось в заржавленных пластах.

Благословляем хлеб! Он — наша жизнь и пища.
Но как не проклинать ту сталь, что наповал
Укладывает нас в подземные жилища?..
Пшеницу сеял бог. Железо черт ковал!
7 апреля 1942 г.

СТАРАЯ ГЕРМАНИЯ

Где он теперь, этот домик ветхий,
Зяблик, поющий в плетеной клетке,
Красный шиповник на свежей ветке
И золотистые косы Гретхен?

Пела гитара на старом Рейне,
Бурши читали стихи в кофейне,
Кутая горло платком пуховым,
У клавикордов сидел Бетховен.

Думал ли он, что под каждой крышей
Немцами будут пугать детишек?
19 мая 1942 г.

УБИТЫЙ МАЛЬЧИК

Над проселочной дорогой
Пролетали самолеты...
Мальчуган лежит у стога,
Точно птенчик желторотый.
Не успел малыш на крыльях
Разглядеть кресты паучьи.
Дали очередь — и взмыли
Вражьи летчики за тучи...
Все равно от нашей мести
Не уйдет бандит крылатый!
Он погибнет, даже если
В щель забьется от расплаты.

В полдень, в жаркую погоду
Он воды испить захочет,
Но в источнике не воду —
Кровь увидит вражий летчик.
Слыша, как в печи горячей
Завывает зимний ветер,
Он решит, что это плачут
Им расстрелянные дети.
А когда, придя сторонкой,
Сядет смерть к нему на ложе,—
На убитого ребенка
Будет эта смерть похожа!
1942

ДЕТИ

Страшны еще
Войны гримасы,
Но мартовские дни —
Ясны,
И детвора
Играет в «классы» —
Всегдашнюю
Игру весны.

Среди двора
Вокруг воронки
Краснеют груды кирпича,
А ребятишки
Чуть в сторонке
Толпятся,
Весело крича.

Во взгляде женщины
Несмелом
Видна печаль,
А детвора
Весь день рисует
Клетки мелом
Среди широкого двора.

Железо,
Свернутое в свиток,
Напоминает
О враге,

А мальчуган
На стеклах битых
Танцует
На одной ноге...

Что ж,
Если нас
Враги принудят,
Мы вроем надолбы
В асфальт,
Но дни пройдут —
И так же будет
Звенеть
Беспечный
Детский альт!

Он — вечен!
В смерть душа не верит:
Жизнь не убьют,
Не разбомбят!..
У них эмблема —
Крест и череп.
Мы —
За бессмертный
Смех
Ребят.

1942

***

Начинается ростепель марта,
И скворец запевает — он жив...
Ты лежишь под гвардейским штандартом,
Утомленные руки сложив.

Ты устал до кровавого пота!
Спи ж спокойно. Ты честно, родной,
Отработал мужскую работу,
Что в народе зовется — войной.

Мы холодные губы целуем,—
Шлем тебе наш прощальный салют,
В том колхозе, что мы отвоюем,
Твоим именем клуб назовут.

Наши девушки будут в петлице
Твой портрет в медальоне носить,
О тебе тракторист смуглолицый
Запоет, выйдя травы косить.

Ты не даром на вражьи твердыни
Шел за землю родимую в бой:
Ты навеки становишься ныне
Сам родимою нашей землей!

Чисто гроба остругана крышка,
Выступает смола на сосне,
Синеглазый вихрастый мальчишка
По ночам тебя видит во сне:

Он к отцу на колени садится
И его заряжает ружье...
Спи, товарищ! Он будет гордиться,
Что наследовал имя твое.
1942

ДНЕПРОПЕТРОВСК

На двор выходит
Школьница в матроске,
Гудят над садом
Первые шмели.
Проходит май...
У нас в Днепропетровске
Уже, должно быть,
Вишни зацвели.

Да, зацвели.
Но не как прошлым летом,
Не белизной,
Ласкающею глаз:
Его сады
Кроваво-красным цветом
Нерадостно
Цветут на этот раз!

И негде
Соловьям перекликаться:
У исполкома
Парк
Сожжен дотла,

И на ветвях
Раскидистых акаций
Повешенных
Качаются тела.

Как страшно знать,
Что на родных бульварах,
Где заблудилась
Молодость моя,
Пугают женщин,
От печали старых,
Остроты
Пьяного офицерья...

Друзья мои!
Я не могу забыть их.
Я не прощу
Их гибель палачам:
Мне десять тысяч
Земляков убитых
Спать не дают
И снятся по ночам!

Я думаю:
Где их враги убили?
В Шевченковском,
На берегу Днепра?
У стен еврейского кладбища
Или
Вблизи казарм,
Где сам я жил вчера?

Днепропетровск!
Ужель в твоих кварталах,
Коль не сейчас,
Так в будущем году,
Из множества
Друзей моих бывалых
Я никого,
Вернувшись,
Не найду?

Не может быть!
Всему есть в жизни мера!
Недаром же
С пожарной каланчи

На головы
Немецких офицеров
По вечерам
Слетают кирпичи.

Мои друзья,—
Как их враги ни мучай,—
Ведут борьбу,
И твердо знаю я:
Те,
Кто не носит
Свастики колючей,
В Днепропетровске
Все
Мои друзья!
1942



ОКТЯБРЬСКАЯ БИТВА

Мы песком
На чердаках гасили
Пламя вражьих бомб
В тревоги час.
Фронтовые
Белые автомобили
В гости к смерти
Увозили нас.

Из друзей,
Ушедших в эту осень,
Не один
Простился с головой,—
Но остановили
Двадцать восемь
Вражеские танки
Под Москвой.

Нас босыми
По снегу водили
На допрос и пытку
Из тюрьмы...
Все равно:
Враги не победили!
В этой битве
Победили
Мы!
1942

В БУЛОЧНОЙ

Потеряла карточку старушка...
Сгорбленная, с палочкой в руке,
Старая старушка-побирушка
Плакала у кассы в уголке.

Люди носят черный, носят белый.
Мельком поглядят и мимо, в дверь.
Что им — душам каменным — за дело,
Как она без хлебушка теперь?

Лишь мальчишка в порванной пилотке
Молвил, плюнув мимо сапога:
«Ишь, как хнычет! Голод, знать, не тетка!
Кушать хочет, старая карга!»

Будь семья,— все б легче ей немножко,
Но она, как перст, одна в беде:
Старика засыпало в бомбежку,
Внук — на фронте, дочь — в Караганде.

Что ж ей, старой, делать? Может, просто
Поплестись, прости господь, туда,
Где блестит у Каменного моста
Ледяная черная вода...
1942

ЯСЬ

Вышел Ясь
Из ветхой избушки,
На плетень оперся
У сада.

Видит он:
Бежит к нему с опушки
Его маленький сынок,
Его отрада.

Он в одной руке
Несет веревку,
А другою
Сдерживает сердце:
«Ох, отец!
Нашу старую буренку
Увели проклятые немцы!»

Пожалел старик
Свою скотину,
Он избу стеречь
Оставил бабу,
Чмокнул
На прощанье
Сына
И пошел
К немецкому штабу.

Криками и бранью
Встретил Яся
На крыльце
Фашистский полковник:
«Уходи, собачье мясо!
Убирайся!
Вот еще
Нашелся
Законник!»

Старый Ясь
Ни с чем
Подходит к дому,
Брызжет дождик
Теплый и редкий...
У села
За стогом соломы
Повстречали Яся
Соседки.

«Ясь!
Покуда ты ходил за коровой —
По селу
Патруль немецкий рыскал.

Ой, убит
Твой сынок чернобровый,
Нет в живых
Твоей женки Марыськи!»

До зари,
Пока не спали певни,
Ясь в ногах просидел
У покойных.
И пошел к попу
На край деревни,
Чтобы мертвых
Погрести достойно.

Он плетется
В горькой обиде,
Смотрит —
Вьется дым синеватый.
Пригляделся старый
И видит:
То горит
Его бедная хата.

Молвил Ясь:
«Не будет с немцем толку!
Стерпим —
Бабы наплюют в глаза нам!..»
Из навоза
Выкопал винтовку
И подался в пущу,
К партизанам.

Хороша
У пущи той дорога,
Да ходить по ней
Врагам неловко:
То из-за куста,
То из-за стога
Достает их
Ясева винтовка!

1942

ДЕНЬ СУДА

За то, что каскою рогатою увенчан
И в шкуру облачен, ты был как гунн жесток,
За пепел наших сел, за горе наших женщин,
От милых сердцу мест ушедших на восток,

За горькую тоску напевов похоронных
Над павшими в огне кровопролитных сеч,
За вбитые в глаза немецкие патроны,
За головы детей, разбитые о печь,

За наши города, за храмы наших зодчих,
Повергнутые в прах разбойничьей пальбой,
За наш покой, за то, что на могилах отчих
Ругаются скоты, взращенные тобой,

За хлеб, что ты украл с широких наших пашен,
За бешенство твоих немецких Салтычих,
За безутешный плач несчастных пленниц наших
На каторге твоей и за бесчестье их,

За всех, кто был убит в церквах, в подвалах,
в ригах,
Кто бился на кострах, от ужаса крича,—
Исполнится написанное в книгах:
«Поднявший меч погибнет от меча».

Как бешеного пса, тебя в железной клетке
На площадь привезут народу напоказ,
И матери глаза закроют малолеткам,
Чтоб не пугаться им твоих свирепых глаз.

И грохот костылей раздастся на дорогах:
Из недр своих калек извергнут города.
Их тысячи — слепых, безруких и безногих
На площадь приползут в день твоего суда.

И, крови не омыв, не отирая пота,
Не слыша ничего, не видя ничего,
Чудовищной толпой, сойдясь у эшафота,
Слепые завопят: «Отдайте нам его!»

И призраки детей усядутся в канавах,
И вдовы принесут в пустых глазах тоску...
Куда тебе бежать от пальцев их костлявых,
Что рвутся к твоему сухому кадыку?

И встанут мертвецы. Их каждый холм, и пажить,
И рощица отдаст в жестокий этот час.
Их мертвые уста тебе невнятно скажут:
«Ты все еще живешь, злодей, убивший нас?»

Тебя отвергнет друг, откажет мать в защите,
Промолвив: «Пусть над ним исполнится закон!
Мне этот зверь — не сын! На суд его тащите!
Я проклинаю ночь, когда родился он!»

Тогда впервые ты почуешь смертный ужас
И, слыша, как твоя седеет голова,
Завертишься ужом, уйти от кары тужась,
И станешь лепетать о милости слова.

Но проклят всеми ты! И милости не будет!
Враги тебе — земля, и воздух, и вода...
И если правда есть, и если подлость судят,
То скоро для тебя наступит День Суда!
1943

* * *

Полянка зимняя бела,
В лесу — бурана вой.
Ночная вьюга замела
Окопчик под Москвой,

На черных сучьях белый снег
Причудлив и космат.
Ничком лежат пять человек —
Пять ленинских солдат.

Лежат. Им вьюга дует в лоб,
Их жжет мороз. И вот —
На их заснеженный окоп
Фашистский танк ползет.

Ползет — и что-то жабье в нем.
Он сквозь завал пролез
И прет, губительным огнем
Прочесывая лес.

«Даешь!» — сказал сержант. «Даешь!» —
Ответила братва.
За ними, как железный еж,
Щетинилась Москва.

А черный танк все лез и лез,
Утаптывая снег,
Тогда ему наперерез
Поднялся человек.

Он был приземист, белокур,
Курнос и синеок.
Холодных глаз его прищур
Был зорок и жесток.

Он шел к машине головной
И помнил, что лежат
В котомке за его спиной
Пять разрывных гранат.

Он массой тела своего
Ей путь загородил.
Так на медведя дед его
С рогатиной ходил.

И танк, паля из всех стволов,
Попятился, как зверь.
Боец к нему, как зверолов,
По насту полз теперь.

Он прятался от пуль за жердь,
За кочку, за хвою,
Но отступающую смерть
Преследовал свою!

И черный танк, взрывая снег,
Пустился наутек,
А коренастый человек
Под гусеницу лег.

И, все собою заслоня,
Величиной в сосну,
Не человек, а столб огня
Поднялся в вышину!

Сверкнул — и через миг померк
Тот огненный кинжал...
Как злая жаба, брюхом вверх,
Разбитый танк лежал.
1943

УЗЕЛ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Через лужок, наискосок
От точки огневой,
Шумит молоденький лесок,
Одевшийся листвой.

Он весь — как изумрудный дым,
И радостно белы
Весенним соком молодым
Налитые стволы.

Весь день на солнце знай лежи!..
А в роще полутьма.
Там сходят пьяные чижи
От радости с ума.

Мне жар полдневный не с руки,
Я встану и пойду
Искать вдоль рощи васильки,
Подсвистывать дрозду.

Но поднимись не то что сам —
Из ямы выставь жердь —
И сразу к птичьим голосам
Прибавит голос смерть.

Откликнется без долгих слов
Ее глухой басок
Из-за березовых стволов,
С которых каплет сок.

Мне довелось немало жить,
Чтоб у того узла
Узнать, что гибель может быть
Так призрачно бела!
1943

НОЧНОЙ ПЛАЧ

На дворе — осенней ночи гнилость,
Затрещал сверчок. Огонь погас.
Мой хороший! Что тебе приснилось
В этот самый сумеречный час?

Твой мирок не то, что наш, громоздкий:
Весь его рукой накрыть легко.
В нем из розовой шершавой соски
Теплое струится молочко.

Отчего ж дрожат твои ресницы
И дыханье стало тяжело?
Что тебе печальное присниться,
Страшное привидеться могло?

Иль тоска рыданий безутешных,
Грудь теснящих в этот поздний час,
С кровью перешла к тебе от грешных,
Слишком многое узнавших — нас?
20 февраля 1943

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Итак, ты выжил. Кончились бомбежки.
Солдаты возвращаются домой.
И выполз ты, еще шальной немножко,
Как муха, уцелевшая зимой.

Ты медленно проходишь пестрым лугом,
Где ветер клонит волны спелой ржи.
Уже почти распаханные плугом,
Еще кой-где чернеют блиндажи.

И ты с улыбкой вспомнил, как, бывало,
Осколки тут жужжали, как шмели.
Теперь здесь тишь. И на дрова завалы
Колхозницы по щепке разнесли.

В кустах ты видишь танков лом железный,
На их броне растет зеленый мох...
Как после долгой тягостной болезни,
Ты делаешь счастливый полный вздох.

«Теперь,— ты думаешь,— жизнь будет длинной!
Спокойной будет старости пора».
И вдруг у ног твоих взорвется мина,
Саперами забытая вчера.

21 февраля 1943

КУКУШКА

Утомленные пушки
В это утро молчали.
Лился голос кукушки,
Полный горькой печали.
Но ее кукованье
Не считал, как бывало,
Тот, кому этой ранью
Встарь она куковала.
Взорван дот в три наката,
Сбита ели макушка...
Молодого солдата
Обманула кукушка!

Лето 1943 г.

* * *

Когда сраженье стихнет понемногу,—
Сквозь мирное журчанье тишины
Услышим мы, как жалуются богу
Погибшие в последний день войны.

22 февраля 1944 г.

АННА

Эту женщину звали Анной.
За плечом ее возникал
Грохот музыки ресторанной,
Гипнотический блеск зеркал.

Повернется вполоборота,
И казалось — звенит в ушах
Свист японского коверкота
И фокстрота собачий шаг.

Эту женщину ни на волос
Не смогла изменить война:
Патефона растленный голос
Всё звучал из ее окна.

Все по-прежнему был беспечен
Нежный очерк румяных губ...
Анна первой пришла на вечер
В офицерский немецкий клуб,

И за нею следил часами,
Словно брал ее на прицел,
Фат с нафабренными усами —
Молодящийся офицер.

Он курил, задыхаясь, трубку,
Сыпал пепел на ордена...
Ни в концлагерь, ни в душегубку
Не хотела попасть она.

И, совсем не грозя прикладом,
Фат срывал поцелуи, груб,
С перепачканных шоколадом,
От ликера припухших губ.

В светлых туфельках, немцем данных,
Танцевавшая до утра,
Знала ль ты, что пришла в Майданек
В этих туфлях твоя сестра?

Для чего же твой отдых сладкий
Среди пудрой пропахшей мглы
Омрачали глаза солдатки,
Подметавшей в дому полы?

Иль, попав в золотую клетку,
Ты припомнить могла, что с ней
Вместе кончила семилетку
И дружила немало дней?

Но послышалась канонада,—
Автоматом вооружен,
Ганс сказал, что уехать надо
С эшелоном немецких жен.

В этих сумерках серых, стылых
Незаметно навел, жесток,
Парабеллум тебе в затылок,
В золотящийся завиток.
Май 1944

ВРАГ

Я поседел, я стал сутулей
В густом пороховом дыму.
Железный крест, пробитый пулей,
Привез мальчишке моему.

Как гунн, топтал поля Европы
Хозяин этого креста.
Он лез на русские окопы
С губной гармоникой у рта.

Он грудью рыжей и косматой
С быком — и то поспорить мог,
Он нес обоймы автомата
За голенищами сапог.

Он рвался, пьяный, в гущу драки,
Глаза от злости закатив,
И выводил в пылу атаки
Баварский сладенький мотив.

Он целый мир — никак не меньше —
Видал у ног своих во сне,
Он прятал снимки голых женщин
В телячий ранец на спине.

«Иван! — кричал он.— Как ни бейся,
Я все равно твой дом взорву!..»
И он глядел сквозь стекла цейса
На недалекую Москву.

Остроконечной пулей русской
Солдат, входящий нынче в Брест,
Навылет возле планки узкой
Пробил его железный крест.

И вот теперь под Старой Руссой
Его червяк могильный ест,
И сунул мой мальчишка русый
В карман его железный крест.

Он там лежит рядком с рогаткой,
С крючком для удочки — и мать
Зовет игрушку эту гадкой
И норовит ее сломать.

А кости немца пожелтели,
Их моет дождь, их сушит зной.
Давно земля набилась в щели
Его гармоники губной.

Среди траншей, бомбежкой взрытых,
Лежит в конверте голубом
Порнографических открыток
Врагом потерянный альбом.

Лишь фляга с гущею кофейной
Осталась миру от него,
И автомат его трофейный
Висит на шее у того,

Кто для заносчивых соседей
Хребет на барщине не гнет,
С ножом выходит на медведя
И белку в глаз дробинкой бьет!
20 июля 1944

ПЛЕННЫЕ

Шли пленные шагом усталым
Без шапок. В поту и в пыли
При всех орденах генералы
В колонне их — первыми шли.

О чем эти люди грустили?
Сбывался их сон наяву:
Без выстрела немцев пустили
В столицу России — Москву.

Здесь пленные летчики были.
Искал их потупленный взгляд
Домов, что они разбомбили
Недавно — три года назад.

Но кровель нагретые скаты
Тянулись к июльским лучам,
И пленных глаза виновато
Глядели в глаза москвичам.

Теперь их смешок был угодлив:
«Помиримся! Я не жесток!
Я дьявольски рад, что сегодня
Окончил поход на Восток!»

Простить их? Напрасные грезы!
Священная ярость — жива!..
Их слезы — те самые слезы,
Которым не верит Москва!

У девушки в серой шинели
По милому сердце болит,
Бредя по московской панели,
Стучит костылем инвалид...

Ведь если б Восток их не встретил
Упорством своих контратак —
По солнечным улицам этим
Они проходили б не так!

Тогда б под немецкою лапой
Вот этот малыш умирал,
В московском отделе гестапо
Сидел бы вон тот генерал...

Но, смяты военною бурей,
Проварены в русском котле,
Они лишь толпою понурой
Прошли по московской земле.

За ними катились машины,
На камни струилась вода,
И солнца лучи осушили
Их пакостный след — навсегда.
22 июля 1944

ПОБЕДА

Шло донское войско на султана,
Табором в степи широкой стало,
И казаки землю собирали —
Кто мешком, кто шапкою бараньей.

В холм ее, сырую, насыпали,
Чтоб с кургана мать полуслепая
Озирала степь из-под ладони:
Не пылят ли где казачьи кони?
И людей была такая сила,
Столько шапок высыпано было,
Что земля струей бежала, ширясь,
И курган до звезд небесных вырос.
Год на то возвышенное место
Приходили жены и невесты,
Только, как ни вглядывались в дали,
Бунчуков казачьих не видали.
Через три-четыре долгих года
Воротилось войско из похода,
Из жестоких сеч с ордой поганой,
Чтобы возле прежнего кургана
Шапками курган насыпать новый —
Памятник годины той суровой.
Сколько шапок рать ни насыпала,
А казаков так осталось мало,
Что второй курган не вырос выше
Самой низкой камышовой крыши.
А когда он встал со старым рядом,
То казалось, если смерить взглядом,—
Что поднялся внук в ногах у деда...
Но с него была видна победа.

5 апреля 1945 г.

* * *

Ой, на вербе в поле
Черный ворон крячет,
У врага в неволе
Полонянка плачет.

Смотрит, затуманясь,
Как на тын высокий
Вешает германец
Проволоку с током...

Барахля мотором,
По щебенке хрупкой
Мимо в крематорий
Мчится душегубка.

В ней — казак, с губами,
Что краснее мака.
В газовую баню
Повезли казака.

Больше полонянка
Не обнимет парня...
Встал на полустанке
Порожняк товарный.

В ноги Украине
Поклонись, Ганнуся,
С каторги доныне
Разве кто вернулся?..

Язычище мокрый
Вываливши жарко,
На дивчину смотрит
Рыжая овчарка.

И на всю округу
Тянет обгорелым
Тошнотворным духом —
Человечьим телом.

Утро просыпаться
Начало, мерцая,
На постах в два пальца
Свищут полицаи.

Но над чьей засадой,
В синеве купаясь,
Вьется чернозадый,
Красноногий аист?

Почему росою,
Как слезами, полный,
Встал среди фасоли
Сломанный подсолнух?

Видно, близко-близко
У степных колодцев
В автоматы диски
Заложили хлопцы!

2 июня 1945

* * *

Месяц однорогий
Выплыл, затуманясь.
По степной дороге
Проходил германец.

С древнего кургана
В полусвете слабом
Скалилась нагая
Каменная баба.

Скиф ладонью грубой
В синем Заднепровье
Бабе мазал губы
Вражескою кровью.

Из куска гранита
Высечены грубо,
Дрогнули несыто
Идоловы губы.

Словно карауля
Жертву среди ночи,
На врага взглянули
Каменные очи.

Побежал германец
По степной дороге,
А за ним хромали
Каменные ноги.

Крикнул он, шатаясь,
В ужасе и в муке,
А его хватали
Каменные руки...

Зорька на востоке
Стала заниматься.
Волк нашел в осоке
Мертвого германца.

3 июня 1945

* * *

В потертых сапогах и в полотняных
Косынках, вылинявших добела,
Толпа освобожденных полонянок
По городу готическому шла.

Был этот город — хмурый и старинный —
Сырой, как погреб, прочный, как тюрьма...
Склонявшийся над свечкой стеариновой,
В нем Гофман некогда сходил с ума.

Как мумия, сухой, как смерть, курносый,
Свободный от ошибок и грехов,—
В нем жил когда-то старичок философ,
Не выносивший пенья петухов.

Морщинистой рукой котенка гладя,
Поднявши чашечку в другой руке,
Он пил свой кофе — в байковом халате,
В пошитом из фланели колпаке.

Румянец выступал на щечках дряблых,
Виски желтели, как лежалый мел.
В неволе ослепленный гарцкий зяблик
Над старичком в плетеной клетке пел.
. . . .

Июль 1945



МУЖСКАЯ РАБОТА



«УРОЖАЙ»

(Маленький фельетон)

В перелески, на болота
Наконец пришла весна.
Со стоянок самолетов
Стала снег счищать она.
Что ни день,—сильнее тает,
Солнце греет с высоты.
Из-под снега вырастают
Небывалые цветы:
У товарища Лысухи
Уродился странный злак,—
Вырос, чуть лишь стало сухо,
Из-под снега бензобак.
Не одно растенье это
У Лысухи стало цвесть:
Вместо ландыша магнето
И покрышек пять иль шесть.
От Лысухи неохота
Отставать и Добрину́:
Он рулями поворота
В осень сеял целину.
Он земли бесцельной траты
Ни вершка не допустил:
Рядом винт и карбюратор
Деловито посадил.
Словом, чуть суглинок высох,—
Знай, детали подбирай!
Вывозить пришлось на ЗИСах
Этот грустный урожай...
21 мая 1943

ИЗ ОГНЯ В ВОДУ

Фрица юг бросает в жар —
Только оглянись он:
Немец солнечный удар
Получил в Тунисе.

Что теперь,— он думал хмур,—
Хуже может статься?..
Но залить водою Рур
Вздумали британцы.

Что ж арийца ждет еще?
Вылинял задира:
Под Бизертой — горячо,
В Руре — слишком сыро.

Наводненья грозный вал
Хлещет по заводам...
Называется — попал
Из огня да в воду!

22 мая 1943

ПЕСОК

От взрыва — с пушкой наравне —
Он был на волосок.
Но, спросим мы, по чьей вине
Набился в ствол песок?

Гашеткин точные нашел
Ответные слова:
Видать, набит песком не ствол,
А чья-то голова...

23 мая 1943

«ГРАД»

Придется фрицам сбавить тон!
Какой уж тут апломб?
Нелегок груз двух тысяч тонн
На Рур упавших бомб.
Кряхтя, коричневый балбес
Почесывает зад:
Ни разу на него с небес
Такой не падал «град».

Что, фриц? Иль больно горячо?
Кишка тонка, поди?..
Все это — цветики еще,
Ты ягод подожди!
26 мая 1943

ДВЕ БОЛЕЗНИ [1]

Да, в плохое дело влезла
Итальянская шпана:
Африканскою болезнью
Вся Италия больна.

Что ж! И есть чего бояться:
Дуче бьют то там, то здесь...
Скоро хватит итальянцев
Европейская болезнь.
26 мая 1943



БАЛЛАДА О ПОБРАТИМАХ

«Послушай, что у нас в полку
Случилось как-то раз:
Повадился на базу к нам
Летать немецкий ас,
Шнырял, как ворон, в небесах,
За тучей кочевал.
Он истребителям с земли
Подняться не давал.

А в эти дни в полку у нас
Служили два дружка.
Всю жизнь они прошли вдвоем —
От парты до полка.

[1] Муссолини заявил, что вся Италия больна африканской болезнью, суть которой заключается в страхе перед поражением итало-германских войск в Африке. (Из газет.)

Случалось в детстве им не раз
Расквашивать носы.
А в юности не спать ночей
Из-за одной косы.
Обоим выдал мотоклуб
Шоферские права,
Вдвоем приятели летать
Учились на «У-2»,
Вдвоем дрались на ястребках
С коричневым зверьем.
И первый орден получать
Отправились вдвоем...
Мы побратимами за то
Прозвали их шутя,
Что старший младшего берег,
Как малое дитя.

В то утро, помню, старший был
В полете боевом.
Глядим, летит фашистский волк
На наш аэродром.
«Кто, — говорит нам командир,—
Собьет его в бою?»
И младший молвил, козырнув:
«Позвольте, я собью!»
Тот бой мы видели с земли
И убедились — как
Увертлив, опытен, хитер
Матерый злобный враг:
Шел на него товарищ наш
И в лоб ему палил,
А немец прятался, петлял,
Пикировал, юлил.
Потом он очередь, как вор,
Пустил исподтишка,
И загорелся, задымил
Мотор у «ястребка»...
Вернулся старший. Злую весть
Он встретил по-мужски,
Но крепко начали седеть
С тех пор его виски.
«Как отыскать мне в небесах,—
Одно лишь он спросил,—

Того врага, что моего
Товарища убил?»
Тогда, не помню, кто из нас,
Ответил на вопрос:
«Окрашен краской голубой
Его машины нос».
«Так и моей машины нос
Пусть будет голубой,
Чтоб подлый враг меня узнал,
Когда я кинусь в бой,
Чтоб помнил он, что у меня
Есть с ним кровавый счет,
Чтоб знал, что от моей руки
До смерти не уйдет,
Что в воздухе, и на земле,
И в море, и в аду,—
Куда б ни скрылся он,— его
Я все равно найду!..»
И был его машины нос
Окрашен голубым,
Он вылетел, как ветер быстр,
Как смерть неуловим!
Он двадцать «мессершмиттов» сжег
На базах и в бою,
Ища врага, чтобы над ним
Исполнить месть свою!
Но, глядя, как внизу дымил
Фашистский самолет,
«Не тот! — он мрачно говорил.—
И в этот раз не тот!»
И вот однажды, слышим мы —
Вверху мотор шумит,
Глядим — голубоносый к нам
Несется «мессершмитт».
Наш друг ракетою взлетел,
Завидев над собой
Машину старого врага,—
И завязался бой!
Фашисту, надобно сказать,
Невесело пришлось:
Наш друг шел в лобовой удар,
А немец прятал нос,
Вертелся в небе, как щенок,
Лукавил,— да куда!

Товарищ наш его забрал,
Как лошадь в повода.
Как ни увертлив был фашист,
Как ни был он хитер,
А все-таки наш друг всадил
Снаряд в его мотор!

«Ну, вот,— сказал он, под ногой
Площадки чуя гладь,—
В сырой земле мой побратим
Спокойно может спать.
Теперь моей машины нос
Пусть перекрасят вновь...»
И он с рассеченного лба
Перчаткой вытер кровь.
<1943>

«ОГОРОДНИК»

Капитану И. Ипатову

Над леском, над болотцем, над рощей,
Не спеша, словно даже с ленцой,
Наш зеленый небесный извозчик
Пролетает воздушной рысцой.

За рекою заря догорает,
Холодеет небесный простор,
И над кромкой переднего края
Капитан выключает мотор.

Видя тень от его самолета,
Промелькнувшую вдруг в небесах,
Долго вслед ему наша пехота
Смотрит, пряча улыбку в усах.

И в землянке, под крышей горбатой,
Говорят, если кто загрустит:
— Ничего! Не журитесь, ребята!
Снова наш «огородник» летит!

Надвигается темень ночная,
И звучит добродушный смешок:
— Наш-то немца бомбить начинает!
Чай, уже вынимает мешок!..

Ни поесть, ни поспать, ни побриться
Не дает он врагам с давних пор.
По ночам обалделые фрицы
Не решаются выйти из нор.

Днем глядеть ему надобно в оба!
Вдруг мотор позади зашумит...
Глянет он,— ошалевший от злобы,
Догоняет его «мессершмитт».

Но врагу не везет на охоте!
У земли он, поди, развернись,
На фанерном своем самолете
«Огородник» кидается вниз.

Он не очень испуган бедою.
Ловок, храбр и не так-то уж прост,
Он жуком прогудит над водою
И нырнет перепелкой под мост.

Не слаба у него оборона
И хитра, хоть по виду проста:
Одураченный немец с разгона
Разобьется о камень моста!..

Горд своею крылатой лошадкой,
Из воды выходящий сухой,
Невредимый над летней площадкой
Загудит «огородник» лихой.

7 июня 1943

РУПП-ТРУП

Уныние в фашистском стане:
Свою карьеру кончил Рупп.
Советский летчик на Кубани
Из генерала сделал труп.

9 июня 1943

БЕССМЕРТИЕ

Где его найти — такое слово,
Чтобы в этом слове ожила
Девушка Маруся Иванова —
Дочка белорусского села?

Почему явилась ей охота
После лет ученья и игры
Променять на ручку самолета
Женскую работу медсестры?

Потому, что стынут в петле узкой,
Бьются под ударом топора —
Край ее родимый белорусский,
Брат ее, отец ее, сестра...

И она идет за них в атаку
На врага, что горло сжал им зло.
Пусть ей маслом, брызнувшим из бака,
Ноги нестерпимо обожгло!

Ничего! На рельсах длинной ниткой —
Вражий поезд. Он уйти готов...
Снизу бьет зенитка за зениткой,
Рубят ночь мечи прожекторов.

Но упорно, смело, терпеливо
Самолет на цель она ведет,
Бомбы скинуты, и сила взрыва
Вверх подбрасывает самолет!

... Будет повторять правофланговый
Имя героини наизусть,
Девушке Марии Ивановой
Памятник поставит Беларусь.

Весть о ней пойдет по всей Отчизне,
От Москвы до каждого села —
Как она ценою смелой жизни
Навсегда в бессмертие вошла!
12 июня 1943

ПОЛОНЯНКА

Для того ль цветочек синий
В косу мне вплетала мать,
Чтоб в неметчине рабыней
Довелось мне умирать?

У меня в тот день проклятый
Белый свет в очах померк:
Привезли меня солдаты
К немке в дом, под Кенигсберг.

Дождь идет. Собака брешет.
У крыльца шумит дубок.
Здесь ничто меня не тешит,—
Только спичек коробок.

Ночью нету спать охоты,
Все сижу я, глядя вверх:
Может, наши самолеты
Налетят на Кенигсберг?

Налетят — тайком из дому
Босиком на двор сбегу,
Соберу в хлеву солому
И хозяйку подожгу.

Умирать не так обидно,
Если знать, что, может быть,
Нашим в небе — лучше видно
Вражью станцию бомбить!
1943



БИТВА

Под солнцем штыки засверкали косые,
Разверзлась под немцами почва России
И русские реки топили врага,
Так в битву земля наша вышла, строга.
А он, ошалев от разбоя и пьянки,
Все новые слал самолеты и танки
На нашу Отчизну, свободу и жизнь.

Казалось, прогнется и сталь под их грузом,
Но русский фельдмаршал Михайла Кутузов
Шептал пехотинцу в окопе: «Держись!»

Товарищ! Мы помним ноябрь под Москвою:
Вот Зоино тело висит неживое...
Вот Геббельс о близкой победе орет...
Вот, подслеповатые глазки прищуря,
Враг смотрит в бинокль на Москву... но как буря,—
Приказ раздается:— На Запад! Вперед!—
... Над полем заснеженным битва гремит
И ворон замерзшего фрица когтит.

А недругу снится в кровавом тумане
То нефть на Кавказе, то хлеб на Кубани,—
Над югом заносит он черную лапу,
На Красную Армию рвется на запад.
И с боя за городом город берет.
И слышится голос в приволжских просторах:
То генералиссимус русский — Суворов
Бойцов призывает: «За мною! Вперед!»

Пускай он силен еще, враг бесноватый!
Пускай еще есть у него и солдаты,
И танки, и черная злость палача,
Кто меч обнажил, тот падет от меча!

22 июня 1943

АНГЛИЙСКИЙ ОРДЕН

Среди резвящихся ребят
Присядет старина —
И, точно солнце, заблестят
На сердце ордена.
И спросит шустрый мальчуган,
Племянников сынок:
«Эй, дед Денис! За что те дан
Вот этот орденок?»
— «Который? Первый — за Сиваш,
Второй — за Сталинград,
А третий орден, брат, не наш —
Английский орден, брат!..
Подраться с немцами в тот год
Пришлось мне, старику.
Попал я в пулеметный взвод
В двенадцатом полку.

Пришел. Живу среди братвы,
Помалу фрицев бью.
И вдруг бумага из Москвы
Приходит в часть мою:
Мол, есть у вас ефрейтор. Он —
Особенным крестом
За летный подвиг награжден
Английским королем...
Тут я в тупик, признаться, стал!
За что награда мне?
Уж если я когда летал,
Так разве что во сне!
Король про это мог не знать:
К нему не близкий свет.
Но мне-то можно ль орден брать,
Что не заслужен?.. Нет!
Пришел к начальству: «Так и так,—
Комдиву говорю,—
Конечно, за отличья знак
Весьма благодарю!
Да только как его мне взять?..»
И дальше речь свожу
К тому, что надо б полетать,
Авось, и заслужу...
«Срок нужен,— молвил генерал,—
Чтоб практику пройти.
Но раз уж в летчики попал —
Давай тогда, лети!..»
На «Иле», помню, в небеса
Поднялся я в тот раз.
Под нами — реки и леса
Едва окинет глаз!
Да только я не друг брехне:
В то утро, веришь ты,
И дела мало было мне
До этой красоты!
Прошу: «Не вывали меня!
Полегче!..» А пилот:
«У моего,— кричит,— коня
Такой уж бойкий ход!»
И повезло мне в этот час:
Едва мы вышли в путь —
Глядим, какой-то фриц от нас
Спешит улепетнуть.
Я летчику сказал: «Земляк!

Прицелка, брат, плоха,
Вишь, немец скачет в небесах,
Как в рукаве блоха.
К нему б ты ближе подъезжал,
Чтоб пули тратить впрок...»
Он проскочил, и я нажал
На спусковой крючок.
Нажал — и «юнкерс» рухнул вниз
С огромной высоты!
«Ну,— думаю,— добро, Денис,
Что там сидел не ты!»
А случай слеп, да всё ж не глуп:
Он что со мной сыграл?
На «юнкерсе» летел фон Шлюпп,
Фашистский генерал...
Комдив, усами шевеля,
Смеялся: «Как? Живой?
Ну, значит, орден короля
Теперь по праву твой!»
«Да,— скажет старый ветеран,
Взглянув на ордена,—
Не зря любой из них мне дан,
Всем им — своя цена:
Смотри — вот этот за Сиваш,
Второй — за Сталинград,
А третий орден, брат, не наш, —
Английский орден, брат!»
<1943>

АС В ПОЛЁТЕ

Почерк Кудрявцева Дмитрия
Четок,— взгляни в небеса:
Там истребителем хитрая
Вычерчена полоса.

Жутко от этого почерка
Немцам в воздушных боях:
Насмерть фашистских молодчиков
Молнией бьет его «Як»!

В небе то синем, то розовом
Русский гудит самолет.
«Хейнкели» валятся в озеро,
«Фоккеры» — в топи болот.

Тень от его истребителя —
Неуловима для глаз.
Над чужеземцами мстителем
Русский проносится ас!

Высмотрит фрица — и ринется
Сверху, набрав высоту.
Сбитых фашистов — одиннадцать
У смельчаков на счету.

Свой приговор в его почерке
Видит немецкий бандит...
Слава бесстрашного летчика
Вслед за горами летит!

2 июля 1943 г.

ПРИСЯГА

Заветы славной
боевой отваги
От прадедов
остались на Руси...
Святое слово
воинской присяги
Торжественно,
боец, произнеси!
Не самому себе,
а всей отчизне
Ты говоришь
в священный этот час:
«Отдам всю кровь,
не пожалею жизни,
Чтобы исполнить
Родины приказ!»
Свирепый враг
вперед стремится снова,
Неся народу нашему беду.
Встань на пути
и вымолви сурово:
«Я дал присягу!
Я не отойду!»

Когда ж взовьются
радостные флаги
И встретятся с тобой
твои друзья,
Ты скажешь им:
«Я верен был присяге!
Победы нашей час
приблизил я».

1943

ПОЖАРНЫЙ СЛУЧАЙ

(Маленький фельетон)

В бензине дело иль металл
Подвел и отказал в работе,
Но только при посадке стал
Гореть мотор на самолете.

Как Галкина не прячься в тень,
Глаза от правды не зажмурить:
И надо ж было в этот день
Пожарницею ей дежурить!

Таисья, как назло, была
В другом конце аэродрома
И, скажем попросту, спала:
Свалила с ног девицу дрема.

Спит, сладко приоткрывши рот,
Прижав к груди огнетушитель...
Спешит народ, кричит народ:
— Скорей ее растормошите!

Таисья, силясь впопыхах
С пожаром сладить окаянным,
Огнетушитель оземь — бах!
И жидкость брызнула фонтаном.

Что ж, залила пожар? Да нет!
Ведь до горящего мотора
Бежать-то надо с километр,
А жидкость вытекает скоро.

Заткнуть дыру? Но вот скандал:
Струя сильнее хлещет втрое!
Еще Козьма Прутков сказал:
«Открывши, кто фонтан закроет?»

Огнетушитель до тех пор
Бурлил, пока не обессилел.
А в это время мы мотор
Чехлами сами загасили.

8 июля 1943

ВЕНОК БЕССМЕРТИЯ

Погибших за нашу отчизну героев
Венчает бессмертьем родная страна:
Пусть первыми в наших полках перед строем
Всегда называются их имена!

Герои бессмертны! Они — наше знамя.
Когда в небеса мы уходим на бой,
Их светлые тени летят вместе с нами,
Наш строй направляя в простор голубой.

Сражаясь за наше священное дело,
Мстя вражьей орде за сирот и за вдов,
Бесстрашные соколы гордо и смело
За Родину отдали чистую кровь.

На празднике мира — им первое место:
В грядущей победы торжественный миг
Мы скажем «Спасибо!» друзьям нашим честным
И вспомним высокие подвиги их.

Их имя заслышав, поднимутся люди
И головы склонятся, обнажены.
Над прахом героев, как памятник, будет
Расцвет победившей советской страны!..

10 июля 1943

ЛЕТЧИКИ ИГРАЮТ В ВОЛЕЙБОЛ

Близок фронт. Тревожен отдых краткий.
Смотрит ввысь зенитки тонкий ствол.
У КП на маленькой площадке
Летчики играют в волейбол.

Передышки считаны минуты:
Вдалеке уже гудят винты...
Летчики снимают парашюты,
Ставят в ряд неловкие унты.

Тот — с бомбежки, этот — из разведки.
Боя блеск в глазах еще горяч!
И летает над потертой сеткой
Беззаботный волейбольный мяч.

А в кустах горячка подготовки:
По тропинкам техники снуют,
Разноцветные несут листовки,
Бомбы к самолетам подают.

И звучит команда в роще редкой
Меж пустых, давно забытых дач.
Сиротеют на площадке — сетка
И веселый волейбольный мяч...

Мяч забытый подождет немножко:
Отдых кончен. Летчики в бою.
Через час придут они с бомбежки
И окончат партию свою!
1943

ГЕНЕРАЛ

В то утро пушек двадцать било,
Ревя на вражьем берегу,
По нашим «Илам» серокрылым,
Стоявшим прямо на лугу.

Разрывы все кучней ложились...
Не зря еще в шестом часу
За речкой немцы суетились
И поднимали «колбасу».

А генерал невозмутимый
Убрать машины не спешил,
Хотя столбы огня и дыма
Вздымались вверх среди машин.

Его приятель — гость из тыла —
Бледнел от горя и тоски.
На лбу его набухла жила,
Он протирал свои очки.

И говорил: — Послушай, Саша!
Упрячь их, я тебя прошу!
Я, несмотря на дружбу нашу,
В Москву сейчас же напишу!

Ведь самолеты рвет на клочья,
Корежит весь аэродром!
Впервые вижу я воочью
Такой бессмысленный разгром!

Тебе, как видно, все — игрушки!
Как можешь ты шутить в беде?
Скажи мне: где же наши пушки
И самолеты наши где?!

Своим приятелем теснимый,
Тайком от смеха умирал
Лукавый и невозмутимый
Седой советский генерал.

— Зевает наша оборона! —
Он бормотал себе в усы,
Привстал, взял трубку телефона
И мельком глянул на часы.

Потом, приладив трубку к уху,
Сказал: — Пора им сбавить прыть!..
«Красавцы»? Говорит: «Стряпуха»!
А ну-ка дайте прикурить! —

И вмиг весь боевой участок
Взревел на нашем берегу,
И пушек сто... Нет, больше: за сто
Загрохотало по врагу!

Теперь очки расцветший штатский
Уже в восторге протирал...
— Степан! Скажу тебе по-братски,—
Спокойно молвил генерал,—

Хотя, мой друг, и сед давно ты,
И суетишься, как школяр,
Макеты этих самолетов
Столяр готовил да маляр.

Враги снарядов двести — триста
По ним впустую извели,
А молодцы артиллеристы
Их батареи засекли!

Машины ж наши — вот ведь случай! —
Целы, обстрелу вопреки!..
Тут над КП промчались тучей
Громить врага штурмовики.
21 июля 1943

ГВАРДЕЙЦУ С. ИВАНОВУ

Вечером зимним домой прилетает
Летчик на раненом штурмовике.
Лютая стужа за пальцы хватает,
Льнет сквозь перчатку к озябшей руке.

Летчик измучен — и в сумерках ранних
Он до утра засыпает без снов.
К раненой птице подходит механик —
Доктор ее — старшина Иванов.

Эту машину подбитую надо
Долго лечить: перебит элерон,
Плоскость прошибло немецким снарядом,
Вражьими пулями руль поврежден...

В светлом цеху за станками большими
Юность недаром провел старшина.
Он говорит: «Боевая машина
Утром уйти на штурмовку должна!»

И, забывая про сон и про ужин,
Лечит всю ночь при неярком огне
Тот самолет острокрылый, что нужен
Армии Красной, Советской стране...

Лютая стужа за пальцы хватает,
Гаечный ключ примерзает к руке,
Но поутру штурмовик вылетает
И над фашистами входит в пике.

Бомбами в землю вжимает их снова,
Градом свинца поливает из туч!..
Утром крылатый больной Иванова
Снова воюет, здоров и могуч!
29 июля 1943

УСЫ

(Дружеская шутка)

Посвящается капитану
А. Ерофеевскому

Не назовешь его ни лысым,
Ни гладким, как столовый нож:
Он на Давыдова Дениса,
Гусара славного похож.

Но если в битвах, точно туча,
На скакуне носился тот,
То этот выбрал жребий лучше
И пересел на самолет.

Фашистам в землю влезть охота,
Дрожат коричневые псы,
Когда торчат из самолета
Его гусарские усы!

А он парит над их оравой
И вниз бросает страшный груз,
То левый теребя, то правый
Свой знаменитый пышный ус...

— Я дал зарок,— он мне поведал,—
Что с дня, когда пришла война,
Усов моих до Дня Победы
Коснуться бритва не должна!

Летят горячие недели,
Гремят жестокие бои,
И мне, признаться, надоели
Усы пушистые мои.

Не раз я слышал разговоры,
Что староват уже летать,
Мне девушки дают под сорок,
Хотя мне только двадцать пять.

Что ж! Потерплю! Мы в схватках бранных
Удары множим по врагу.
Уже он близок — день желанный,
Когда я снять зарок могу.

Хоть точный срок его неведом,
Держу я крепко свой обет,
Чтобы в счастливый День Победы
Помолодеть на двадцать лет.
1943

ЗИМОЙ И ЛЕТОМ ОДНИМ ЦВЕТОМ

(Маленький фельетон)

«Русским,— врал фашистский пес,
Под Москвою битый,—
Помогает Дед Мороз,
Генерал сердитый!

Дни зимы — не наш сезон:
Подождем до лета...»
Что же нынче сбрешет он
И его газета?

В стужу битые в былом,
Воры и бандиты,—
В зной июльский под Орлом
Нынче снова биты.

И под градом русских пуль
Салом пятки мажут!
«Слишком жарок был июль!» —
Вновь фашисты скажут.

Верно — правду как ни прячь,
Правда выйдет скоро:
Этот месяц был «горяч»
Для фашистской своры!..

В силу логики прямой
Падает их марка:
Слишком зябко им зимой,
Летом — слишком жарко!
9 августа 1943

ШТУРМАН

Мл. лейтенанту Н. Канищеву

Разрыв тряхнул машину... Штурман хочет
Нащупать парашютное кольцо.
Но замечает он, что ранен летчик,
На грудь склонивший бледное лицо.

Проходит дрожь невольного испуга,
Миг колебанья быстро миновал.
Одной рукой он обнимает друга,
Кладет другую руку на штурвал.

Он не пилот. Педали он не двигал
Еще ни разу на своем веку.
— Я в первый раз веду машину. Прыгай! —
Он говорит воздушному стрелку.

Он сжал штурвал. Пусть кровь из пальцев брызнет,
Он не собьется с верного пути.
В его руках две драгоценных жизни —
Его друзья... Он должен их спасти!

Пусть он устал,— опасна друга рана!
Сначала долг. Другое все потом!
И вот глазам героя из тумана
Является родной аэродром!

11 августа 1943

БАЛЛАДА О ВОСКРЕСШЕМ САМОЛЕТЕ

Инженер-капитану Кашину

Упал в болото самолет,
А летчик все сидел в кабине.
Он ночь работал напролет,
У глаз его был венчик синий.

С опушки леса в полумгле
Взлетели с карканьем вороны...
То было на «ничьей» земле,
Вблизи от вражьей обороны.

Наш самолет, подняв крыло,
Лежал в болоте мертвой грудой
И немцы выместили зло
На птице — за былую удаль.

А летчик, переждав обстрел,
Открыл глаза, подняться силясь.
— Я цел? — себя спросил он.— Цел! —
И, зубы стиснув, за борт вылез.

Никто из вражьего леска
В болото не посмел спуститься.
Зачем? Мертва наверняка
Подбитая снарядом птица!

И самолет среди болот
Темнел развалиною серой.
Но поздно вечером пилот
Приполз обратно с инженером.

Да, видно, что входили в раж
Расчеты вражеских зениток!
Был весь расстрелян фюзеляж
И плоскости почти отбиты.

Тут дело требовало рук,
Упорства, смелости без меры!..
И семь ночей пустой мундштук
Торчал в зубах у инженера.

То возле стога, то у пня
Мелькали тени в роще топкой.
Никто не зажигал огня,
Не стукнул ни одной заклепкой!

Ночей весенних белизна,
Свеченье мартовского снега...
Была такая тишина,
Что близ машины заяц бегал.

И вот настала полночь та,
Когда мотор сотрясся бурно
И летчик крикнул: — От винта! —
— Есть от винта! — ответил штурман.

Врагов прошиб холодный пот,
Когда нежданно средь болота
Поднялся русский самолет
Иль, может, призрак самолета?

Фашисты меньше бы тряслись,
Когда зимою грянул гром бы!
А самолет поднялся ввысь
И, развернувшись, бросил бомбы.
13 августа 1943

МЫ — РОДИНЫ СОЛДАТЫ

По смерти близких —
Учит нас война
Вести счет дням без отдыха и сна,
По шрамам —
Битв мы вспоминаем даты,
Мы — Родины бесстрашные солдаты.
У каждого из нас была семья,
Был дом,
Смеялось счастье в нем,
Сияло солнце в нем...
Домов лишились мы.
В ночи на карауле
Мы видим вместо звезд светящиеся пули,
Нам даже лунный свет претит в полночный час:
Он — лишний,
Он во мгле демаскирует нас.
В окопах мы живем
В ненастье,
В снег,
Во вьюгу.
Нам бороды побрить нет времени друг другу.
Забыли мы любовь...
Но что нам в нашей жизни,
Когда затмили день враги у нас в отчизне?
К чему нам солнца свет,
Который не для всех?
Что смех,
Когда звучит немногим этот смех?
Мы, мстя за всех, идем по вражескому следу,
Чтоб встретить на пути
Иль смерть,
Или победу.
Решимости полны, мы в смертный бой идем,
Чтоб от лихих врагов освободить наш дом.
Вот так-то мы живем,—
Далеко от родни,

По умершим друзьям считая наши дни,
По шрамам —
Битв припоминая даты,
Мы —
Родины бесстрашные солдаты.
23 августа 1943

ХАРЬКОВУ

В сраженье яростном и жарком,
Ценою доблестных трудов
Ты возвращен, родимый Харьков,
В семью советских городов!

Охвачен радостью единой,
Внимал освобожденный люд,
Когда гремел над Украиной
Московский пушечный салют!

Он весть донес в сердца людские,
Салют победоносный тот,
Что, как и Харьков, встанет Киев,
Вся Украина зацветет!

За то, что край, для сердца милый,
Враг цепью рабства не связал,
Шевченко из своей могилы
«Спасибо!» воинам сказал!
24 августа 1943

ВЫГОДНАЯ СДЕЛКА

Как-то Вилли встретил Фрица,
Сели немцы в уголку.
— Услужи, как говорится! —
Фриц взмолился к земляку.

— Сделай милость, друг мой Вилли!
Я готов не встать с колен:
Ты нашел, мне говорили,
Пропуска в советский плен.

Уступи мне два по дружбе:
Пригодятся на войне.
Быть у фюрера на службе
Не под силу больше мне!

Я второй из них в подарок
Про запас жене пошлю...
— Так и быть! За двести марок,—
Молвил Вилли,— уступлю!

Фриц сказал: — Дороговато!
Но как вспомню Сталинград,
То, клянусь душой солдата,
Я и триста дать бы рад.

Разгромят нас в схватке жаркой
Танки русских у леска!
Вот тебе, приятель, марки,
Отдавай мне пропуска!
24 августа 1943

ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ

Воин наш!
        На грозном поле боя
Кто с тобою
        станет наравне?
Трижды славно
        звание Героя
В нашей героической стране!
Слава тем,
        кто, в бой кидаясь первым,
Заслужил его
        ценой побед!
Ковзан,
        Мотуз,
                Кочетов
                        и Герман,
Вам, орлы,
        наш боевой привет!
Наш привет
        бесстрашным ветеранам,
Умножающим
        гвардейский счет,
Мастерам
        штурмовки и тарана —
Гордым нашим соколам — почет!

Золотом бессмертья
        в бранном дыме
Слава одевает имена
Тех, кого героями своими
Назвала
        Великая Страна!

26 августа 1943

РУССКИЙ ОФИЦЕР

Над опушкой, где вражий стан,
Небосвод от огня багров...
Ты летишь туда, капитан,
Большевик Николай Петров.
Ты носить над огнем привык
Два бестрепетные крыла!..
Но сегодня твой штурмовик
Вражья очередь подожгла.
И горючее, точно кровь,
Вытекает по каплям вниз...
— Ты горишь, Николай Петров! —
Окликают друзья.— Вернись! —
Но недаром ты — большевик
И отчизны верный слуга!..
Твой пылающий штурмовик
Беспощадно громит врага.
Наземь падая, на лугу
Он ударился о блиндаж...
Соколиную жизнь врагу
Ты задешево не отдашь!
Вот могучий родной мотор
Заработал — и круто взмыл
От земли в голубой простор
Серокрылый тяжелый «Ил»!..
Скрылся луг, где он падал. Там
Стынет черная вражья кровь...
Русской гвардии капитан,
Большевик Николай Петров,
Ты, храним боевой судьбой,
В лапах смерти остался цел...
Скоро снова пойдешь ты в бой,
Мы гордимся тобой, офицер!

27 августа 1943

УДАЧНАЯ ОХОТА

Из села везут два фрица
Скарб колхозный на коне...
Первый молвил: — Что за птица
Появилась в вышине?

Отвечал второй грабитель:
— Эта птица — русский ас.
Хорошо, что истребитель
Предназначен не для нас!..

В это время: — Ну-ка, Федя,—
Говорит себе пилот,
— Погляди-ка: кто там едет
И проверь-ка, что везет?

Точно куры на насесте,
«Вульфы» прячутся во мгле,
Но врага в порыве мести
Мы найдем и на земле!

Прямо с неба атакован,
Мертвый фриц лежит в пыли.
От коня ж — одну подкову
В поле только и нашли!..

А мотор советский ходок:
Дальше мчится «Як», и вот
Караван фашистских лодок
Вдоль по озеру плывет.

Летчик молвил: — Ишь, проспаться
Немцам некогда спьяна.
Им полезно искупаться:
Чай, вода-то холодна!

Что на озере творится?!
Тонут немцы! Посмотри,
Как на дно ныряют фрицы
И пускают пузыри!..

Самолет ведя на роздых,
Молвил ас: — Врагам — равно
Плавать, подниматься в воздух
И ходить — запрещено!

28 августа 1943

ВРАГ ЗАБЫЛ ОДНО УЧЕСТЬ

Вгрызаясь в землю, точно крот,
Враг возводил за дотом дот,
Он почву оковал в бетон,
Оплел ее железом он,
Зарыл в лесах и средь лощин
Широкий пояс мощных мин
И твердо верил, что за ним
Он выстоит — несокрушим!
Враг позабыл одно учесть,
Что над землею небо есть!..
Наш командир отдал приказ:
— Вперед! — И в этот грозный час
Спикировал из облаков
На немцев строй штурмовиков.
Они на бреющем прошли
У скованной врагом земли
И все, что год готовил он:
Железо, мины и бетон,
А вместе с ними немец сам —
Взлетело прахом к небесам!
Тогда огонь врага умолк
И на него советский полк,
Крича — «Ура, штурмовики!» —
Лавиной ринулся в штыки!

30 августа 1943

ДОНБАСС — НАШ!

Раскат московского салюта
И гордый Родины приказ
Гласят, что из неволи лютой
Советский вызволен Донбасс!

Мы бьем фашистов в битвах жарких
Во всех краях, на всех путях.
Над Всесоюзной Кочегаркой
Победно реет красный стяг!

Вновь из Донбасса в домны, в горны
Польются уголь и руда,
Чтоб нам с ордой фашистской черной
Покончить раз и навсегда!

9 сентября 1943

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ

На полу игрушки. В доме тишь.
Мама вяжет. Ты спокойно спишь.
В темно-голубой квадрат окна
Смотрит любопытная луна.
Где-то в небе возникает вдруг
Ровный-ровный, нежный-нежный звук,
Словно деловитая пчела
Песню над цветами завела.
В ясном небе близ луны плывет
Маленький отцовский самолет.
«Спи, сынок! — гудят его винты.—
Чтоб в саду играл спокойно ты,
Чтоб лежали в домике в тылу
Детские игрушки на полу,
Каждый вечер ввысь взлетаю я,
И со мной летят мои друзья!
Вражьи «юнкерсы» еще бомбят
Беззащитных маленьких ребят.
Их глаза незрячие пусты,
Их игрушки кровью залиты!
Чтоб добыть победу, чтоб принесть
Детям счастье, а фашистам месть,—
Чуть настанет вечер, над тобой
Мы летим на Запад, в жаркий бой!..»
В темно-голубой квадрат окна
Смотрит любопытная луна.
На полу игрушки, в доме тишь.
Мама вяжет. Ты спокойно спишь.
Над тобой отцовский самолет
Песню колыбельную поет.
1943

ГЕРОЙ ЖИВ

Он год назад ушел в полет
И винт его замолк.
Но однокашника все ждет
Его гвардейский полк.

Белеет, хоть прошла зима,
Ушанка на стене,
И командир в конце письма
«Ждем!» — написал жене.

Его в землянке книга ждет,
И правофланговой
На перекличке вот уж год
Твердит, что жив герой.

В родном полку ждет новый «Ил»
Пилота своего,
И в военторге друг купил
Погоны для него.

И если друг тот в смертный бой
С фашистами идет,
В бою он слышит над собой
Незримый самолет.

И «юнкерса» дырявя бронь,
Круша ему бока,
Он чует пушечный огонь
С того штурмовика.

Потом, когда начнут друзья
Считать врага урон,
Он скажет: «юнкерса» сбил я,
А «мессершмитта» — он!»

И весть летит во все концы:
Друг не погиб! Он тут!..
Товарищ! Павшие бойцы
В сердцах у нас живут!
8 октября 1943

ДНЕПР

Лишь зардело наше знамя
Над пучиною Днепра,
Ветер мести над полками
Зашумел: — Давно пора!

Серебро казачьей шашки
Вновь я вижу в добрый час.
У врага в неволе тяжкой
Я, старик, заждался вас!..

Было время,— полный блеска,
Синевы и звездной мглы,
Мимо древних стен Смоленска
Я катил свои валы.

Но явился злобный немец
И ступил ногой врага
Черный немец-иноземец
На крутые берега.

И у старого причала,
Где камыш встает со дна,
Трупы девичьи качала
Омраченная волна.

Но, дрожа стальною дрожью,
Помнил я: мой синий вал
Славный берег Запорожья
Встарь когда-то омывал!

Скошен пулей партизанской,
На моем песчаном дне
Враг лежит в тяжелой каске
С автоматом на ремне!..

А вчера — старуха Волга —
Русских рек седая мать —
Мне шепнула, что недолго
Вас, друзья, осталось ждать.

И пришли вы с прежней славой
На родные берега,
Чтобы Киев златоглавый
Взять обратно у врага.

Пусть мне лодки ваши вверят!
Я их бережно снесу
На далекий правый берег,
На песчаную косу.

И, струясь зеленым бором,
Передам сестре — Двине,
Чтоб была готова скоро
Встретить вас, подобно мне!

17 октября 1943

ДНЕПРОПЕТРОВСКУ

Здравствуй, город чугуна и стали,
Выдержавший бой с лихим врагом!
Варвары тебя не растоптали
Кованым немецким сапогом.

Молчаливый, опустевший, темный,
Ты, как воин, а не как слуга,
Погасив пылающие домны,
Встретил ненавистного врага!

Жаждавший днепропетровской стали,
Немец получил ее в ночи
Только пулями, что залетали
В дом, где пировали палачи!

Вдоль твоих проспектов и бульваров
Враг поставил виселицы в ряд.
Но сердца суровых сталеваров
Крепче стали, что они варят!

И в октябрьский день, уже нежаркий,
В своего освобожденья час,
Шумом лип Шевченковского парка
Воскрешенный город встретил нас!

Радость стариков и смех подростков,
Все, чем ты, победа, дорога,—
Нам залог, что сталь Днепропетровска
Скоро полетит в лицо врага!
1943

КОМСОМОЛЬСКИЙ БИЛЕТ

Майор недоволен: к майору нет-нет
И снова комсорг пристает,
Ворча, что ему комсомольский билет
Упрямый майор не сдает.
Взамен партбилет получил он давно,
К чему ему книжка? Балласт!..
Пускай нажимает комсорг! Все равно
Билета майор не отдаст!
Майор к этой книжке привык с давних пор!..

Готовясь подняться в полет,
Билет комсомольский суровый майор
В карман гимнастерки кладет!
Майора сквозь жизнь эта книжка вела,
Как путника — компас сквозь лес.
Он с ней вырастал из орленка в орла
И вырос до самых небес!
Он видеть привык в этой книжке — залог,
Поруку за юность свою!
Был кровью его обагрен уголок
Ее переплета в бою!
«Чудак наш комсорг,— говорит он с собой,—
Моложе меня — не найдешь!
Какой я, скажите, старик, если в бой
Летает за мной молодежь?!
Ведь возраст участника битв и побед
Считается не по годам!»
И, спрятав в карман комсомольский билет,
Решает майор:
— Не отдам!

29 октября 1943

РОЖДЕНИЕ ШТУРМОВИКА

Еще лежал Ильюшина чертеж,
Исполнен мелом на бумаге синей,
Сырым проектом, испещренным сплошь
Зигзагами молочно-белых линий.
Но, накликая близкую беду
На головы насильников Европы,
Уже высокосортную руду
Уральские давали рудокопы.
И в бессемерах броневую сталь
Свердловские варили сталевары,
И за деталью новую деталь
Штамповщики упорно штамповали.
Враги стояли у советских стен,
Охваченные замыслом недобрым,
А в это время где-то в пункте Эн
Был грозный штурмовик до гайки собран!
Страна в него вложила гнева пыл,
Что был, как сталь расплавленная, душен...
Да! Вовремя создал советский тыл
Тот самолет, что изобрел Ильюшин!

Был точно в срок на фронт доставлен он,
И в первом же сраженье беспримерном
Испепелил фашистский эшелон,
Летя на нем, бесстрашный летчик Герман!

1 ноября 1943

***

Все дальше на запад советский боец
Шагает в огне и в дыму.
Ни горы, ни реки, ни штык, ни свинец —
Ничто не преграда ему!

Он слышит, как стонет земля: — Помоги!
Я жду избавления дня!
Скорее на запад! Лихие враги
Еще оскверняют меня!

К нему долетает сквозь гром батарей
Идущий от самой души
Призыв полонянок: — На запад скорей!
Товарищ боец! Поспеши!

Покуда еще в нашей русской груди
Не стынет фашистский свинец,
Спаси нас от гибели! Освободи,
Бесстрашный советский боец!

Повешенных трупы мелькают в дыму,
Могилы встают на пути,
И шепчет трава на могилах ему:
— Товарищ боец! Отомсти!

Он все это слышит и, гневом объят,
Над пламенем битвы встает,
Берет на ремень боевой автомат
И снова шагает вперед!

6 ноября 1943

КИЕВ

Древний город, стольный Киев,
Сердце Украины!
Наступал сапог Батыя
На твои руины,

Жадный лях рукою дерзкой
Воровато щупал
Лавры Киево-Печерской
Золоченый купол.
Но была от их набегов
Русь твоей оградой.
Ты повесил щит Олегов
На вратах Царьграда,
Ты Москве назвался братом,
Стал с ней общим станом,
И грозила супостатам
Булава Богдана...
Ты дождался жизни новой
Радостного часа:
Сбылось пламенное слово
Вещего Тараса!
Но наставил палец Вия,
Взор навел змеиный
Лютый враг на вольный Киев —
Сердце Украины.
Ой, не думал ты, что станет,
Поганя Крещатик,
Среди золота каштанов
Эшафот дощатый!
Ой, не думал ты, что глянут
На пожар средь ночи
Полонянок-киевлянок
Плачущие очи!
Издевался ненавистный
Враг, тебя бичуя,
И шепнул ты, зубы стиснув:
«Ой, народ! Ты чуешь?»
И к тебе сквозь визг картечи,
Над Днепром кочуя,
Докатилось издалече
От народа: «Чую!
Потерпи, брат! Сгинет ворог!
Наши не ослабли!
Не просыпался их порох!
Не погнулись сабли!..»
Вот и встал, врага осилив,
Красный витязь зоркий
На Аскольдовой могиле,
Владимирской Горке!

И звучат слова живые
Песней соловьиной:
Стал свободным вольный Киев,
Сердце Украины!

7 ноября 1943. Действующая армия

"ЗА АНКУ!"

(Баллада)

Войдя в землянку, лейтенант взглянул на столик свой.
Глядит, письмо ему пришло по почте полевой.
Оно со штампом городка, где сгорбленная мать
И белокурая сестра его остались ждать.
«Сынок! — писала мать ему.— Враг побывал у нас,
И мне пришлось одной встречать освобожденья час:
Веселой Анки нет в живых! Вломившись к нам в жилье,
Солдат фашистский осквернил и заколол ее!..
Я одинока и больна, а ты — в боях, в пути.
Шлю карточку ее тебе: гляди, сынок, и мсти!»
Пилот над карточкой сестры склонялся до утра.
Смеясь, глядела на него кудрявая сестра.
Была невинна белизна девической руки
И в толстой золотой косе темнели васильки...
Про все на свете лейтенант забыл в своей тоске:
Мужская трудная слеза скатилась по щеке.
Воспоминанья детских лет! Виденья светлый мир!..
Он не заметил, как вошел в землянку командир.
А командир его письмо прочел из-за плеча,
Прочел и понял, как тоска пилота горяча,
Как жажда мести велика, как гнев священный прав!..
Он фото взял и вышел в дверь, ни слова не сказав.
В тот день у взлетной полосы был вывешен плакат,
И нежное лицо сестры на нем увидел брат.
«За Анку! — говорил плакат,— за смерть ее, за честь,
Месть кровожадному врагу! Безжалостная месть!»
Шум подготовки боевой опять шумел вокруг.
И штурман летчику сказал:
— За Анку, старый друг! —
— За Анку! — молвил моторист, готовя бомбовоз.
И маленький стрелок-радист
— За Анку! — произнес.
И лейтенант в машину сел, надвинув шлемофон,
Взял ручку и, давая газ,
— За Анку! — молвил он.
На старт рулили корабли и в бой за строем строй

Шли, в воздух подняты его замученной сестрой...
Досталось немцам в этот день! — узнали мы потом:
Их десять клали под одним березовым крестом.
И летчик матери писал: «Пусть Анка спит! Она
Подразделением моим сполна отомщена!»
11 ноября 1943

ПЫШКИ И ШИШКИ

Русский хлеб делить враги
Стали рано слишком:
Дескать, фрицам — пироги,
А румынам — пышки.
Занося арийский нос
Все наглей и выше,
Нам они сулили воз
Синяков да шишек.
Но к пшеничным пирогам
Мы охочи сами:
Мы оставили врагам
Шишки с синяками.
Недалек расплаты срок,
Скоро гадам крышка!
Что ни сводка — нам пирог,
А фашистам — шишка!
12 ноября 1943

НЕ ДО ЖИРУ, БЫТЬ БЫ ЖИВУ...

Наглый немец
шел по миру
И жирел,
гребя наживу.
Нынче немцу
не до жиру:
Самому хоть
быть бы живу!
18 ноября 1943

ГОМЕЛЬСКАЯ ИЛЛЮМИНАЦИЯ

Мы врага повсюду ломим,
Наша улица длинна:
От Воронежа на Гомель
Пролегла стрелой она!

У людей советских — праздник:
Нынче с улицы Побед,
Что ни ночь,— фашистов дразнит
Боевых салютов свет!

Враг, в тупик попавший узкий,
Чешет битые бока
И глядит на праздник русский
Из глухого тупика!
27 ноября 1943

СТРАНИЦА ИЗ ПРОШЛОГО

Деникинцев банды на Астрахань шли,
Был город блокадой зажат...
Врагов самолеты, как злые шмели,
Над красной твердыней кружат.

Несутся на бреющем! Жарят в упор!
На нас налетают чуть свет!..
Есть в Астрахани допотопный «Ньюпóр»,
Но капли горючего нет!

Враги над раздольем приволжских низин
Кружатся и бьют наповал...
— Найти заменитель, раз вышел бензин! —
И химиков Киров созвал:

— Друзья! Постоим в эти трудные дни
За славу Советской земли!
Подумав, из нефти и спирта они
Замену бензина нашли.

А враг собирается в новый налет.
Ну, что ж! Мы не будем в долгу!
На старом «Ньюпóре» безвестный пилот
Поднялся навстречу врагу.

«Ньюпор» задыхался. Казалось, мотор
Замолкнет, и вся недолга!
Но летчик, поднявшись в небесный простор,
Пошел на машину врага.

Противник, не думавший встретить отпор,
Струхнул, завилял и раскис...
Зашел ему в хвост допотопный «Ньюпор»
И пулями сбил его вниз!

Так, волею Кирова, той, что ведет
В бой всех, кто отважен и смел,
С победой безвестный советский пилот
В родимое небо взлетел!..

Товарищ! Где б ты в небеса ни взмывал,
Подумай, пускаясь в полет:
Не Киров ли рядом с тобой на штурвал
Спокойную руку кладет?

Не он ли ночами, над картой склонен,
Маршрут пролагает тебе?..
Бессмертный, к победам ведет тебя он,
И ты побеждаешь в борьбе!

1 декабря 1943

СУД ИДЕТ

В наш мирный край ворвался враг.
Он сеял смерть, он сеял страх,
Идя по грудам мертвых тел,
Он вытравить из нас хотел
К свободе гордую любовь
И превратить людей в рабов!
Он был жесток и злобен. Он
Не пощадил ни наших жен,
Ни сел, ни дедовских могил:
Разрушил, осквернил, убил
Все, что сумел, и все, что смог...
И вот настал расплаты срок!

Вперед на запад там и тут
Войска Возмездия идут,
И каждому бойцу в пути
Могилы шепчут: — Отомсти!
Развалин трубы, глядя ввысь,
Под ветром воют: — Расплатись!

И воин отвечает им:
— Я отомщу! Мы отомстим!
Где б он ни скрылся, подлый враг:
В глухих пещерах, на горах,

В лесах, от жертв своих вдали,
В болотах на краю земли,—
Повсюду будет найден он,
В край, что разрушил, приведен
И на колени брошен тут
На наш последний грозный суд!
3 декабря 1943

БЕЗНОГИЙ

Вот ведь грех, скажи на милость:
Чуть пустился фриц в бега,
У фашиста подломилась
Итальянская нога.

Костыли спасают вора:
Он бежит на них в пыли,
Но предчувствует, что скоро
Подведут и костыли!
3 декабря 1943

УКРАИНСКАЯ КУХНЯ

В «Фатерланде» не сиделось
Фрицам-генералам:
Поживиться захотелось
Украинским салом.

Тех, кто им пророчил беды,
Не желали слушать:
Им приспичило отведать
Полтавских галушек.

Покорить и Днепр, и Припять
Мнилось им — безделка!
Захотелось фрицам выпить
Киевской горелки.

Их друзья за стервецами
Стаей налетели:
Нежинскими огурцами
Закусить хотели...

Мы к гостям незваным пушек
Повернули дула.
От полтавских от галушек
Им бока раздуло.

Их горелка — ряд за рядом
На полях простерла.
Нежинский огурчик гадам
Встал поперек горла!

Побежали без оглядки
Фрицы-генералы,
И пришлось им мазать пятки
Украинским салом.

4 декабря 1943

МЫ ПОМНИМ, РОДИНА!

Всех прочих богаче и краше,
На целую землю одна
Стояла, как полная чаша,
Советская наша страна!

Впервые за долгие годы
Слились в нашем вольном краю
Забывшие распри народы
В одну трудовую семью.

Трудились и жили затем ли
Мы, дети Советской земли,
Чтоб эту свободную землю
На рабство враги обрекли?

Нет! В дыме сражений кровавых
Мы помним, о, Родина-мать,
Наш долг и высокое право —
Свободу твою защищать!

Во дни этой грозной годины
Мы все меж собою — друзья.
Как сталь, и крепка, и едина
Советских народов семья!

Врагам ничего не прощая,
Несем мы им кару и суд.
Мы братьям своим возвращаем
Их право на счастье и труд!
5 декабря 1943

ЕЩЕ ОДНА ОПЛЕУХА

Битый фриц охрип от брани:
Дружбы наций торжество,
Наша встреча в Тегеране —
Оплеуха для него!

Разузнав о встрече этой
И о чем велась там речь,
Гитлер жалобным фальцетом
Заскулил: «Не надо встреч!..»
7 декабря 1943

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ НОВИНКИ

Враги сошлись
Среди руин,
От страха
Оба полуживы.
— Что слышно, Фриц? —
Спросил один.
Другой ответил:
— Слышно взрывы!..

Им станции
Менять пришлось
По партизанскому
Почину:
Составы ходят
Под Откос
И отправляются —
На Мины.

Но в технике,
Придя сюда,
Враги кой-что
Приобретают:

Шли по земле
Их поезда,
А тут —
По воздуху летают!
11 декабря 1943

КОМСОМОЛЬСКАЯ КЛЯТВА

Мы недаром, товарищи, с вами клялись,
Что врагам отомстим за разбой:
Комсомолец-пилот поднимается ввысь
И бесстрашно кидается в бой!
Гарь лежит на сухой обожженной траве
И, под мин завыванье и свист,
На фашистские доты тяжелый «КВ»
В лоб ведет комсомолец-танкист!
И народным карающим мстителем став,
Оскорбленной отчизны слуга,
Партизан-комсомолец тяжелый состав
Подрывает в тылу у врага!
Чтобы штык пехотинца был в схватке остер,
Днем и ночью, готовый к труду,
Выдает на-гора́ комсомолец-шахтер
Сверх намеченных планов руду!
Чтобы после суровой страды боевой
Вновь свободно вздохнул наш народ,
Машинист-комсомолец к черте фронтовой
Эшелоны с горючим ведет.
Выбивая врага из разрушенных сел,
Вырывая друзей из тюрьмы,
Обещанье народу наш дал Комсомол,
Обещание выполним мы!
16 декабря 1943

КАРА

С лика земли Правосудьем стерты,
Казнью позорною казнены
Трое насильников и четвертый —
Подлый предатель своей страны!

Не обвинитель в судебном зале,
Вся наша Родина, вся земля,
Все, кто живет на земле, сказали:
— Извергам — смерть! Палачам — петля!

Слыша, как судят бандитов этих,
Мертвые, вставшие из земли,
Женщины наши и наши дети
Требовать кары для них пришли!..

Те, кого враг убивал, бесчестил,
Мучил без жалости и стыда,
Праведной, скорой, священной мести
Ждут для разбойников от суда!

Всем будет воздано по заслугам!
Армия мщенья идет вперед.
Нынче — оплачено вражьим слугам,
Завтра — придет господам черед!
21 декабря 1943

НАДЕЖНОЕ БОМБОУБЕЖИЩЕ

С грозного неба
                    В немецкий лоб
Сыплются бомбы
                    Со свистом режущим,
И убеждается фриц,
                    Что гроб —
Самое лучшее бомбоубежище!
22 декабря 1943

«КУКУШКА»

Стоял на полянке, заросшей травой,
Фашистский солдат у лесного завала.
И вдруг на сосне над его головой
Кукушка незримая закуковала.
— Ответь,— он спросил,— сколько жить мне
                                                    сулит
Твое кукованье, лесная болтушка? —
— Пока моя пуля к тебе долетит! —
Ответила с дерева басом «кукушка».
24 декабря 1943

В НОЧНОМ ПОЛЕТЕ

Замолк далекий отзвук грома,
Звезда вечерняя зажглась.
Со своего аэродрома
Ночь тихо в воздух поднялась.

Она летит — и вслед за нею
Ты старта попросил: пора!
Вот твой мотор чуть-чуть слышнее
Ночного пенья комара.

Поляны, что давно знакома,
Уже вдали не видишь ты...
Жена теперь, наверно, дома,
И на столе ее — цветы.

А сын сквозь длинные ресницы
Спросонок взглянет и вздохнет.
Ему сейчас, быть может, снится
Отца далекий самолет.

Как тихо над передним краем!
Нигде не разглядеть ни зги.
Но знаешь ты, что тьма сырая
Обманчива: внизу — враги!

Чтоб в День победы в доме старом
Обнять сынишку и жену,
Сейчас ты бомбовым ударом
Вспугнешь ночную тишину.

Вокруг запляшут в это время
Разрывов желтые мячи.
Начнут рубить глухую темень
Косых прожекторов мечи.

Но, отбомбившись, ты под тучи
Уйдешь — и канешь за рекой
Незримым мстителем летучим
За наш нарушенный покой!
<1943>

КОТ

На тюфячке, покрытом пылью,
Он припеваючи живет,
Любимец третьей эскадрильи —
Пушистый одноухий кот.

Землянка — тесное жилище,
Зато тепла землянка та...
Комэск в селе на пепелище
Нашел бездомного кота.

Бывает — полночь фронтовая,
Темно... По крыше дождь сечет...
И вдруг, тихонько напевая,
На стул комэска вспрыгнет кот.

Снаружи ветер глухо воет,
В окошке не видать ни зги...
А кот потрется головою
О фронтовые сапоги,

И просветлеет взгляд комэска,
Исчезнет складочка у рта.
Как полон золотого блеска
Давно забытый взгляд кота!

И кажется, не так уж сыро
И дождь в окно не так стучит.
Уютной песенкою мира
Кота мурлыканье звучит.

И словно не в консервной банке
Горит фитиль из волокна,
И мнится, что в пустой землянке
Вот-вот заговорит жена.

1943

БАЛЛАДА О РУССКОМ ПЛЕННОМ

Был в плен эсэсовцами взят
Советский раненый солдат.

Капрал солдата в плен забрал,
И порешил толстяк капрал:
На ферму, где отец и мать,
В подарок пленника послать.

Тогда был крепко связан он,
Посажен немцами в вагон
И силой, как домашний скот,
Доставлен в дом своих господ.
Его кормил кулак глухой
Картофельною шелухой,
Капрала лысая жена
Над ним глумилась дотемна,
Ему хозяйские друзья
Кричали: «Русская свинья!»
Но русский жить рабом не мог:
Он дом хозяина поджег,
Его гостей, что пили ром,
Убил тяжелым топором,
Забрал с собой в дремучий лес
Ковригу хлеба — и исчез.

Вдогонку послан был отряд
Шпиков, ищеек и солдат.
Они от города вдали
В болоте пленника нашли,
Где он, от голода без сил,
Упал — и сон его скосил!
И бюргеры в воскресный день
Вкруг бочки с пивом сели в тень
Деревьев, глядя на помост,
Где суд творился, скор и прост.

Беглец пощады не просил.
Жалел, что не хватило сил
Уйти. Сказал, что если б мог —
Не дом, а город бы поджег!..
Вот голову его, как мяч,
Подбросил в воздух герр палач,
И, шумно кружками стуча,
Все похвалили палача!

Но страшный слух прошел с тех пор —
Что не убил его топор:

Нет, голову под ним сложив,
Солдат — не умер, русский — жив!
Он хорошо вооружен,
Без промаха стреляет он.

Он на полях посевы жжет,
В закрытых стойлах режет скот,
Рукою мертвой по ночам
Стучится в окна к палачам
И глухо говорит, что есть
На свете суд, расплата, месть
И что от грозного суда
Врагам не скрыться никуда!
1943

ВАЛЕНКИ

Ношение русскими валяных сапог приравнивать к незаконному хранению огнестрельного оружия.

Из немецкого приказа

Край наш
Стужей знаменит:
Тут зима —
Не лето!..
По морозцу
Семенит
Немец
Без штиблетов.

Бьет метель!
Кругом — ни зги!
Только глядь,
У сосен
Валяные сапоги
Кто-то
Сдуру бросил.
«Штаб велел конфисковать
Обувь,
Как оружье!..»
Зябкий фриц
Сапожки хвать:
Спасся, мол, от стужи.

Рядом вспыхнул огонек,
Прокатился выстрел...
На полянке —
Ни сапог,
Ни костей фашиста.

Что ж!
Видать, не лгут враги,
Если заявляют,
Что у нас
И сапоги
Иногда стреляют.
1942



РАННИЕ СТИХИ



ЗАТИХШИЙ ГОРОД

Екатеринославу

Отгудели медью мятежи,
Отгремели переулки гулкие.
В голенища уползли ножи,
Тишина ползет по переулкам.

Отгудели медью мятежи,
Неурочные гудки устали.
Старый город тяжело лежит,
Крепко опоясанный мостами.

Вы, в упор расстрелянные дни,
Ропот тех, с кем подружился порох...
В облик прошлого мой взор проник
Сквозь сегодняшний спокойный город.

Не привык я в улицах встречать
Шорох толп, по-праздничному белых,
И глядеть, как раны кирпича
Обрастают известковым телом.

Странно мне, что свесилась к воде
Твердь от пуль излеченного дома.
Странно мне, что камни площадей
С пулеметным ливнем не знакомы.

Говорят: сегодня — не вчера.
Говорят: вчерашнее угрюмо.
Знаешь что: я буду до утра
О тебе сегодня ночью думать.

Отчего зажглися фонари
У дверей рабочего жилища?
И стоят у голубых витрин
Слишком много восьмилетних нищих?..

Город мой, затихший великан,
Ты расцвел мильонами загадок.
Мне сказали: «Чтоб сломать века,
Так, наверно, и сегодня надо».

Может быть, сегодня нужен фарс,
Чтобы завтра радость улыбалась?..
Знаешь что: седобородый Маркс
Мне поможет толстым «Капиталом».
<1924>

БУДУЩЕМУ

Юным ленинцам

Если солнце рассыпалось искрами,
Не должны ли мы нежность отдать
Мальчугану с глазами лучистыми,
Осветившему наши года?

Если небо сегодня не прежнее,
Мы поймем — это так оттого,
Что дорога, как небо, безбрежная,
К коммунизму его позовет.

Пусть мы знали и боль, и потери,
И душа наша гневом больна,—
Для него не широкие двери —
Мир громадный откроет весна.

Он не вспомнит и ужас подвалов,
Отравивших кошмарами нас,
Он узнает, что жизнь улыбалась,
Над его колыбелью склонясь.

Он пойдет не тропинками горными
Под осколками умерших лет,
И не будет знаменами черными
Ночь, над ним наклоняясь, шуметь.

Он придет, молодой и упорный,
Мир под новую форму гранить.
Перед ним свои стяги узорные
Солнце в золоте ласки склонит.

И теперь, если вспыхнуло искрами
Наше солнце,—
Должны мы отдать
Мальчугану с глазами лучистыми
Нашу нежность и наши года!..
<1924>



СТИХИ О ВЕСНЕ

Разве раньше бывала весна
Для меня вот, кошмаром давимого?..
Для других — может быть... Для меня
Были вечные серые зимы...
Разве вспомнишь, что солнечный лак
Золотит бугорки и опушки,
Если голод, унылый чудак,
В животе распевает частушки?
Разве знаешь, что, радостью пьян,
Лес зареял вершинами гордыми,
Если вечно бастует карман
И на каждом углу держиморда?
Пусть в полях распустились цветы
Над шатрами бездонно-лазурными,
Что тебе, раз такими ж, как ты,
Полны темные, душные тюрьмы?
А сегодня мне всё нипочем,
Сердцу вешняя радость знакома,
Оттого что горит кумачом
Красный флаг в синеве над райкомом.
Тянет солнце горячим багром
Стаю дней вереницею длинной,

Потому что весна с Октябрем
Разогнули согбенные спины.
Плещет в душу весна, говоря,
Что назавтра набат заклокочет
И стальная нога Октября
По ступеням миров прогрохочет.
И, я знаю, в приливе волны
Послом эсэсэровских хижин,
Пионером всемирной весны
Буду завтра в Париже.
<1924>

ОСЕНЬ

Эх ты осень, рожью золотая,
Ржавь травы у синих глаз озер.
Скоро, скоро листьями оттает
Мой зеленый, мой дремучий бор.

Заклубит на езженых дорогах
Стон возов серебряную пыль.
Ты придешь и ляжешь у порога
И тоской позолотишь ковыль.

Встанут вновь седых твоих туманов
Над рекою серые гряды,
Будто дым над чьим-то дальним станом,
Над кочевьем Золотой Орды.

Будешь ты шуметь у мутных окон,
У озер, где грусть плакучих ив.
Твой последний золотистый локон
Расцветет над ширью тихих нив.

Эх ты осень, рожью золотая,
Ржавь травы у синих глаз озер.
Скоро, скоро листьями оттает
Мой дремучий, мой угрюмый бор.
<1924>

ПОГОНЯ

Полон кровью рот мой черный,
Давит глотку потный страх,
Режет грудь мой конь упорный
О колючки на буграх.

А тропа — то ров, то кочка,
То долина, то овраг...
Ну и гонка, ну и ночка...
Грянет выстрел — будет точка,
Дремлет мир — не дремлет враг.

На деревне у молодки
Лебедь — белая кровать.
Не любить, не пить мне водки
На деревне у молодки,
О плетень сапог не рвать
И коней не воровать.

Старый конь мой, конь мой верный,
Ой, как громок топот мерный:
В буераках гнут вдали
Вражьи кони — ковыли.

Как орел, летит братишка,
Не гляди в глаза, луна.
Грянет выстрел — будет крышка,
Грянет выстрел — кончен Тришка.
Ветер глух. Бледна луна.
Кровь журчит о стремена.

Дрогнул конь, и ветра рокот
Тонет в травах на буграх.
Конь упал, и громче топот,
Мгла черней, и крепче страх.

Ветер крутит елей кроны,
Треплет черные стога,
Эй, наган, верти патроны,
Прямо в грудь гляди, наган.

И летят на труп вороны,
Как гуляки в балаган.

<1925>
Екатеринослав

МОСТ ЕКАТЕРИНОСЛАВА

Мой хмурый мост угрюмого Днепровья,
Тебя я долго-долго не встречал.
У города, опоенного кровью,
Легла твоя гранитная печаль.

Я не вернусь... А ты не передвинешь
На этот север хмурые быки.
Ты сторожишь в моей родной долине
Глухую гладь моей большой реки.
Я многое забыл. Но все же память,
Которая дрожит, как утренний туман,
Навеки уплыла над хмурыми домами
На дальний юг, на голубой лиман.
Я помню дни. Они легли, как глыбы,
Глухие дни у баррикад врага.
И ты вздохнул. И этот вздох могли бы ль
Не повторить родные берега?
Звезда взошла и уплыла над далью,
Волна журчит и плещет у борта.
Но этот вздох, перезвучавший сталью,
Еще дрожит у колоннад моста.
Она легла, земная грусть гранита,
Она легла и не могла не лечь
На твой бетон, на каменные плиты,
На сталь и ржавь твоих гранитных плеч.
А глубь всплыла и прилегла сердито,
К твоим быкам прильнула, как сестра.
Прилег и ты, и ты умолк забытый,
Старел и стыл на черном дне Днепра.
Прошли года, и города замолкли,
Гремя и строясь в новые полки.
А ты мечтал на грязном дне реки,
Как ветеран,— тебе не в этот полк ли?
И шаг времен тебя швырнул на знамя:
«Тебя, мол, брат, недостает в борьбе!» —
И как во мне, в других воскресла память
О дорогом, о каменном тебе.
И вот пришли, перевернули трапы,
Дымки горнов струили серебро,
А ты напряг свои стальные лапы
И вновь проплыл над голубым Днепром.
Здорово, мост, калека Заднепровья!
Тебе привет от заводских ребят...

Прошли года. Но ты расцвел здоровьем,
И живы те, кто выручил тебя.
1926

ПОСТРОЙКА

Разрушенный дом привлекает меня:
Он так интересен,
Но чуточку страшен:
Мерцают, холодную важность храня,
Пустые глаза недостроенных башен.
Под старой подошвой —
Рыдающий шлак,
И эхо шагов приближается к стону.

Покойной разрухи веселый кулак —
Как в бубен —
Стучал по глухому бетону.
При ласковом ветре обои шуршат
Губами старухи у мужьего гроба.
Седых пауков и голодных мышат
Пустых погребов приютила утроба.
Недавно
С похмелья идущая в суд
Ночная шпана на углах продавала
По тыще рублей за ржавеющий пуд —
Железный костяк недобитого зала.

Тут голод плясал карманьолу свою,
А мы подпевали и плакали сами...
Бревно за бревном — в деревянном строю
У каменных изб обернулись лесами.
И нынче,
Я слышу,
Стучат молотки
В подвалах —
В столице мышиного царства:
Гранитный больной принимает глотки
Открытого доктором нэпом лекарства.
И если из каждой знакомой дыры
Глядела печаль,
Обагренная кровью,
То в ведрах своих принесли маляры
Румянец покраски в подарок здоровью.
Пусть мертвые — нет,
Но больные встают.
Недаром сверкает пила,
И теплее
Работают руки, а губы поют
О сделанном день изо дня веселее.

Испачканный каменщик,
Пой и стучи!
Под песню работать — куда интересней,
Давай-ка, пока подвезут кирпичи,
Товарищей вместе побалуем песней.
А завтра, быть может, и нас, пареньков,
Припомнят в одном многотысячном счете:
Тебя — за известку, что тверже веков,
Меня — за стихи
О хорошей работе.
<1926>

РАЗГОВОР

«В туманном поле долог путь
И ноша не легка.
Пора, приятель, отдохнуть
В тепле, у камелька.
Ваш благородный конь храпит,
Едва жует зерно,
В моих подвалах мирно спит
Трехпробное вино».

«Благодарю. Тепла земля,
Прохладен мрак равнин,
Дорога в город короля
Свободна, гражданин?»

«Мой молодой горячий друг,
Река размыла грунт,
В стране, на восемь миль вокруг,
Идет голодный бунт.
Но нам, приятель, всё равно:
Народ бурлит — и пусть.
Игра монахов в домино
Рассеет нашу грусть».

«Вы говорите, что народ
Идет войной на трон?
Пешком, на лодке или вброд
Я буду там, где он.
Прохладны мирные поля,
В равнинах мгла и лень!
Но этот день для короля,
Пожалуй, судный день».

«Но лодки, друг мой, у реки
Лежат без якорей,
И королевские стрелки
Разбили бунтарей.
Вы — храбрецы, но крепок трон,
Бурливые умы.
И так же громок крик ворон
Над кровлями тюрьмы.
Бродя во мгле, среди долин,
На вас луна глядит,
Войдите, и угрюмый сплин
Малага победит».

«Благодарю, но, право, мы —
Питомцы двух дорог.
Я выбираю дверь тюрьмы,
Вам ближе — ваш порог.
Судьбу мятежников деля,
Я погоню коня...
Надеюсь — плаха короля
Готова для меня».

<1926>
Екатеринослав

ТЕНИ

По рельсам бежала людская тень,
Ее перерезала тень трамвая.
Одна прокатилась в гремящий день,
Другая опять побежала — живая.
Ах, как хорошо в мире у теней.
В мире у людей умирают больней.

1926

КРЫЛЕЧКО

Крылечко, клумбы, хмель густой
И локоть в складках покрывала.
— Постой, красавица, постой!
Ведь ты меня поцеловала? —
Крылечко спряталось в хмелю;
Конек, узорные перила.
— Поцеловала. Но «люблю»
Я никому не говорила.

1926

СМЕРТНИК

Песок да вода, да туман серебристый,
Да ветер, как крылья невидимых птиц...
Его отведут на угрюмую пристань,
Сломают бока, но заставят идти.
Он будет кричать...
Тяжело и устало
Посмотрит капрал и ударит в висок.
Он молча обнимет колени капрала,
Он будет кричать и царапать песок.
А люди прикладами сломят колени
И как ни кричи, не отпустят назад...
А вечер уронит мело́вые тени
На медные лица солдат.
У берега будут привязаны челны,
А море начнет рокотать и сереть.
И старого смертника выведут к волнам,
Привяжут к столбу и заставят смотреть.
И мертвым безумьем охвачен за ворот,
Он радостно крикнет, сходящий с ума...
А там, вдалеке, где за тучами город,
Вечерним окном промаячит тюрьма...
Вода и песок. А на нем — полурота,
Вода и песок. А на нем — якоря.
Покончат. Немного дрожащие руки
Сожмет офицер. Будет рокот и звон...
Он вынет платок. Он закурит от скуки
И вытрет испачканный кровью погон.
Уйдут... Отзвучав о туман серебристый,
Их мерная поступь умрет вдалеке.
На взморье ударятся волны о пристань,
Стирая песок и следы
На песке.

1926

ПЕСНЯ О ЖИВЫХ И МЕРТВЫХ

Серы, прохладны и немы
Воды глубокой реки.
Тихо колышутся шлемы,
Смутно мерцают штыки.

Гнутся высокие травы,
Пройденной былью шурша.
Грезятся стены Варшавы
И камыши Сиваша.

Ваши седые курганы
Спят над широкой рекой.
Вы разрядили наганы
И улеглись на покой.

Тучи слегка серебристы
В этот предутренний час,
Тихо поют бандуристы
Славные песни о вас.

Слушают грохот крушенья
Своды великой тюрьмы.
Дело ее разрушенья
Кончим, товарищи, мы.

Наша священная ярость
Миру порукой дана:
Будет безоблачна старость,
Молодость будет ясна.

Гневно сквозь сжатые зубы
Плюнь на дешевый уют.
Наши походные трубы
Скоро опять запоют.

Музыкой ясной и строгой
Нас повстречает война.
Выйдем — и будут дорогой
Ваши звучать имена.

Твердо пойдем, побеждая,
Крепко сумеем стоять.
Память о вас молодая
Будет над нами сиять.

Жесткую выдержку вашу
Гордо неся над собой,
Выпьем тяжелую чашу,
Выдержим холод и бой.

Все для того, чтобы каждый,
Смертью дышавший в борьбе,
Мог бы тихонько однажды
В сердце сказать о себе:

«Я создавал это племя,
Миру несущее новь,
Я подарил тебе, время,
Молодость, слово и кровь».

1927



ИСПОВЕДЬ

«Смотри, дитя, в мои глаза,
Не прячь в руках лица.
Поверь, дитя: глазам ксендза
Открыты все сердца.

Твоя душа грехом полна,
Сама в огонь летит.
Пожертвуй церкви литр вина —
И бог тебя простит».

«Но я, греховный сок любя,
Когда пришла зима —
Грехи хранила для тебя,
А ром пила сама.

С любимым лежа на боку,
Мы полоскали рты...»
«Так расскажи духовнику,
В чем согрешила ты?»

«Дебат у моего стола
Религию шатал.
Мои греховные дела
Гремят на весь квартал».

«Проступок первый не таков,
Чтоб драть по десять шкур:
У папы много дураков
И слишком много дур.

Но сколько было и когда
Любовников твоих?
Как целовала и куда
Ты целовала их?»

«С тех пор, как ты лишен стыда,
Их было ровно сто.
Я целовала их туда,
Куда тебя — никто».

«От поцелуев и вина
До ада путь прямой.
Послушай, панна, ты должна
Прийти ко мне домой!

Мы дома так поговорим,
Что будет стул трещать,
И помни, что Высокий Рим
Мне дал права прощать».

«Я помолюсь моим святым
И мессу закажу,
Назначу пост, но к холостым
Мужчинам не хожу».

«Тогда прощай. Я очень рад
Молитвам и постам,
Ведь ты стремишься прямо в ад
И, верно, будешь там».

«Но я божницу уберу,
Молясь, зажгу свечу...
Пусти, старик, мою икру,
Я, право, закричу!..»

«Молчи, господь тебя прости
Своим святым крестом!..»
«Ты... прежде... губы отпусти,
А уж грехи — потом!»

1926
Екатеринослав

* * *

По шведской моде капитан подстриг
Свою бородку. Шерстка золотая
Едва темнеет. К берегам Китая
В июньский штиль идет английский бриг.
В открытом море шорох волн умолк,
Седая пена шелестеть устала.
Хранить покой посольского квартала
Плывет в Шанхай колониальный полк.
Солдаты в трюме. А жена посла
В плетеном кресле целый день на юте.
Она бледна. Она в своей каюте
Вчера эфир случайно пролила.
Она грызет поджаренный каштан,
Потом зевает, не скрывая скуки,
Но для нее прокуренные руки
В перчатки спрятал рыжий капитан.
Слегка припудрив выбритые скулы,
Стареющий, но бодрый и прямой,
Он принимает рапорт: за кормой
Плывут дельфины и плывут акулы.
Ну пусть плывут. Ему важнее — ручка
Жены посла, ее ажурный зонт.
И медленно ползет за горизонт
Коварная серебряная тучка.
Пробили склянки. Массой неживою
Легла вода. Английский бриг прирос
К зеленой массе. Пожилой матрос
Глядит на юг, качая головою.
А капитан мечтает: у стола
Он так блеснет своею речью гибкой,
Что подарит признательной улыбкой
Его старания жена посла.
Он так расскажет о сухом вине,
Какое пил, когда приплыл в Афины,
Он ей споет... Но чувствуют дельфины,
Что кораблю сегодня быть на дне.
1927

МАСТЕР

Склонясь над червонной солонкой,
Узорную травишь резьбу,
Запрятав седины под тонкий
Серебряный венчик на лбу.

На медный чеканенный кубок
Античные врежешь слова,
Чету полногрудых голубок
И пасть разъяренного льва.
Пускай голубой кислотою
Изъедены пальцы твои,
Зато чешуей золотою
Блистает головка змеи.
И разве не щедрая плата —
Вливать, осторожно дыша,
Густое тягучее злато
В граненую форму ковша?
Чтоб славили гости Калифа
Священное имя твое,
По крыльям свирепого грифа
Узнав золотое литье.
1927

КУВШИН

«Приди, благодари и пей» —
Так говорил кувшин безмолвный,
Гостеприимный сын степей
Принес его, водою полный,
На перепутье двух дорог,
Ползущих мертвенной пустыней,
Где сох ковыль и травы жег
Небесный свод пустой и синий.
А мимо в дальние места
Верблюды шли. И не однажды
Тянули жадные уста
Кочевники в порыве жажды
К его изогнутым краям,
Едва желанье утоляя.
И дальше шли, глоток друзьям
Или верблюдам оставляя.
Глоток не охлаждает уст,
Но влага изошла. И ныне
Нежданно оказался пуст
Кувшин, оставленный в пустыне.
1927

ГРАВЮРА

Червонцев блеск на дне мешка,
Тюки, готовые к торговле,
И хвост резного петушка
Краснеет на узорной кровле.

Цыган разводит под горнóм
Огонь, а в тереме над Камой —
Она в окошке слюдяном
У пяльцев за свинцовой рамой.
1927

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

В зимний вечер девки драли перья
В темной хате. Долго говорили
Старые полтавские поверья,
Темные черниговские были:

«А под утро море стало тише.
Хан велит орду готовить к бою...»
Было слышно, как, топчась по крыше,
Ветер разговаривал с трубою.

Стали девки стлаться, напевая,
Съели на ночь по кусочку сала.
Только бабка дряхлая, зевая,
Долго шпилькой голову чесала.

Да и та утихла. Повязалась,
В ухо на ночь положила вату,
Покрестила окна: все казалось,
Что глядит недобрый кто-то в хату.

А уже под утро на деревне
Петухи распелись. Прояснилось.
Молодым — любовь, а этой древней —
Светопреставление приснилось.
1927

ГРЕШНИК

Судьбой зачарован цыганской,
Обнѐсенный чарой мирской,
Иду я Смоленской и Брянской,
Рязанской иду и Тверской.

Повешу котомку на посох,
Лаптями дорогу мету,
А травы в серебряных росах
И яблони, знаешь, в цвету.

Российский шагающий житель
На холмике, мой дорогой,
Обитель увижу — в обитель
Зайду на денек, на другой.

Хожу помаленьку за рожью,
Чиню старикам жернова,
Живу и во славушку божью
Рублю, понимаешь, дрова.

То дверь починю, то бочонок,
То хлевик срублю для овцы.
Сухариков, яблок моченых
Дадут на дорогу отцы.

Зовут: «Оставался бы, дедка!»
Да где уж. Не выдержу я.
Зима? Прижимает, да редко:
Ведь мы и с зимою друзья.

И снова дубняк, да орешник,
Да пчелы в янтарном меду...
Эх, батюшка, грешник я, грешник.
Как думаешь: буду в аду?
1927

* * *

Взлохмаченный, немытый и седой
Прошел от Борисфена до Урала —
И Русь легла громадной бороздой,
Как тяжкий след его орала.

А он присел на пашню у сохи,
Десницей отирая капли пота,
И поглядел: кругом серели мхи,
Тянулись финские болота.

Он повалил намокший темный стог
Под голову, свернув его охапкой,
И потянулся, и зевнул, и лег
От моря к морю, и прикрылся шапкой.

Он повод взял меж двух корявых лап,
Решив соснуть не много и не мало.
И захрапел. Под исполинский храп
Его кобыла мирно задремала.

Степным бурьяном, сорною травой
От солнца скрыт, он дремлет век и боле.
И не с его ли страшной головой
Руслан сошелся в бранном поле?

Ни дальний гром не нарушает сна,
Ни птичий грай перед бедою,
И трижды Русь легко оплетена
Его зеленой бородою.
1927

СУМЕРКИ

Стонут мухи, и заперты ставни.
Песни дальние спать не дают.
То ребята в днепровские плавни
Вышли рыбу удить — и поют.

Серебристые листья маслины
В белом пухе — на ощупь нежны.
Над плетнем с кувшинами из глины —
Золотые цветы бузины.

Солнце падает. Щедро раскрашен
Красным отблеском угол двора.
Над янтарными гребнями пашен
На межах умирает жара.

Вечер близится медленным шагом,
Тень влача от гумна до гумна,
Не спеша над глубоким оврагом
Выползает седая луна.
1927

КРЕМЛЬ

В тот грозный день, который я люблю,
Меня почтив случайным посещеньем,
Ты говорил, я помню, с возмущеньем:
«Большевики стреляют по Кремлю».

Гора до пят взволнованного сала —
Ты ужасался... Разве знает тля,
Что ведь не кистью на стене Кремля
Свои дела история писала.
В тот год на землю опустилась тьма
И пел свинец, кирпичный прах вздымая.
Ты подметал его, не понимая,
Что этот прах — история сама...
Мы отдаем покойных власти тленья
И лишний сор — течению воды,
Но ценим вещь, раз есть на ней следы
Ушедшего из мира поколенья,
Раз вещь являет след людских страстей —
Мы чтим ее и, с книгою равняя,
От времени ревниво охраняя,
По вещи учим опыту детей.
А гибнет вещь — нам в ней горька утрата
Ума врагов и смелости друзей.
Так есть доска, попавшая в музей
Лишь потому, что помнит кровь Марата.
И часто капли трудового пота
Стирает мать. Приводит в Тюильри
Свое дитя и говорит: «Смотри —
Сюда попала пуля санкюлота...»
Пустой чудак, умерь свою спесивость,
Мы лучше знаем цену красоты.
Мы сводим в жизнь прекрасное, а ты?
Привык любить сусальную красивость...
Но ты решил, что дрогнула земля
У грузных ног обстрелянного зданья.
Так вслушайся: уже идут преданья
О грозных башнях Красного Кремля.
<1928>

ПОЙ И ВЕРУЙ!

Да, верить в славу — труд напрасный,
Ее на свете нет, а есть
Вражды ревнивой суд пристрастный,
Друзей расчетливая лесть.

Хвале не радуйся наружно.
Пусть позаботится о ней
Потомок, если это нужно:
Он беспристрастней и честней.

А ты работай, и да будет
Живое сердце — твой улов.
Завистливо и лживо судит
Толкучий рынок. Пошлых слов —

Даров его хвалы умильной —
Не жди, поэт. Тебе дано
От шелухи пустой и пыльной
Отсеять чистое зерно.

Отмерь искусству полной мерой
Живую кровь и трудный пот,
Живи, надейся, пой и веруй:
Твое прекрасное взойдет!
1928

ДЕТСТВО

Верно, леший ночью лазил в ригу,
Перепутал вожжи, спрятал грабли.
Тихий летний дождик. И на книгу
Падают большие капли.

Няня знает: не покрестишь двери,
Он и приползет, как вакса, черен.
Пахнет сеном. В книге любит Мери
Странный офицер Печорин.

В поле ветер трогает пшеницу,
Где-то свищет суслик тонко-тонко.
Нежно гладят белую страницу
Пальцы сероглазого ребенка.
Дождь прошел. Ушла жара дневная.
Сладко пахнет табаком из сада...
«Это сказки, милый?» «Да, родная,
Но теперь душа и сказкам рада».
1928

ПОРТРЕТ

Ф. Сорокину

Твои глаза — две злые птицы,
Два ястреба или орла.
Близ них, как хищные крыла,
Раскинуты твои ресницы.

Сползает к мощному надбровью
Упрямый лоб. На нем война
Огнем чертила письмена
И знаки закрепляла кровью.

Твой лик отточен, тверд и тонок,
Недвижен, ясен... Лишь порой
Сквозь этот лик глядит второй:
Поэт, проказник и ребенок.

А первый, мужественно-грубый,
В следах тревоги и войны
Скрывается. И вот нежны
Лукавые сухие губы.

Так ты, единый, весь раздвоен,
И, чередуясь, тьма и свет
Живут в тебе, дитя, поэт,
Ленивый бражник, хмурый воин.
2 января 1928

***

Прекрасна полнокровных дев
Старательная добродетель,
Но лучше, в том господь свидетель,
Блудниц вакхический напев.

Когда, шатаясь во хмелю,
Вино на скатерть лья рекою,
Нетвердой трепетной рукою
Я ножку легкую ловлю,

Когда горячий влажный рот
И взор, блеснувший томной мглою,
Влекут меня и над стрелою
Хлопочет маленький эрот,

Тогда в крови тяжелый жар
Пылает, сдерживаем еле,
И, пленная, в славянском теле
Бьет золотая кровь татар.
1928

* * *

Звезда взошла, как кровь. Не в пору лаял пес.
На гóре рос ковыль, и, верно, не к добру
Несытый сивый волк трубил в своем бору.
Звезда взошла, как кровь. Ковыль на гóре рос.
Горячий вихрь кружит на Ярославне шаль.
Сталь звякает о сталь. На городской стене
Протяжен женский вопль. Седая степь в огне.
Над степью бродит звон. Над степью плачет сталь,
Шесть лет стоит зима. Косматый печенег
Льет кровь на рыхлый снег и требует ключей.
Слеза, моча и кровь слились в один ручей,
Хмельная княжья рать легла на рыжий снег.
На драку черных птиц над черепом коня
Глядит седой вещун от голода раздут:
«Простонут девять зим и звери не найдут
Здесь черепа коня и пепла от огня.
Не вымоюсь водой и тканью не утрусь,
А вымрет племя Русь, и изойдет на нет.
Лишь книжная молва научит темный свет,
Что на земле Днепра стояло племя «Русь».
1928

БРАТСТВО

Повелевай иль нищенствуй, доколь
Печальная не совершилась треба.
На смертном ложе ты отвергнешь соль
И сладкого не примешь хлеба.
Равно костыль бездомный нищеты
И золоченый жезл богатства
Ты выронишь, и схиму примешь ты
Единого для смертных братства.
1928

* * *

Пускай беды зловещие зарницы
Огнем и мраком опалили нас,
Коль мы вдвоем — темница не темница,
И дружество соединяет нас.
Наш тяжкий год прошел под общим кровом,
Свободы голос громче наконец.
Венец терновый перевит с лавровым —
Вдвойне прекрасен и вдвойне венец!
1929



СТРОИТЕЛЬ

Мы разбили под звездами табор
И гвоздями прибили к шесту
Наш фонарик, раздвинувший слабо
Гуталиновую черноту.
На гранита шершавые плиты
Аккуратно поставили мы
Ватерпасы и теодолиты,
Положили кирки и ломы.
И покуда товарищи спорят,
Я задумался с трубкой у рта:
Завтра утром мы выстроим город,
Назовем этот город — Мечта.
В этом улье хрустальном не будет
Комнатушек, похожих на клеть.
В гулких залах веселые люди
Будут редко грустить и болеть.
Мы сады разобьем, и над ними
Станет, словно комета хвостат,
Неземными ветрами гонимый,
Пролетать голубой стратостат.
Благодарная память потомка!
Ты поклонишься нам до земли.
Мы в тяжелых походных котомках
Для тебя это счастье несли!
Не колеблясь ни влево, ни вправо,
Мы работе смотрели в лицо,
И вздымаются тучные травы
Из сердец наших мертвых отцов...
Тут, одетый в брезентовый китель,
По рештовкам у каждой стены,
Шел и я, безыменный строитель
Удивительной этой страны.

1930



ПОЭМЫ, ДРАМА



ЗОДЧИЕ

Как побил государь
Золотую Орду под Казанью,
Указал на подворье свое
Приходить мастерам.
И велел благодетель,—
Гласит летописца сказанье,—
В память оной победы
Да выстроят каменный храм.
И к нему привели
Флорентийцев,
И немцев,
И прочих
Иноземных мужей,
Пивших чару вина в один дых.
И пришли к нему двое
Безвестных владимирских зодчих,
Двое русских строителей,
Статных,
Босых,
Молодых.
Лился свет в слюдяное оконце,
Был дух вельми спертый.
Изразцовая печка.
Божница.
Угар и жара.
И в посконных рубахах
Пред Иоанном Четвертым,
Крепко за руки взявшись,
Стояли сии мастера.

«Смерды!
Можете ль церкву сложить
Иноземных пригожей?
Чтоб была благолепней
Заморских церквей, говорю?»
И, тряхнув волосами,
Ответили зодчие:
«Можем!
Прикажи, государь!»
И ударились в ноги царю.

Государь приказал.
И в субботу на вербной неделе,
Покрестясь на восход,
Ремешками схватив волоса,
Государевы зодчие
Фартуки наспех надели,
На широких плечах
Кирпичи понесли на леса.

Мастера выплетали
Узоры из каменных кружев,
Выводили столбы
И, работой своею горды,
Купол золотом жгли,
Кровли крыли лазурью снаружи
И в свинцовые рамы
Вставляли чешуйки слюды.

И уже потянулись
Стрельчатые башенки кверху.
Переходы,
Балкончики,
Луковки да купола.
И дивились ученые люди,
Зане́ эта церковь
Краше вилл италийских
И пагод индийских была!

Был диковинный храм
Богомазами весь размалеван,
В алтаре,
И при входах,
И в царском притворе самом.

Живописной артелью
Монаха Андрея Рублева
Изукрашен зело
Византийским суровым письмом...

А в ногах у постройки
Торговая площадь жужжала,
Торовато кричала купцам:
«Покажи, чем живешь!»
Ночью подлый народ
До креста пропивался в кружалах,
А утрами истошно вопил,
Становясь на правеж.

Тать, засеченный плетью,
У плахи лежал бездыханно,
Прямо в небо уставя
Очесок седой бороды,
И в московской неволе
Томились татарские ханы,
Посланцы Золотой,
Переметчики Черной Орды.

А над всем этим срамом
Та церковь была —
Как невеста!
И с рогожкой своей,
С бирюзовым колечком во рту,—
Непотребная девка
Стояла у Лобного места
И, дивясь,
Как на сказку,
Глядела на ту красоту...

А как храм освятили,
То с посохом,
В шапке монашьей,
Обошел его царь —
От подвалов и служб
До креста.
И, окинувши взором
Его узорчатые башни,
«Лепота!» — молвил царь.
И ответили все: «Лепота!»
И спросил благодетель:
«А можете ль сделать пригожей,
Благолепнее этого храма
Другой, говорю?»

И, тряхнув волосами,
Ответили зодчие:
«Можем!
Прикажи, государь!»
И ударились в ноги царю.

И тогда государь
Повелел ослепить этих зодчих,
Чтоб в земле его
Церковь
Стояла одна такова,
Чтобы в Суздальских землях
И в землях Рязанских
И прочих
Не поставили лучшего храма,
Чем храм Покрова!

Соколиные очи
Кололи им шилом железным,
Дабы белого света
Увидеть они не могли.
Их клеймили клеймом,
Их секли батогами, болезных,
И кидали их,
Темных,
На стылое лоно земли.

И в Обжорном ряду,
Там, где заваль кабацкая пела,
Где сивухой разило,
Где было от пару темно,
Где кричали дьяки:
«Государево слово и дело!» —
Мастера Христа ради
Просили на хлеб и вино.

И стояла их церковь
Такая,
Что словно приснилась.
И звонила она,
Будто их отпевала навзрыд,

И запретную песню
Про страшную царскую милость
Пели в тайных местах
По широкой Руси
Гусляры.

1938



КОНЬ

(Повесть в стихах)

1

Уже снежок февральский плакал,
Трава пробилась кое-где,
И был посол московский на кол
Посажен крымцами в Орде.
Орел-могильник, в небе рея,
Видал сквозь тучек синеву —
Внизу мурзы Давлет-Гирея
Вели ордынцев на Москву.
И вышел царь, чтоб встретить с лаской
Гостей от града вдалеке,
Но воевода князь Мстиславский
Им выдал броды на Оке.
И били в било на Пожаре,
Собраться ратникам веля,
И старцы с женами бежали
Сидеть за стенами Кремля.
А Кремль стоял, одетый в камень,
На невысоком берегу
И золотыми кулаками
Грозил старинному врагу.
«И бысть валы его толстенны,
Со стрельнями в любом зубце.
Поставил зодчий эти стены
На твороге и на яйце!»[1]

---

[1] По свидетельству современников, стены Кремля строились на известке, в состав которой входили яйца и творог, что придавало ей особую крепость.

Отвага ханская иссякла
У огороженного рва,
Но тучу стрел с горящей паклей
Метнула в город татарва.
И самой грозной башни выше,
Краснее лисьего хвоста —
Пошел огонь гулять по крышам,
И загорелась теснота.
А смерть всегда с огнем в союзе.
«И не осталось в граде пня,—
Писал ливонец Элерт Крузе,—
Чтоб привязать к нему коня».

Не диво тех в капусту высечь,
Кому в огне сидеть невмочь.
И было их двенадцать тысяч —
Людей, убитых в эту ночь.
На мостовых московских тряских
Над ними стлался черный дым.
Лишь воронье в монашьих рясках
Поминки справило по ним!
А царь глядел в степные дали,
Разбив под Серпуховом стан...

Мирзы татарские не ждали,
Когда воротится Иван.
Забрав заложников по праву
Дамасской сабли и петли,
На человечий рынок в Кафу
Добычу крымцы увели.

Пусть выбит хлеб и братья пали,—
Что делать? Надо жить в избе!
И снова смерды покупали
Складные домы на Трубе,
Рубили вновь проемы окон
И под веселый скрежет пил

Опять Москву одели в кокон
Сырых некрашеных стропил.
Еще пышней, и необъятней,
И величавей, чем сперва,
Как золотая голубятня,
На пепле выросла Москва!

2

Устав от плотницкой работы,
Поднял шершавую ладонь
И тряпкой вытер капли пота
На красной шее Федька Конь.
Он был Конем за силу прозван:
Мощь жеребца играла в нем!
Сам царь Иван Васильич Грозный
Детину окрестил Конем.
И впрямь, точна, хотя нельстива,
К нему та кличка привилась.
Его взлохмаченная грива
Точь-в-точь, как у коня, вилась,
А кто, Конем в кружале битый,
С его замашкой был знаком,
Тот клялся, что смешно копыто
Равнять с Коневым кулаком!

Его хозяин Генрих Штаден
Царю служил, как верный пес,
И был ему за службу даден
Надел земли и добрый тес.
Был Генрих Штаден тонкий немец!
Как в пору казней и опал
Лукавый этот иноземец
К царю в опричники попал?
Стыдясь постройку всякой клети
Тащить на собственном горбу,
На рынке Штаден Федьку встретил
И подрядил срубить избу.
И Конь за труд взялся с охотой,
Зане́ работник добрый был.
Он сплошь немецкие ворота
Резными птицами покрыл,
Чтоб из ворот легко езжалось
Хозяйским санкам в добрый путь.
И, утомясь работой малость,
Присел на бревна отдохнуть.
Из вновь отстроенной светлицы,
Рукой в перчатке подбочась,
Длинноголовый, узколицый
Хозяин вышел в этот час.

Он, вязь узорную заметив
На тонких досточках ольхи,
Сердито молвил: «Доннерветтер![1]
Работник! Что за петухи?»
А Конь глядел с улыбкой детской,
И Штаден крикнул: «Глупый хам!
Не место на избе немецкой
Каким-то русским петухам!»
Он взял арапник и, грозя им,
Полез свирепо на Коня.
Но тот сказал: «Уймись, хозяин! —
Лицо рукою заслоня.—
Ты, знать, с утра опился водкой...»
И только это он сказал,
Как разъяренный немец плеткой
Его ударил по глазам.
Конь осерчал. Его обиду
Видали девки на юру,
И он легонечко, для виду,
По шее треснул немчуру.
Хозяин в грязь зарылся носом,
Потом поднялся кое-как...
А Конь с досадой фартук сбросил
И, осерчав, пошел в кабак.

3

Оправив сбрую, на которой
Блестел набор из серебра,
Немчин кобылу тронул шпорой
И важно съехал со двора.
Он наблюдал враждебным взглядом,
Как просыпается Москва.
На чепраке с метлою рядом
Болталась песья голова.
Еще и пену из корыта
Никто не выплеснул пока,
И лишь одна была открыта

Дверь у «Царева кабака».
Над ней виднелся штоф в оправе
Да елок жидкие верхи.

---

[1] Черт побери! *(нем.)*

У заведения в канаве
Валялись с ночи питухи.
И девка там валялась тоже,
Прикрыв передником лицо,
Что было в рябинах похоже
На воробьиное яйцо.
Под просветлевшими крестами
Ударили колокола.
Упряжка с лисьими хвостами
В собор боярыню везла.
Дымком куриться стали домы,
И гам послышался вдали,
И на Варварку божедомы
Уже подкидышей несли.
Купцы ругались. Бранью хлесткой
Москву попробуй удиви!
У каменной стены кремлевской
Стояли церкви на крови.
Уже тащила сочни баба,
Из кузниц несся дальний гул.
Уже казенной песней «Грабят!»
Был потревожен караул.
А сочней дух, и свеж, и сытен,
Дразня, летел во все концы.
Орали сбитенщики: «Сбитень!»
Псалом гундосили слепцы,
Просил колодник бога ради:
«Подайте мне! Увечен аз!»
На Лобном месте из тетради
Дьячок вычитывал указ.
Уже в возке заморском, тряском,
Мелькнул посол среди толпы,
И чередой на мостик Спасский
Прошли безместные попы.
Они кричат, полунагие,
Прихлопнув черным ногтем вшу:
«Кому отправить литургию?
Не то просфоркой закушу!»
Уже и вовсе заблистали
Церквей румяные верхи,
Уже тузить друг друга стали,
Совсем проснувшись, питухи.

А он на них, начавших драться,
На бестолочь и кутерьму
Глядел с презреньем иностранца,
Равно враждебного всему!

4

Он скромно шел через палаты,
Усердно ноги выгирал,
Иван с Басмановым в шахма́ты
В особой горенке играл.
Царь, опершись брадою длинной
На жилистые кулаки,
Уставил в доску нос орлиный
И оловянные очки.
В прихожей комнате соседней,
Как и обычно по утрам,
Ждал патриарх, чтобы к обедне
Идти с царем в господень храм.
Тому ж и дела было мало,
Что на молитву стать пора:
Зело кормильца занимала
Сия персидская игра!

Тут, опечален и нескладен,
Надев повязку под шелом,
Вошел в палату Генрих Штаден
И государю бил челом.
Он, притворясь дитятей сирым,
Промолвил: «Император мой!
Прошу тебя: позволь мне с миром
Отъехать за море, домой».
И царь спросил: «Ты, может, болен?»
«Здоров, надежа, как и встарь».
«Ты, может, службой недоволен?»
«Весьма доволен, государь!»
«Так что ж влечет тебя за море?
Ответствуй правду, безо лжи».
«Увы! Меня постигло горе!»
«Какое горе? Расскажи».
«Противно рыцарской природе,
В своем же доме, белым днем
Вчера при всем честном народе
Я был обижен...» —
«Кем?» —
«Конем».

Царь пригляделся. Было видно,
Что под орех разделан тот!
И государь спросил ехидно:
«Так, значит, русский немца бьет?» —
«Бьет, государь! Опричных царских,
Готовых за тебя на смерть,
На радость прихвостней боярских
Увечит худородный смерд!»

Немчин придумал ход незряшный.
Глаза Ивана стали злы:
«Замкнуть Коня в Кутафью башню,
Забить невежу в кандалы,
Дабы не дрался неприлично,
Как некий тать, засевший в яр!..
Заместо слуг моих опричных
Пущай бы лучше бил бояр!»

Царь поднялся и, мельком глянув
На пешек сдвинутую рать,
Сказал: «И нынче нам, Басманов,
Игру не дали доиграть!»
Переоделся в черный бархат
И, сделав постное лицо,
С Басмановым и патриархом
Пошел на Красное крыльцо.

5

В тот вечер, запалив лучину,
Трудился Штаден до утра:
Писал знакомому немчину,
Дружку с Посольского двора:
«Любезный герр! В известном месте
Я вам оставил кое-что...
В поход готовьте пушек двести,
Солдат примерно тысяч сто.
Коль можно больше — шлите больше...
Из шведов навербуйте рать.
Неплохо б также в чванной Польше
Отряд из ляхов подобрать.
Всё это сделать надо вскоре,
Чтоб, к лету армию послав,

Ударить скопом с Бела моря
На Вологду и Ярославль...»
И, дописав (судьба превратна!),
Письмо в подполье спрятал он —
Благоразумный, аккуратный,
Предусмотрительный шпион.

А Федька Конь сбежал, прослышав
О надвигавшейся беде.
Он со двора задами вышел,
Стащил коня бог знает где,
Пихнул в суму — мужик бывалый —
Ржаного хлеба каравай,
Прибавил связку воблы вялой,
Жене промолвил: «Прощевай!
Ты долго ждать меня не будешь,
По сердцу молодца найдешь.
Коль будет лучше — позабудешь,
Коль будет хуже — вспомянешь!»

Степями тянется путина[1],
Рысит конек, сердечный друг,
Звенит заветная полтина,
Женой зашитая в треух.
Уже в Синоп, как турок черен,
Пробрался дерзостный мужик.
Там чайка плавает над морем
И тучка в Турцию бежит.
Вот наконец прилива ярость
Фелюга режет острым лбом.
Не день, не два бродяга-парус
Блуждал в тумане голубом.
И, с голубым туманом споря,
В златой туман облачена,
Из недр полуденного моря
Явилась фряжская страна!

6

Обидно клянчить бога ради
Тому, кто жить привык трудом.
И Федька чуял зависть, глядя,
Как иноземцы строят дом.

---

[1] Путина — поездка, путешествие.

Он и в России, до опалы,
Коль сам не приложил руки,—
Любил хоть поглядеть, бывало,
Как избы рубят мужики,
Как стены их растут всё выше
И как потом на них верхом
Садится новенькая крыша
Ширококрылым петухом.

А тут плюгавые мужчины,
Напружив жидкие горбы,
Венерку голую тащили
На крышу каменной избы.
Была собой Венерка эта
Зело смазлива и кругла,
Простоволоса и раздета,
Да, видно, больно тяжела!

И думал Конь: «Народец слабый!
Хоть тут не жизнь, а благодать,—
Таким не с каменною бабой,
А и с простой не совладать!
Помочь им, что ли, в этом деле?..»
И, засучивши рукава,
Пошел к рабочим, что галдели
И градом сыпали слова.
Он крикнул им: «Ребята! Тише!»
Силком Венерку поволок,
Один втащил ее на крышу
И там пристроил в уголок.
Коня оставили в артели:
Что стоят две таких руки!
И покатились, полетели
Его заморские деньки!

Однажды слух прошел, что ныне
Постройке сделает промер
Сам Иннокентий Барбарини,
Пизанский старый инженер.
И вот, седой и желтоносый,
Старик пронзительно глядит,
Кидает быстрые вопросы
И очень, кажется, сердит.
Свою тетрадь перелистал он —
Расчетов желтые листы:

Его постройке не хватало
Полета в небо. Высоты!
Бородку, узкую, как редька,
Худыми пальцами суча,
Он не видал, что сзади Федька
Глядит в тетрадь из-за плеча.
Чтобы понятнее сказаться,
Руками Федька сделал знак
И знаменитому пизанцу
По-русски молвил: «Слышь! Не так!»
И ноготь Федькин, тверд и грязен,
По чертежу провел черту,
И Барбарини, старый фрязин,
Узрел в постройке высоту!

И он сказал, на зависть прочим,
Что Конь — весьма способный скиф,
Он может быть отличным зодчим,
Секреты дела изучив.
И передал ему изустно
Своей науки тайны все,
Свое прекрасное искусство
В его расчетливой красе!

7

И строил Конь. Кто виллы в Лукке
Покрыл узорами резьбы?
В Урбино чьи большие руки
Собора вывели столбы?
Чужому богу на потребу
Кто, безыменен и велик,
В Кастелламаре вскинул к небу
Аркады светлых базилик?
В Уффици ратуши громады
Отшлифовала чья ладонь?..
На них повсюду выбить надо:
«Российский мастер Федор Конь».
Одни лишь сны его смущали,
Вселяя в душу маету.
На сердце камень ощущая,
Он пробуждался весь в поту.
Порою, взор его туманя
Слезой непрошеной во сне,
Ему курная снилась баня,
Сорока на кривой сосне.

И будто он походкой валкой
Приходит в рощу по дрова.
А там зима сидит за прялкой
И сыплет снег из рукава,
И словно он стоит в соборе
И где-то певчие поют
Псалом о странствующих в море,
Блуждающих в чужом краю.
И девки снились. Не отселе,
А те, что выйдут на лужок
И на подножку карусели
Заносят красный сапожок.
И, правду молвить, снилась тоже
Жена, ревущая навзрыд,
И двор, что звездами горожен,
А сверху синим небом крыт.
Но самый горький, самый страшный
Ему такой видался сон:
Всё, что он строит — стены, башни,—
В Москве как будто строит он!
И звал назад с могучей силой
Ночного моря синий вал...
Неярких снов России милой
Еще никто не забывал!

Конь не достроил дом, который
Купило важное лицо,
И, не вылазя из тратторий,
Налег на крепкое винцо.
О нем заботясь, как о сыне,
«Что с вами сталось, милый мой?» —
Спросил у Федьки Барбарини.
И Конь сказал: «Хочу домой!»
«Останьтесь, друг мой! Что вам делать
В снегах без края и конца,
Там, где следы медведей белых
Видны у каждого крыльца?
Мне жалко вас! Я чувством отчим
Готов поклясться в этот час:
Вы станете великим зодчим,
Живя в Италии у нас!»
Но Федька сквозь хмельные слезы
Ответил: «Где я тут найду
Буран, и русские березы,
И снег шесть месяцев в году?»

«Чудак! Зачем вам эти бури?
Тут край весны!» — ответил тот.
И Конь сказал: «Моей натуре
Такой климáт не подойдет!»

8

Конь, воротившись издалече,
Пришел за милостью к царю.
В покое царском дым от свечек
Пятнал вечернюю зарю.
Царь умирал. Обрюзглый, праздный,
Он слушал чтенье псалтыря.
Незаживающие язвы
Покрыли голову царя.
Он высох и лежал в постели,
Платком повязан по ушам,
Но всё глаза его блестели
И взор, как прежде, устрашал.

Худой, как перст, как волос, длинный,
Конь бил царю челом. И тот
Промолвил: «Головы повинной
Моя секира не сечет.
А всё ж с немчином дал ты маху! —
Сказал он, глянув на Коня.—
Сбежал он, и за то на плаху
Тащить бы не тебя — меня!
Корысти не ища в боярстве,
Служи мне, как служил вчера,
Зане́ потребны в государстве
Городовые мастера».

И встретил Конь друзей веселых,
Чей нрав и буен и широк,
И услыхал в окрестных селах
Певучий бабий говорок.
В полях кузнечики трещали,
На Клязьму крючник шел с багром,
И, словно выстрел из пищали,
В полях прокатывался гром.
И ветерок свистел, как зяблик,
И коршун в синем небе плыл,
И перепел во ржах прозяблых,
Присев на кочку, бил да бил.

И два старинных верных друга,
Что особливо чтят гостей
Из-за моря,— метель да вьюга —
Его пробрали до костей.
И бабы пели в избах тесных,
Скорей похожую на стон,
Одну томительную песню,
Что с колыбели помнил он:

«И в середу —
Дождь, дождь,
И в четверг-то —
Дождь, дождь,
А соседи бранятся,
Топорами грозятся...»

9

Иван помре́, послав на плаху
Всех, с кем забыл расчесться встарь.
Когда же бармы Мономаха
Принял смиренный Федор-царь,
Был пристава́ми Конь за во́рот
Приве́ден в Кремль: засыпав рвы,
Царь вздумал строить Белый город —
Кольцо из стен вокруг Москвы.

В Кремле стояли рынды немо,
Царь не снимал с креста руки.
Сидели овамо и семо
Седобородые дьяки.
Бояре думные стояли,
В углу дурак пускал кубарь...
«Мне снился вещий сон, бояре!» —
Неспешно начал государь.
Но тут вразвалку, точно дома,
Войдя в палату без чинов,
Сказал, что Федька ждет приема,
Старшой боярин Годунов.
И царь промолвил: «Малый дикий!
Зашиб немчина белым днем.
Ты, Борька, лучше погляди-ка:
Ножа аль гирьки — нет при нем?»

Коня ввели. «Здорово, тезка! —
Сказал кормилец, сев к столу,
И — богородицына слезка —
Лампадка вспыхнула в углу.—
Сложи-ка стенку мне на месте,
Где тын стоял. Чтоб та стена
Держала пушек сто аль двести
И чтоб собой была красна!
Я б и не строил ту ограду:
Расходы, знаешь... то и се...
Да Борька говорит, что надо,
А с ним не спорь, он знает всё!..»
Тут, скорчив кислую гримасу,
Царь служку кликнул: «Слышь! Сходи
В подвал, милок, налей мне квасу
Да тараканов отцеди! —
И продолжал: — Работай с богом!
Потрафишь — наградит казна.
Да денег трать не больно много:
Ведь и казна-то не без дна!»
Он почесал мизинцем темя
И крикнул: «Борька! Слышь, юла:
Потехе — час, а делу — время:
Пошли звонить в колокола!»
Тот с огоньком в очах раскосых
Царю одеться подмогнул,
Оправил шубу, подал посох
И Федьке глазом подмигнул.
И вышел Конь в ночную гнилость
От счастья бледный, как чернец:
Всё, что мечталось, всё, что снилось,
Теперь сбывалось наконец!

10

Конь строить начал. Трезвый, жесткий,
Он всюду был, всё делал сам:
Рыл котлован, гасил известку,
Железо гнул, столбы тесал.
Его натуре любо было,
Когда согласно, заодно,
Два великана на стропила
Тащили толстое бревно.
Тут в серой туче едкой пыли,
Сушившей руки и лицо,
Худые бабы камень били,

Звучало крепкое словцо,
Там козлы ставили, а дале —
Кирпич возили на возу.
Вверху кричали: «Раз-два, взяли!»
«Полегче!» — ухали внизу.
Конь не сводил с постройки глаза
И, как ни бился он, никак
Не удосужился ни разу
Пойти ни в церковь, ни в кабак.
Зато, сходиться начиная,
Уже над городом видна
Была сквозная, вырезная
Пятисаженная стена.
Конь башню кончил день вчерашний
И отвалить велел леса.
Резной конек Чертольской башни
Уперся шпилем в небеса.
Вся точно соткана из света,
Она стояла так бела,
Что всем казалось: башня эта
Сама по воздуху плыла!
А ночью Конь глядел на тучи
И вдруг, уже сквозь полусон,
Другую башню, много лучше,
В обрывках туч увидел он.
Чудесная, совсем простая,
Нежданно, сквозь ночную тьму,
Резными гранями блистая,
Она привиделась ему...
Придя с утра к Чертольской башне,
Конь людям приказал: «Вали!»
И те с охотою всегдашней,
Кряхтя, на ломы налегли.
Работа шла, но тут на стройку
Явился государев дьяк.
«Ты башню, вор, ломать постой-ка! —
Честил он Федьку так и сяк.—
Царь что сказал? «Ни в коем разе
Сорить деньгами не моги!»
Ужо за то тебе в Приказе
Пропишут, ирод, батоги!»
И Федька Конь в Приказ разбойный,
Стрельцами пьяными влеком,
Неторопливо и спокойно
Пошел за седеньким дьяком.

Спускалась ночь. В застенке стылом
Чадила сальная свеча.
Конь посмотрел в кривое рыло
Приземистого палача,
Взглянул налево и направо,
Снял шапку, в зубы взял ее,
Спустил штаны, прилег на лаву —
И засвистело батожье!..
Конь вышел... Черною стеною
Стояла ночь. Но, как всегда,
Вдали над фряжскою страною
Горела низкая звезда,
И на кремлевской огороже
Стрельцы кричали каждый час:
«Рабы твоя помилуй, боже!
Спаси, святый Никола, нас!»

11

Когда ж стена, совсем готова,
Обстала всю Москву окрем —
Царь повелел державным словом
Коню опять явиться в Кремль.
Сидел в палате царь Феодор,
Жужжали мухи. Пахла гарь.
«Долгонько ставил стенку, лодырь! —
Сердито молвил государь.—
И дорогонько! Помни, друже:
Христьянству пышность не нужна.
И подешевле и похуже —
А всё стояла б. Всё — стена.
Конешно, много ль смыслит плотник?
Мужик — и вся тут недолга!
И всё ж ты богу был работник
И государю был слуга.
Чай, у тебя с одёжей тонко?
Вот тут шубенка да парча.
Хоть и хорьковая шубенка,
Да с моего зато плеча!
Совсем хорошая одежа,
Один рукав побила моль...
Ну, поцелуй мне ручку. Что же
Молчишь ты? Недоволен, что ль?»

«Доволен,— Конь ответил грубо,—
Хорек — зело вонючий зверь!»
Тут царь, запахивая шубу,
Присел и шибко юркнул в дверь.

12

И запил Конь. Сперва «Под пушкой»,
Потом в «Царевом кабаке»
Валялся с медною полушкой,
Зажатой в потном кулаке.
Топя тоску в вине зеленом,
«Вся жизнь,— решил он,— прах и тлен!»
Простоволосая гулёна
Не слазила с его колен,
Он стал вожак кабацкой швали,
Был во хмелю непобедим,
Его пропойцы дядей звали
И купно пьянствовали с ним.
Когда, о стол ладонью треснув
Так, что на нем виднелся знак,
Конь запевал срамную песню,—
Орал ту песню весь кабак!
Ему проныра-целовальник
Не поспевал винцо нести:
«Гуляй, начальник! Пей, начальник!
Шуми да денежки плати!»
Конь сыпал медью, не считая:
«Еще! За всё в ответе я!»
И пенным зельем налитая,
Ходила крýгом сулея.

Народ, сивухой обожженный,
Буянил, а издалека
Пропоиц матери и жены
Глядели в окна кабака.
У каждой муж пьет больно много!
Как раз бы мера! Вот как раз!
Но на дверях белеет строго
Царем подписанный указ.
И говорится в том указе,
Что, дескать, мать или жена
Звать питуха ни в коем разе
Из заведенья не вольна.

И докучать не смеет тоже
Пьянчужке-мужу женка та,
Доколе он сидит в одеже
И не пропился до креста.
Под вечер Федька из кружала,
Шатаясь, вышел по нужде.
Жена просила и дрожала:
«Пойдем, соколик! Быть беде!»
Но Конь ударил шапку ó пол,
Рванул рубаху на груди:
«Я только пуговицы пропил
От царской шубы!
Погоди!»
Опять в кабацком смраде кислом,
Где пировала голытьба,
Дым поднимался коромыслом
И всё разгульней шла гульба,
А жены в низкое оконце
Глядели на слепой огонь...
И вновь перед восходом солнца
На воздух вышел Федька Конь.
Кафтан его висел, распорот,
Была разбита голова.
«Жена! Уже я пропил ворот!
Еще остались рукава!»
На третье утро с Федькой рядом
Уселся некий хлюст. Его
Прозвали Кузькой Драным Задом.
Тот Кузька не пил ничего,
А всё пытал хмельного Федьку,
Как тот разжился: «Федька! Ну,
Чего таишься? Слышь! Ответь-ка:
Небось набил себе мошну?
Небось добра полны палаты?
Жена в алмазах! Не как встарь!
Небось и серебра и злата
Тебе отсыпал государь?
Чай, одарил немецким платьем?..»
Тут Конь, молчавший до поры,
Сказал: «От каменного бати
Дождись железной просфоры!»
А Кузька побледнел немножко,
К окну скорехонько шагнул,
Быстрехонько открыл окошко
И тонко крикнул: «Караул!»

Потом, чтоб Федька не ударил,
К стрельцам за спины стал в углу
И произнес: «На государя
Сей тать сказал сейчас хулу!»
И дело Федькино умело
Повел приказный стрикулист.
Сам Годунов читал то дело
И записал на первый лист:
«Пустить на вольную дорогу
Такого вора — не пустяк,
Понеже знает больно много
Сей вор о наших крепостях.
На смуту нынешнюю глядя,
Терпеть буянство не с руки:
Сослать его, смиренья ради,
На покаянье в Соловки!»

13

Зосима — муж-вероучитель,
Видавший бесы наяву,
Построил честную обитель
На одиноком острову.
Невелика там братья, ибо
Уставом строг тот божий дом.
Монахи ловят в сети рыбу,
Живя апостольским трудом.
Чтоб лучше храм украсить божий,
Разбив подворья там и тут,
Пенькою, солью, лесом, кожей
В миру торговлишку ведут.
Нырки летят на этот остров,
Крылами солнце заслоня...

В обитель ту на строгий постриг
Москва отправила Коня.
Дабы греховное веселье
Не приходило в ум ему,
Посажен Федька был не в келью,
А в монастырскую тюрьму.
Там, вместо ложа — гроб короткий
И густо переплетено
Тройною ржавою решеткой
Слепое узкое окно.

Наутро ключник брат Паисий,
С рассвета трезвый не вполне,
В тюрьму просунул носик лисий,
Спросил, что видел Конь во сне.
И тот ответил: «В этой яме
Без края длится ночь моя!
Мне снилось нынче, что с друзьями
До света в кости дулся я!»
Отец Паисий взял подсвечник,
И, плюнув, дверь захлопнул он:
«Сиди в тюрьме, великий грешник!
Твой сон — богопротивный сон».
Монах не без душка хмельного
Назавтра вновь пришел в тюрьму,
И у Коня спросил он снова,
Что нынче виделось ему.
И Конь ответил: «Инок честный!
Силен, должно быть, сатана.
Мне снился ныне сон прелестный,
Я похудел с такого сна:
Смущая грешника красами,
Зело смазлива и кругла,
Жена, обильна телесами,
В сие узилище вошла».
Паисий молвил: «Я утешен:
Твоя душа еще во тьме,
Но этот сон не так уж грешен!
Ты исправляешься в тюрьме».
Когда ж в окне опять явилось
Его опухшее лицо,
Конь произнес: «Мне нынче снилось,
Что мы с тобою пьем винцо,
Притом винцо из самых лучших!..»
Тут из-за двери: «Милый брат! —
Коню ответил пьяный ключник.—
Твой этот сон почти уж свят!
Да мы и все безгрешны, что ли?
Не верь, дружище! Плюнь! Слова?
Надень армяк, пойдем на волю,
Поможешь мне колоть дрова!»

И вышел Конь. Серело море.
Тянулся низкий бережок.
С залетной тучкой слабо споря,
Его неяркий полдень жег.

Летали чайки в тусклом свете,
Вились далекие дымки,
На берегу сушились сети,
Рядком стояли челноки.
Паисий голосом нетрезвым
Срамную песенку тянул.
Конь пнул его тычком железным
И в сеть рыбачью завернул,
Чтоб честный ключник, малый рослый,
Легко распутаться не мог,
Подрясник скинул, сел на весла
И в море оттолкнул челнок.

14

В Москве был голод этим летом,
К зиме сожрали всех котят.
Болтали, что перед рассветом
Гробы по воздуху летят,
Что вдруг откуда-то лисицы
Понабежали в погреба,
Что в эту ночь на Вражек Сивцев
Падут три огненных столба.

Недавно в Угличе Димитрий
Средь бела дня зарезан был,
Но от народа Шуйский хитрый
Об этом деле правду скрыл,
Сказав: «Зело прискорбный случай!
На всё господня воля. Что ж
Поделаешь, когда в падучей
Наткнулось дитятко на нож?»
Но всё же очевидцы были,
И на базарах, с их слов,
Сидельцы бабам говорили,
Что промахнулся Годунов.
И Годунову прямо в спину
Шел слух, как ветер по траве,
Что он убил попова сына,
А Дмитрий прячется в Литве.
И, взяв жезлы с орлом двуглавым,
Надев значки на рукава,
Вели ярыжек на облаву
Людей гулящих пристава.

С утра валило мокрым снегом.
Шла ростепель. И у воды,
В кустарнике, где заяц бегал,
Остались частые следы.

Снег оседал, глубок и тяжек.
Глухой тропинкой ввечеру
Брели стрельцы ловить бродяжек
В густом Серебряном бору.
Там, словно старая старушка,
Укрывшись в древних сосен тень,
Стояла ветхая избушка
В платочке снежном набекрень.
Она была полна народом.
В ней шел негромкий разговор.
Раздался стук — и задним ходом
Сигнули в лес за вором вор.
Стрельцы вошли, взломав окошко,
Достали труту и кремня,
Подули на руки немножко
И быстро высекли огня.
Всё было пусто. Скрылись гости.
Но щи дымились в чашке — и
Валялись брошенные кости
У опрокинутой скамьи.
Тараканье на бревнах старых
Ускорило неспешный бег...
Укрыт тряпьем, лежал на нарах,
В похмелье мучась, человек.
Он застонал и, спину гладя,
Присел на лавку, гол и бос.
К худым плечам свисали пряди
Седых нечесаных волос.
Его увидя в тусклом свете,
«Ты кто?» — спросили пристава.
И хриплый голос им ответил:
«Иван, не помнящий родства!»
1940



ПИРАМИДА

Когда болезнь, как мускусная крыса,
Что заползает ночью в камелек,
Изъела грудь и чрево Сезостриса —
Царь понял:
День кончины недалек!
Он продал дочь.
Каменотесам выдал
Запасы
Меди,
Леса,
Янтаря,
Чтоб те ему сложили пирамиду —
Жилье, во всем достойное царя.

Днем раскаляясь,
Ночью холодея,
Лежал Мемфис на ложе из парчи,
И сотни тысяч пленных иудеев
Тесали плиты,
Клали кирпичи.
Они пришли покорные,
Без жалоб,
В шатрах верблюжьих жили,
Как пришлось;
У огнеглазых иудеек нá лоб
Спадали кольца смоляных волос.
Оторваны от прялки и орала,
Палимы солнцем,
Брошены во тьму,—
Рабы царя...
Их сотни умирало,
Чтоб возвести могилу одному.
И вырос конус царственной гробницы
Сперва на четверть,
А потом на треть.

И, глядя вдаль сквозь длинные ресницы,
Ждал Сезострис —
И медлил умереть.

Когда ж ушли от гроба сорок тысяч,
Врубив орнамент на последний фриз,
Велел писцам слова гордыни высечь
Резцом на камне чванный Сезострис:
«Я,
Древний царь,
Воздвигший камни эти,
Сказал:
Покрыть словами их бока,
Чтоб тьмы людей,
Живущие на свете,
Хвалили труд мой
Долгие века».

Вчерашний мир
Раздвинули скитальцы,
Упали царства,
Встали города.
Текли столетья,
Как песок сквозь пальцы,
Как сквозь ведро дырявое —
Вода.
Поникли сфинксы каменными лбами.
Кружат орлы.
В пустыне — зной и тишь.
А время
Надпись
Выгрызло зубами,
Как ломтик сыра
Выгрызает мышь.
Слова,
Что были выбиты, как проба,
Молчат сегодня о его делах.
И прах царя,
Украденный из гроба,
В своей печи убогий
Сжег феллах.
Но, мир пугая каменным величьем.
Среди сухих известняковых груд

Стоит,
Побелена пометом птичьим,
Его гробница —
Безыменный труд.

И путник,
Ищущий воды и тени,
Лицо от солнца шлемом заслоня,
Пред ней,
В песке сыпучем по колени,
Осадит вдруг поджарого коня
И скажет:
«Царь!
Забыты в сонме прочих
Твои дела
И помыслы твои,
Но вечен труд
Твоих безвестных зодчих,
Трудолюбивых,
Словно муравьи!»

1940



СВАДЬБА

Царь Дакии,
Господень бич,
Аттила,—
Предшественник Железного Хромца,
Рожденного седым,
С кровавым сгустком
В ладони детской,—
Поводырь убийц,
Кормивший смертью с острия меча
Растерзанный и падший мир,

Работник,
Оравший твердь копьем,
Дикарь,
С петель
Сорвавший дверь Европы,—
Был уродец.

Большеголовый,
Щуплый, как дитя,
Он походил на карлика,
И копоть
Изрубленной мечами смуглоты
На шишковатом лбу его лежала.

Жег взгляд его, как греческий огонь,
Рыжели волосы его, как ворох
Изломанных орлиных перьев.
Мир
В его ладони детской был — как птица,
Как воробей,
Которого вольна,
Играя, задушить рука ребенка.

Водоворот его орды кружил
Тьму человечьих щеп,
Всю сволочь мира:
Германец — увалень,
Пронырa — беглый раб,
Грек — ренегат, порочный и лукавый,
Косой монгол и вороватый скиф
Кладь громоздили на ее телеги.

Костры шипели.
Женщины бранились.
В навозе дети пачкали зады.
Ослы рыдали.
На горбах верблюжьих,
Бродя, скисало в бурдюках вино.
Косматые лошадки в тороках
Едва тащили, оступаясь, всю
Монастырей разграбленную святость.
Вонючий мул в оческах гривы нес
Бесценные закладки папских библий,
И по пути колол ему бока
Украденным клейнодом —

Царским скиптром —
Хромой дикарь,
Свою дурную хворь
Одетым в рубища патрицианкам
Даривший снисходительно...
Орда
Шла в золоте,
На кладах почивала.

Один Аттила — голову во сне
Покоил на простой луке седельной,
Был целомудр,
Пил только воду,
Ел
Отвар ячменный в деревянной чаше,
Он лишь один — диковинный урод —
Не понимал, как хмель врачует сердце,
Как мучит женская любовь,
Как страсть
Сухим морозом тело сотрясает.
Косматый волхв славянский говорил,
Что, глядя в зеркало меча,
Аттила
Провидит будущее,
Тайный смысл
Безмерного течения на Запад
Азийских толп...
И впрямь Аттила знал
Судьбу свою — водителя народов.
Зажавший плоть в железном кулаке,
В поту ходивший с лейкою кровавой
Над пажитью костей и черепов,
Садовник бед, он жил для урожая,
Собрать который внукам суждено!

Кто знает — где Аттила повстречал
Прелестную парфянскую царевну?
Неведомо!
Кто знает — какова
Она была?
Бог весть!
Но посетило
Аттилу чувство,
И свила любовь
Свое гнездо в его дремучем сердце.

В бревенчатом дубовом терему
Играли свадьбу.
На столах дубовых
Дымилась снедь.
Дубовых скамей ряд
Под грузом ляжек каменных ломился.
Пыланьем факелов,
Мерцаньем плошек
Был озарен тот сумрачный чертог.
Свет ударял в сарматские щиты,
Блуждал в мечах, перекрестивших стены,
Лизал ножи...
Кабанья голова,
На пир ощерясь мертвыми клыками,
Венчала стол,
И голуби в меду
Дразнили нежностью неизреченной!

Уже скамейки рушились,
Уже
Ребрастый пес, пинаемый ногами,
Лизал блевоту с деревянных ртов
Давно бесчувственных, как бревна, пьяниц,
Сброд пировал.
Тут колотил шута
Воловьей костью варвар низколобый,
Там хохотал, зажмурив очи, гунн,
Багроволикий и рыжебородый,
Блаженно запустивший пятерню
В копну волос свалявшихся и вшивых.

Звучала брань.
Гудели днища бубнов,
Стонали домры.
Детским альтом пел
Седой кастрат, бежавший из капеллы.
И длился пир.
А над бесчинством пира,
Над дикой свадьбой,
Очумев в дыму,
Между стропил закопченных чертога
Летал, на цепь посаженный, орел —
Полуслепой, встревоженный, тяжелый.
Он факелы горящие сшибал
Отяжелевшими в плену крылами,

И в лужах гасли уголья, шипя,
И бражников огарки обжигали,
И сброд рычал,
И тень орлиных крыл,
Как тень беды, носилась по чертогу.

Средь буйства сборища
На грубом троне
Звездой сиял чудовищный жених.
Впервые в жизни сбросив плащ верблюжий
С широких плеч солдата, он надел
И бронзовые серьги, и железный
Венец царя.
Впервые в жизни он
У смуглой кисти застегнул широкий
Серебряный браслет,
И в первый раз
Застежек золоченые жуки
Его хитон пурпуровый пятнали.

Он кубками вливал в себя вино
И мясо жирное терзал руками.
Был потен лоб его.
С блестящих губ
Вдоль подбородка жир бараний стылый,
Белея, тек на бороду его.
Как у совы полночной,
Округлились
Его вином налитые глаза.
Его икота била.
Молотками
Гвоздил его железные виски
Всесильный хмель.
В текучих смерчах — черных
И пламенных —
Плыл перед ним чертог.
Сквозь черноту и пламя проступали
В глазах подобья шаткие вещей
И рушились в бездонные провалы!
Хмель клал его плашмя,
Хмель наливал
Железом — руки,
Темнотой — глазницы,
Но с каменным упрямством дикаря,
Которым он создал себя,

Которым
Он в долгих битвах изводил врагов,
Дикарь борол и в этом ратоборстве:
Поверженный,
Он поднимался вновь,
Пил, хохотал, и ел, и сквернословил!

Так веселился он.
Казалось, весь
Он хочет выплеснуть себя, как чашу.
Казалось, что единым духом — всю
Он хочет выпить жизнь свою.
Казалось,
Всю мощь души,
Всю тела чистоту
Аттила хочет расточить в разгуле!

Когда ж, шатаясь,
Весь побагровев,
Весь потрясаем диким вожделеньем,
Ступил Аттила на ночной порог
Невесты сокровенного покоя,—
Не кончив песни, замолчал кастрат,
Утихли домры,
Смолкли крики пира,
И тот порог посыпали пшеном...

Любовь!
Ты дверь, куда мы все стучим,
Путь в то гнездо, где девять кратких лун
Мы, прислонив колени к подбородку,
Блаженно ощущаем бытие,
Еще не отягченное сознаньем!..

Ночь шла.
Как вдруг
Из брачного чертога
К пирующим донесся женский вопль...
Валя столы,
Гудя пчелиным роем,
Толпою свадьба ринулась туда,
Взломала дверь — и замерла у входа:
Мерцал ночник,
У ложа на ковре,
Закинув голову, лежал Аттила.

Он умирал.
Икая и хрипя,
Он скреб ковер и поводил ногами,
Как бы отталкивая смерть.
Зрачки
Остекленевшие свои уставя
На ком-то зримом одному ему,
Он коченел, мертвел и ужасался.
И если бы все полчища его,
Звеня мечами, кинулись на помощь
К нему,
И плотно б сдвинули щиты,
И копьями б его загородили,—
Раздвинув копья,
Разведя мечи,
Прошел бы среди них его противник,
За шиворот поднял бы дикаря,
Поставил бы на страшный поединок
И поборол бы вновь...
Так он лежал,
Весь расточенный,
Весь опустошенный
И двигал шеей,
Как бы удивлен,
Что руки смерти
Крепче рук Аттилы.
Так сердца взрывчатая полнота
Разорвала воловью оболочку —
И он погиб,
И женщина была
В его пути тем камнем, о который
Споткнулась жизнь его на всем скаку.
Мерцал ночник.
И девушка в углу,
Стуча зубами, молча содрогалась.
Как спирт и сахар, тек в окно рассвет,
Кричал петух.
И выпитая чаша
У ног вождя валялась на полу,
И сам он был — как выпитая чаша.
Тогда была отведена река,
Кремнистое и гальчатое русло
Обнажено лопатами,—
И в нем
Была рабами вырыта могила.

Волы в ярмах, украшенных цветами,
Торжественно везли один в другом —
Гроб золотой, серебряный и медный.
И в третьем —
Самом маленьком гробу —
Уродливый,
Немой,
Большеголовый,
Покоился невиданный мертвец.

Сыграли тризну, и вождя зарыли.
Разравнивая холм,
Над ним прошли
Бесчисленные полчища азийцев,
Реку вернули в прежнее русло,
Рабов зарезали
И скрылись в степи.
И черная
Заплаканная ночь,
В оправе грубых северных созвездий,
Осела крепким
Угольным пластом,
Крылом совы простерлась над могилой.
1933—1940



ПРИДАНОЕ

В тростниках просохли кочки,
Зацвели каштаны в Тусе,
Плачет розовая дочка
Благородного Фердуси:
«Больше куклы мне не снятся,
Женихи густой толпою
У дверей моих теснятся,
Как бараны к водопою.

Вы, надеюсь, мне дадите
Одного назвать желанным.
Уважаемый родитель!
Как дела с моим приданым?»

Отвечает пылкой дочке
Добродетельный Фердуси:
«На деревьях взбухли почки.
В облаках курлычут гуси.
В вашем сердце полной чашей
Ходит паводок весенний,
Но, увы: к несчастью, ваши
Справедливы опасенья.
В нашей бочке — мерка риса,
Да и то еще едва ли.
Мы куда бедней, чем крыса,
Что живет у нас в подвале.
Но уймите, дочь, досаду,
Не горюйте слишком рано:
Завтра утром я засяду
За сказания Ирана,
За богов и за героев,
За сраженья и победы
И, старания утроив,
Их окончу до обеда,
Чтобы вился стих чудесный
Легким золотом по черни,
Чтобы шах прекрасной песней
Насладился в час вечерний.
Шах прочтет и караваном
Круглых войлочных верблюдов
Нам пришлет цветные ткани
И серебряные блюда,
Шелк и бисерные нити,
И мускат с имбирем пряным,
И тогда, кого хотите,
Назовете вы желанным».

В тростниках размокли кочки,
Отцвели каштаны в Тусе,
И опять стучится дочка
К благодушному Фердуси:
«Третий месяц вы не спите
За своим занятьем странным.
Уважаемый родитель!

Как дела с моим приданым?
Поглядевши, как пылает
Огонек у вас ночами,
Все соседи пожимают
Угловатыми плечами».

Отвечает пылкой дочке
Рассудительный Фердуси:
«На деревьях мерзнут почки,
В облаках умолкли гуси,
Труд — глубокая криница,
Зачерпнул я влаги мало,
И алмазов на страницах
Лишь немного заблистало.
Не волнуйтесь, подождите,
Год я буду неустанным,
И тогда, кого хотите,
Назовете вы желанным».

Через год просохли кочки,
Зацвели каштаны в Тусе,
И опять стучится дочка
К терпеливому Фердуси:
«Где же бисерные нити
И мускат с имбирем пряным?
Уважаемый родитель!
Как дела с моим приданым?
Женихов толпа устала
Ожиданием томиться.
Иль опять алмазов мало
Заблистало на страницах?»

Отвечает гневной дочке
Опечаленный Фердуси:
«Поглядите в эти строчки,
Я за труд взялся не труся,
Но должны еще чудесней
Быть завязки приключений,
Чтобы шах прекрасной песней
Насладился в час вечерний.
Не волнуйтесь, подождите,
Разве каплет над Ираном?
Будет день, кого хотите,
Назовете вы желанным».

Баня старая закрылась,
И открылся новый рынок.
На макушке засветилась
Тюбетейка из сединок.
Чуть ползет перо поэта
И поскрипывает тише.
Чередой проходят лета,
Дочка ждет, Фердуси пишет.

В тростниках размокли кочки,
Отцвели каштаны в Тусе.
Вновь стучится злая дочка
К одряхлелому Фердуси:
«Жизнь прошла, а вы сидите
Над писаньем окаянным.
Уважаемый родитель!
Как дела с моим приданым?
Вы, как заяц, поседели,
Стали злым и желтоносым,
Вы над песней просидели
Двадцать зим и двадцать весен.
Двадцать раз любили гуси,
Двадцать раз взбухали почки.
Вы оставили, Фердуси,
В старых девах вашу дочку».
«Будут груши, будут фиги,
И халаты, и рубахи.
Я вчера окончил книгу
И с купцом отправил к шаху.
Холм песчаный не остынет
За дорожным поворотом —
Тридцать странников пустыни
Подойдут к моим воротам».

Посреди придворных близких
Шах сидел в своем серале.
С ним лежали одалиски,
И скопцы ему играли.
Шах глядел, как пляшут триста
Юных дев, и бровью двигал.
Переписанную чисто
Звездочет приносит книгу:
«Шаху прислан дар поэтом,
Стихотворцем поседелым...»

Шах сказал: «Но разве это —
Государственное дело?
Я пришел к моим невестам,
Я сижу в моем гареме.
Тут читать совсем не место
И писать совсем не время.
Я потом прочту записки,
Небольшая в том утрата».
Улыбнулись одалиски,
Захихикали кастраты.

В тростниках просохли кочки,
Зацвели каштаны в Тусе.
Кличет сгорбленную дочку
Добродетельный Фердуси:
«Сослужите службу ныне
Старику, что видит худо:
Не идут ли по долине
Тридцать войлочных верблюдов?»

«Не бегут к дороге дети,
Колокольцы не бренчали.
В поле только легкий ветер
Разметает прах песчаный».

На деревьях мерзнут почки,
В облаках умолкли гуси,
И опять взывает к дочке
Опечаленный Фердуси:
«Я сквозь бельма, старец древний,
Вижу мир, как рыба в тине.
Не стоят ли у деревни
Тридцать странников пустыни?»

«Не бегут к дороге дети,
Колокольцы не бренчали.
В поле только легкий ветер
Разметает прах песчаный».

Вот посол, пестро одетый,
Все дворы обходит в Тусе:
«Где живет звезда поэтов —
Ослепительный Фердуси?
Вьется стих его чудесный
Легким золотом по черни,

Падишах прекрасной песней
Насладился в час вечерний.
Шах в дворце своем — и ныне
Он прислал певцу оттуда
Тридцать странников пустыни,
Тридцать войлочных верблюдов,
Ткани солнечного цвета,
Полосатые бурнусы...
Где живет звезда поэтов —
Ослепительный Фердуси?»

Стон верблюдов горбоносых
У ворот восточных где-то,
А из западных выносят
Тело старого поэта.
Бормоча и приседая,
Как рассохшаяся бочка,
Караван встречать — седая —
На крыльцо выходит дочка:
«Ах, медлительные люди!
Вы немножко опоздали.
Мой отец носить не будет
Ни халатов, ни сандалий.
Если шитые иголкой
Платья нашивал он прежде,
То теперь он носит только
Деревянные одежды.
Если раньше в жажде горькой
Из ручья черпал рукою,
То теперь он любит только
Воду вечного покоя.
Мой жених крылами чертит
Страшный след на поле бранном.
Джинна близкой-близкой смерти
Я зову моим желанным.
Он просить за мной не будет
Ни халатов, ни сандалий...
Ах, медлительные люди!
Вы немножко опоздали».

Встал над Тусом вечер синий,
И гуськом идут оттуда
Тридцать странников пустыни,
Тридцать войлочных верблюдов.
1935

ПЕВЕЦ

Тачанки и пулеметы,
И пушки в серых чехлах.
Походным порядком роты
Вступают в мирный кишлак.
Вечерний шелковый воздух,
Оранжевые костры,
Хивы золотые звезды
И синие — Бухары.
За ними бегут ребята,
Таща кувшины воды,
На мокром песке ребят их
Маленькие следы.
Ребята гудят, как мухи,
Жужжат, как пчелы во ржи,
Их гонят в дома старухи,
Не снявшие паранджи.
Они их берут за спину
И тащат на голове.
Учитель, глотая хину,
Справляется: что в Москве?
И вот дымится и тухнет
Сырой кизяк, запылав.
В круглой походной кухне
Варится жирный пилав.
У нас, в комнатенке тесной,
Слышно, как там, в ночи,
Поют гортанные песни
Пленные басмачи.
Уже сухую солому
Настлали на ночь в углы,
Но входит хозяин дома
Таджик Магомет-оглы.
Он нам, как единоверцам,
Отвешивает поклон,
Рукою ко лбу и сердцу
Легко касается он.
Мы смотрим с немым вопросом,
С невольной дрожью в душе:
Ему не хватает носа,
Недостает ушей.
И он невнятно бормочет,
И речь его как туман.
Тогда встает переводчик

Селим-ага-Сулейман.
Не говоря ни слова,
Он стелет на пол кошму,
Приносит манерку плова
И чай подает ему.

«Гостеприимства ради,
Друзья, мы не будем злы
К наследнику шейха Сади —
Певцу Магомет-оглы.
Слова его — нить жемчужин,
Трубы драгоценный звон,
И усладить наш ужин
Песней желает он».
Ночь. Мы сидим раздеты,
С трубками, по углам,
И пеструю речь поэта
Селим переводит нам.

«Я жил пастухом у бая,
Когда в гнезде у орла
Азия голубая
Наложницею спала,
Пахал чужие опушки
Я на чужих волах,
Под щеку вместо подушки
Подкладывал я кулак.

Котомка — и вот он весь я,—
Котомка, посох и пот!
И, может быть, только песня
В котомку ту не войдет —
О том, что мор в Тегеране,
Восток бездомен и сир,
Но, словно курдюк бараний,
Налился жиром эмир.
Я правду пел, а не блеял,
И песня была горька,
Она бывала кислее
Кобыльего молока.
Когда я слагал рубаи,
Колючие, как мечи,
«Молчи!» — говорили баи,
Шипели муллы: «Молчи!»
Но след у неправды топок,

С ней нечем делиться мне,
Стихи, как цветущий хлопок,
Летели по всей стране.
Народ умирал в печали,
Я пел, а время текло,
И четверо постучали
Нагайками мне в стекло,
Меня повалили на пол,
В мешок впихнули меня,
Заткнули мне горло кляпом
И кинули на коня.
Два дня мы неслись. На третий
В лучах рассветной игры
Зареяли минареты
Игрушечной Бухары.
В тюрьму принесли мне к ночи
Шашлык и сладкий инжир,
Тогда я узнал, что хочет
Беседы со мной эмир.
Закат окровавил горы,
Когда, перстнями звеня,
На коврике из Ангоры
Властитель принял меня.
Заря пылала и тухла,
Обуглившись по краям,
В руке веснушчатой, пухлой
Дымился длинный кальян.

«Не преклоняй колена,
Отри утомленья пот! —
(Он сладок был, как измена,
И ласков, как тот, кто лжет.) —
Не каждый имеет право
Певцу подвести коня!
Твоя прекрасная слава
Домчалась и до меня.
Недаром в свои тетради
Переписал я сам
Слова, что промолвил Сади
И обронил Хаям.
Догадки меня загрызли:
Откуда берете вы
Такие слова — из жизни
Иль просто из головы?»
Я видел: он врет, лисица!

Он льстит, но прячет глаза!
И, вынув обрывки ситца,
Я вытерся и сказал:

«Эмир! Это дело тонко!
Возьмешь ли из головы
Кривые ножки ребенка,
Скупые слезы вдовы?
Нет! Песня приходит в уши,
Когда, быка заколов,
Ты лучшую четверть туши
Казне относишь в налог,
Когда в богатых амбарах
Тебе не дают зерна.
В кофейнях и на базарах
Весь день толчется она
И видит, как, прежде сонный,
Народ теряет покой
Под щедрой, под благосклонной,
Под мудрой твоей рукой.
Она проходит сквозь сердце,
Скисая в нем и бродя,
Чтоб сделаться крепче перца,
Живительнее дождя,
Став черного кофе гуще,
Коль совесть твоя чиста,
Могущественной, влекущей
Входит она в уста!»
Эмира дряблые щеки
Бурели, как кирпичи,
Смешным голоском девчонки
Эмир завопил: «Молчи!»
Он кинул в меня кинжальчик,
Но, словно ветку в цвету,
Широкобедрый мальчик
Поймал его на лету.

«Мудрец печется о пчелах,
Но истребляет ос!
Дурак! Не слишком ли долог
Твой вездесущий нос?
Тобой развращен, сорока,
Народ начинает клясть
Коран и знамя пророка,
Мою священную власть!

Чтоб проучить невежу,
Запру я песню твою;
И нос я этот отрежу,
И рот я этот зашью!
Дабы доносился глуше
К тебе неутешный плач,
Саблей отрубит уши
Завтра тебе палач!
Палач души твоей дверцы
Захлопнет, как птичью клеть!»
«Но если он вырвет сердце,
То что же будет болеть?»
«Не бойся! Его клещами
Не вытащат палачи!
Помни меня в печали:
Живи, томись, молчи!»
Погибель душе эмира!
Я стал после трех ночей
Круглее головки сыра
По милости палачей.
Из лап их в смертном поте
Ушел Магомет-оглы.
Вглядитесь — и вы найдете
У губ моих след иглы.
Скитаясь, подобно тени,
Я дожил до дня, когда
Нам справедливый Ленин
Дал пастбища и стада,
Пять ярких лучей свободы
Горели в звезде Москвы!
Я прожил долгие годы,
Но жизнь мне открыли вы,
Я стар, но с каждым дыханьем
Ненависть горячей!
Стихи! Их поют дехкане,
Бьющие басмачей.
Поэтом и страстотерпцем —
Так я покину мир.
Эмир оставил мне сердце,
И он ошибся, эмир!»

Разгладив полы халата,
Вздохнул умолкший старик,
Мы слышим, как, мчась куда-то,
Бормочет пьяный арык.

Мы слышим в комнате тесной,
Как рядом с нами в ночи
Поют гортанные песни
Пленные басмачи.
Матов рассветный воздух,
Стали не так остры
Хивы золотые звезды
И синие — Бухары.
Но зоркий прожектор косо
Ползет по темным полям...

Выходит наш гость безносый
И дню говорит: «Селям!»
1936

ПЕСНЯ ПРО АЛЕНУ-СТАРИЦУ

Что не пройдет —
Останется,
А что пройдет —
Забудется...
Сидит Алена-Старица
В Москве, на Вшивой улице.

Зипун, простоволосая,
На голову набросила,
А ноги в кровь изрезаны
Тяжелыми железами.

Бегут ребята — дразнятся,
Кипит в застенке варево...
Покажут ноне разинцам
Острастку судьи царевы!

Расспросят, в землю метлами
Брады уставя долгие,
Как соколы залетные
Гуляли Доном-Волгою,
Как под Азовом ладили
Челны с высоким застругом,
Как шарили да грабили
Торговый город Астрахань!

Палач-собака скалится,
Лиса-приказный хмурится.
Сидит Алена-Старица
В Москве, на Вшивой улице.
Судья в кафтане до полу
В лицо ей светит свечечкой:
«Немало, ведьма, попила
Ты крови человеческой,
Покуда плахе-матушке
Челом ты не ударила!»
Пытают в раз остаточный
Бояре государевы:
«Обедню черту правила ль,
Сквозь сито землю сеяла ль
В погибель роду цареву,
Здоровью Алексееву?»

«Смолой приправлен жидкою,
Мне солон царский хлебушек!
А ты, боярин, пыткою
Стращал бы красных девушек!
Хотите — жгите заживо,
А я царя не сглазила.
Мне жребий выпал — важивать
Полки Степана Разина.
В моих ушах без умолка
Поет стрела татарская...
Те два полка,
Что два волка,
Дружину грызли царскую!
Нам, смердам, двери заперты
Повсюду, кроме паперти.
На паперти слепцы поют,
Попросишь — грош купцы дают.

Судьба меня возвысила!
Я бар, как семя, щелкала,
Ходила в кике бисерной,
В зеленой кофте шелковой.

На Волге — что оконницы —
Пруды с зеленой ряскою,
В них раки нынче кормятся
Свежинкою дворянскою.

Боярский суд не жаловал
Ни старого, ни малого,
Так вас любить,
Так вас жалеть —
Себя губить,
Душе болеть!..

Горят огни-пожарища,
Дымы кругом постелены.
Мои друзья-товарищи
Порубаны, постреляны,
Им глазыньки до донышка
Ночной стервятник выклевал,
Их греет волчье солнышко,
Они к нему привыкнули.
И мне топор, знать, выточен
У ката в башне пыточной,
Да помни, дьяк,
Не ровен час:
Сегодня — нас,
А завтра — вас!
Мне б после смерти галкой стать,
Летать под низкою тучею,
Ночей не спать,—
Царя пугать
Бедою неминучею!..»

Смола в застенке варится,
Опарой всходит сдобною,
Ведут Алену-Старицу
Стрельцы на место Лобное.
В Зарядье над осокою
Блестит зарница дальняя.
Горит звезда высокая...
Терпи, многострадальная!

А тучи, словно лошади,
Бегут над Красной площадью.

Все звери спят.
Все птицы спят,
Одни дьяки
Людей казнят.
1938

ЕРМАК

«Звон медный несется,
гудит над Москвой».
Ал. Толстой

Пирует с дружиной отважный Ермак
В юрте у слепого Кучума.
Средь пира на руку склонился казак,
Грызет его черная дума.
И, пенным вином наполняя стакан,
Подручным своим говорит атаман:

«Не мерена вдоль и не пройдена вширь,
Покрыта тайгой непроезжей,
У нас под ногой распростерлась Сибирь
Косматою шкурой медвежьей.
Пушнина в сибирских лесах хороша,
И красная рыба в струях Иртыша!

Мы можем землей этой тучной владеть,
Ее разделивши по-братски.
Мне в пору Кучумовы бармы надеть
И сделаться князем остяцким...
Бери их кто хочет, да только не я:
Иная печаль меня гложет, друзья!

С охотой отдал бы я что ни спроси,
Будь то самопал иль уздечка,
Чтоб только взглянуть, как у нас на Руси
Горит перед образом свечка,
Как бабы кудель выбивают и вьют,
А красные девушки песни поют!

Но всем нам дорога на Русь заперта
Былым воровством бестолковым.
Одни лишь для татя туда ворота —
И те под замочком пеньковым.
Нет спору, суров государев указ!
Дьяки на Руси не помилуют нас...

Богатства, добытые бранным трудом
С заморских земель и окраин,
Тогда лишь приносят корысть, если в дом
Их сносит разумный хозяин.
И я б этот край, коль дозволите вы,
Отдал под высокую руку Москвы.

Послать бы гонца — государю челом
Ударить Кучумовым царством,
Чтоб царь, позабыв о разбое былом,
Казакам сказал: «Благодарствуй!»
Тогда б нам открылась дорога на Русь...
Я только вот ехать туда не берусь:

Глядел без опаски я смерти в лицо,
А в царские очи — не гляну!..»
Ермак замолчал, а бесстрашный Кольцо
Сказал своему атаману:
«Дай я туда съезжу. Была не была!
Не срубят головушку — будет цела!

Хоть крут государь, да умел воровать,
Умей не сробеть и в ответе!
Конца не минуешь, а двум не бывать,
Не жить и две жизни на свете!
А коль помирать, то, кого ни спроси,
Куда веселей помирать на Руси!..»

Над хмурой Москвою не льется трезвон
Со ста сорока колоколен:
Ливонской войной государь удручен
И тяжкою немочью болен.
Главу опустив, он без ласковых слов
В Кремле принимает нежданных послов.

Стоят в Грановитой палате стрельцы,
Бояре сидят на помосте,
И царь вопрошает: «Вы кто, молодцы?
Купцы аль заморские гости?
Почто вы, ребята, ни свет ни заря
Явились тревожить надежу-царя?..»

И, глядя без страха Ивану в лицо,
С открытой душой, по-простецки:
«Царь! Мы русаки! — отвечает Кольцо,—
И промысел наш — не купецкий.
Молю: хоть опала на нас велика,
Не гневайся, царь! Мы — послы Ермака.

Мы, выйдя на Дон из Московской земли,
Губили безвинные души.

Но ты, государь, нас вязать не вели,
А слово казачье послушай.
Дай сердце излить, коль свидаться пришлось,
Казнить нас и после успеешь небось!

Чего натворила лихая рука,
Маша кистенем на просторе,
То знает широкая Волга-река,
Хвалынское бурное море.
Недаром горюют о нас до сих пор
В Разбойном приказе петля да топор!

Но знай: мы в Кучумову землю пошли
Загладить бывалые вины.
В Сибири, от белого света вдали,
Мы бились с отвагою львиной.
Там солнце глядит, как сквозь рыбий пузырь,
Но мы, государь, одолели Сибирь!

Нечасты в той дальней стране города,
Но стылые недра богаты.
Пластами в горах залегает руда,
По руслам рассыпано злато.
Весь край этот, взятый в жестокой борьбе,
Мы в кованом шлеме подносим тебе!

Немало высоких казацких могил
Стоит вдоль дороженьки нашей,
Но мы тебе бурную речку Тагил
Подносим, как полную чашу.
Прими эту русскую нашу хлеб-соль,
А там хоть на дыбу послать нас изволь!»

Иван поднялся и, лицом просветлев,
Что тучею было затмилось,
Промолвил: «Казаки! Отныне свой гнев
Сменяю на царскую милость.
Глаз вон, коли старое вам помяну!
Вы ратным трудом искупили вину.

Поедешь обратно, лихой есаул,—
Свезешь атаману подарок...—
И царь исподлобья глазами блеснул,
Свой взгляд задержав на боярах: —
Так вот как, бояре, бывает подчас!
Казацкая доблесть — наука для вас.

Казаки от царского гнева, как вы,
У хана защиты не просят,
Казаки в Литву не бегут из Москвы
И сор из избы не выносят.
Скажу не таясь, что пошло бы вам впрок,
Когда б вы запомнили этот урок!

А нынче быть пиру! Хилков, порадей,
Чтоб сварены были пельмени.
Во славу простых, немудрящих людей
Сегодня мы чару запеним!
Мы выпьем за тех, кто от трона вдали
Печется о славе Российской земли!»

В кремлевской палате накрыты столы
И братины подняты до рту.
Всю долгую ночь Ермаковы послы
Пируют с Иваном Четвертым.
Хмельная беседа идет вкруг стола,
И стонут московские колокола.

19 марта 1944

КНЯЗЬ ВАСИЛЬКО РОСТОВСКИЙ

Ужель встречать в воротах
С поклонами беду?..
На Сицкое болото
Батый привел орду.

От крови человечьей
Подтаяла река,
Кипит лихая сеча
У княжья городка.

Врагам на тын по доскам
Взобраться нелегко:
Отважен князь Ростовский,
Кудрявый Василько.

В округе все, кто живы,
Под княжью руку встал.
Громят его дружины
Насильников татар.

Но русским великанам
Застлала очи мгла,
И выбит князь арканом
Из утлого седла.

Шумят леса густые,
От горя наклонясь...
Стоит перед Батыем
Плененный русский князь.

Под ханом знамя наше,
От кровушки черно,
Хан из церковной чаши
Пьет сладкое вино.

Прихлебывая брагу,
Он молвил толмачу:
«Я князя за отвагу
Помиловать хочу.

Пусть вытрет ил болотный,
С лица обмоет грязь:
В моей охранной сотне
Отныне служит князь!

Не помня зла былого,
Недавнему врагу
Подайте чашку плова,
Кумыс и курагу».

Но, духом тверд и светел,
Спокойно и легко
Насильнику ответил
Отважный Василько:

«Служить тебе не буду,
С тобой не буду есть.
Одно звучит повсюду
Святое слово: месть!

Под нашими ногами
Струится кровь — она,
Монгольский хан поганый,
Тобой отворена!

Лежат в снегу у храма
Три мертвые жены.
Твоими нукерами
Они осквернены!

В лесу огонь пожара
Бураном размело.
Твои, Батый, татары
Сожгли мое село!

Забудь я Русь хоть мало,
Меня бы проклЯла
Жена, что целовала,
И мать, что родила...»

Батый, привычный к лести,
Нахмурился: «Добро!
Возьмите и повесьте
Упрямца за ребро!»

Бьют кочеты на гумнах
Крылами в полусне,
А князь на крюк чугунный
Подвешен на сосне.

Молчит земля сырая,
Подмога далеко,
И шепчет, умирая,
Бесстрашный Василько:

«Не вымоюсь водою
И тканью не утрусь,
А нынешней бедою
Сплотится наша Русь!

Сплотится Русь и вынет
Единый меч. Тогда,
Подобно дыму, сгинет,
Батый, твоя орда!»

И умер князь кудрявый...
Но с той лихой поры
Поют герою славу
Седые гусляры.

26 августа 1942

НАБЕГ

Хоть еще на Москве
Не видать гололобых татар,
А недаром грачи
Раскричались в лесу над болотом
И по рыхлым дорогам
Посадский народ —
Мал и стар —
Потянулся со скарбом
К железным кремлевским воротам.

Кто-то бухает в колокол
Не покладая руки,
И сполох над столицей
Несется, тревожен и звонок.
Бабы тащат грудных,
А за ними ведут мужики
Лошаденок своих,
Шелудивых своих коровенок.

Увязавшись за всеми,
Дворняги скулят на бегу,
Меж ногами снуют
И к хозяевам жмутся упорно.
И над конским навозом
На мартовском талом снегу
Неуклюжие галки
Дерутся за редкие зерна.

Изнутри подпирают
Тесинами створки ворот,
В них стучат запоздалые,
Просят впустить Христа ради.
Верхоконный кричит,
Наезжая конем на народ,
Что лабазы с мукою
Уже загорелись в Зарядье.

Ничего не поймешь,
Не рассмотришь в туманной дали:
То ли слободы жжет
Татарва, потерявшая жалость,
То ль посадские сами
Свое барахлишко зажгли,
Чтоб оно хоть сгорело,
Да только врагу не досталось!

И в глухое предместье,
Где в облаке дыма видны
Вековечные сосны
И низкие черные срубы,
То и дело подолгу
С высокой Кремлевской стены
Молча смотрят бояре
В заморские длинные трубы.

Суетясь у костра,
Мужичонка, раздет и разут,
Подгребает золу
Под котел, переполненный варом,
И, довольны потехой,
Мальцы на салазках везут
Горки каменных ядер —
Гостинцы готовят татарам!

Катят дюжие ратники
Бочки по талому льду
Из глубоких подвалов,
Где порох с картечью хранится.
Тупорылая пушечка
На деревянном ходу
Вниз, на Красную площадь,
Глядится из тесной бойницы.

И над ревом животных,
Над гулом смятенной толпы,
Над котлами смолы,
Над стрелецкой дружиною конной
В золотом облаченье,
Вздымая хоругви, попы
На Кремлевские стены
Идут с чудотворной иконой.

А в усадьбе своей
Хитроумный голландский купец
Запирает калитку
И, заступ отточенный вынув,
Под сухою ветлой
Зарывает железный ларец,
Полный звонких дукатов
И светлых тяжелых цехинов.

Повисают замки
На ларях мелочных торгашей,
Лишь в кружалах пропойцы
Дуют для храбрости брагу.
Попадья норовит
Вынуть серьги из нежных ушей
И красавицу дочку
В мужицкую рядит сермягу.

Толстый дьяк отговеть
Перед смертью решил. А пока
Под шумок у народа
Мучицу скупил за спасибо.
Судьи в Тайном приказе
Пытают весь день «языка»:
То кидают на землю,
То вновь поднимают на дыбу.

А старухи толкуют,
Что в поле у старых межей
Ведьмы сеяли землю
Вчерашнюю ночь на рассвете.
И ревут молодайки:
Они растеряли мужей,
За подолы их, плача,
Цепляются малые дети.

И, к луке пригибаясь,
Без милости лошадь гоня,
Чистым полем да ельником,
Скрытной лесною дорогой,
В поводу за собою
Ведя запасного коня,
Поспешает гонец
К Ярославлю
За скорой подмогой.

1942

КАЗНЬ

Дохнул бензином легкий форд
И замер у крыльца,
Когда из дверцы вылез лорд,
Старик с лицом скопца.

У распахнувшихся дверей,
Поникнув головой,
Ждал дрессированный лакей
В чулках и с булавой.
И лорд, узнав, что света нет
И почта не пришла,
Прошел в угрюмый кабинет
И в кресло у стола,
Устав от треволнений дня,
Присел, не сняв пальто.
Дом без воды и без огня
Угрюм и тих. Ничто
Не потревожит мирный сон.
Плывет огонь свечи,
И беспокойный телефон
Безмолвствует в ночи.

Лорд задремал. Сырая мгла
Легла в его кровать.
А дрема вышла из угла
И стала колдовать:
Склонилась в свете голубом,
Шепча ему, что он
Под балдахином и гербом
Вкушает мирный сон.
Львы стерегут его крыльцо,
Рыча в пустую мглу,
И дождик мокрое лицо
Прижал к его стеклу.

Но вот в спокойный шум дождя
Вмешался чуждый звук,
И, рукавами разведя,
Привстал его сюртук.
«Товарищи! Хау-ду-ю-ду? [1]—
Сказал сюртук, пища.—
Давайте общую беду
Обсудим сообща.
Кому терпение дано —
Служите королю,
А я, шотландское сукно,
Достаточно терплю.

---

[1] Как поживаете? *(англ.)*

Лорд сжал в кулак мои края,
А я ему, врагу,
Ношу часы? Да разве я
Порваться не могу?»

Тут шелковистый альт, звеня,
Прервал: «Сюртук! Молчи!
Недаром выткали меня
Ирландские ткачи».
«Вражда, как острая игла,
Сидит в моем боку!» —
Рубашка лорда подошла,
Качаясь, к сюртуку.
И, поглядев по сторонам,
Башмак промолвил: «Так!»
«Друзья! Позвольте слово нам! —
Сказал другой башмак.—
Большевиками состоя,
Мы против всякой тьмы.
Прошу запомнить: брат и я —
Из русской кожи мы».

И проводам сказали: «Плиз![2]
Пожалуйте сюда!»
Тогда, качаясь, свисли вниз
Худые провода:
«Мы примыкаем сей же час!
Подайте лишь свисток.
Ведь рурский уголь гнал сквозь нас
Почти московский ток».
Вокруг поднялся писк и вой:
«Довольно! Смерть врагам!»
И голос шляпы пуховой
Вмешался в общий гам:
«И я могу друзьям помочь.
Предметы, я была
Забыта лордом в эту ночь
На кресле у стола.
Живя вблизи его идей,
Я знаю: там — навоз.

---

[2] Пожалуйста! *(англ.)*

Лорд оскорбляет труд людей
И шерсть свободных коз».
А кресло толстое, черно,
Когда умолк вокруг
Нестройный шум, тогда оно
Проговорило вдруг:
«Я дрыхну в продолженье дня,
Но общая беда
Теперь заставила меня
Приковылять сюда.
Друзья предметы, лорд жесток,
Хоть мал, и глуп, и слаб.
Ведь мой мельчайший завиток —
Колониальный раб!
К чему бездействовать крича?
Пора трубить борьбу!
Покуда злоба горяча,
Решим его судьбу!»
«Казнить!» — в жестоком сюртуке
Вопит любая нить;
И каждый шнур на башмаке
Кричит: «Казнить! Казнить!»

С опаской выглянув во двор,
Приличны и черны,
Читать джентльмену приговор
Идут его штаны.
«Сэр!— обращаются они.—
Здесь шесть враждебных нас.
Сдавайтесь, вы совсем одни
В ночной беззвучный час.
Звонок сбежал, закрылась дверь,
Погас фонарь луны...»
«Я буду в Тоуэр взят теперь?» —
«Мужайтесь! Казнены!»

И лорд взмолился в тишине
К судилищу шести:
«Любезные! Позвольте мне
Защитника найти».—
«Вам не избегнуть наших рук,
Защитник ни при чем.
Но попытайтесь...» — И сюртук
Пожал сухим плечом.

Рука джентльмена набрела
На Библию впотьмах,
Но книга — нервная была,
Она сказала: «Ах!»
Дрожащий лорд обвел мельком
Глазами кабинет,
Но с металлическим смешком
Шептали вещи: «Нет!»
Сюртук хихикнул в стороне:
«Все — против. Кто же за?»
И лорд к портрету на стене
Возвел свои глаза:

«Джентльмен в огне и на воде,—
Гласит хороший тон,—
Поможет равному в беде.
Вступитесь, Джордж Гордон,
Во имя Англии святой,
Начала всех начал!»
Но Байрон в раме золотой
Презрительно молчал.
Обняв седины головы,
Лорд завопил, стеня:
«Поэт, поэт! Ужель и вы
Осудите меня?»
И, губы приоткрыв едва,
Сказал ему портрет:
«Увы, меж нами нет родства
И дружбы тоже нет.
Мою безнравственность кляня,
У света за спиной
Вы снова станете меня
Травить моей женой.
Начнете мне мораль читать,
Потом в угоду ей
У Шелли бедного опять
Отнимете детей.
Нет, лучше будемте мертвы,
Пустой солильный чан,—
За волю греков я, а вы
За рабство англичан».

Тут кресло скрипнуло, пока
Черневшее вдали.
Предметы взяли старика
И в кресло повлекли.

Не в кресло, а на страшный стул,
Черневший впереди.
Сюртук, нескладен и сутул,
Толкнул его: «Сиди!»
В борьбе с жестоким сюртуком
Лорд потерял очки,
А ноги тощие силком
Обули башмаки.
Джентльмен издал короткий стон:
«Ужасен смертный плен!»
А брюки скорчились, и он
Не мог разжать колен.
Охвачен страхом и тоской,
Старик притих, и вот
На лысом темени рукой
Отер холодный пот,
А шляпа вспрыгнула туда
И завозилась там,
И присосались провода
К ее крутым полям.
Тогда рубашка в провода
Впустила острый ток...

Серея, в Темзе шла вода,
Позеленел восток,
И лорд, почти сойдя с ума,
Рукой глаза протер...
Над Лондоном клубилась тьма:
Там бастовал шахтер.
1928

БАЛЛАДА О ХРИСТОФОРЕ ХРИСТЕ И ОБ АНГОРСКОЙ КОШКЕ

> «В Нью-Йорке на улице умер от голода тезка библейского Христа — безработный плотник по имени Христофор Христос. Одновременно там же скончался от ожирения любимый ангорский кот миллиардера Мод-Айду».
>
> *Из газет*

Библейский Христос
На Голгофу нес
Простой деревянный крест.
Обходит Нью-Йорк Христофор Христос,

На трест громоздится трест,
В витринах сверкает «просперети»,
Жара,
В ресторанах жрут...
Кого просить?
У кого найти
Право на жизнь, на труд?
Без Тайной вечери,
Как древле Тот,
Окончив Великий пост,—
Голодный, у стока для нечистот —
Вторично умер Христос.
Не живописал его смертных мук
Досужий евангелист,
Но внес полицейский инспектор Кук
Его в регистрационный лист.

Чрезмерно вкусив от земных щедрот,
Хозяину на беду,
Тогда же скончался любимый кот
Миллиардера Мод-Айду.
Но ангел трубой пробуждает тень
Для ада или небес:
Согласно писанию
В третий день
Бедняк Христофор воскрес.
И ночью, покинув сырой погост,
До самых высоких звезд
С котомкой пошел через Млечный мост
Мертвец Христофор Христос.
Мохнатою лапкой усатый рот
Моющий на ходу,—
За ним увязался ангорский кот
Миллиардера Мод-Айду.
Созвездие Пса чуть не сбилось с ног,
Облаивая бродяг,
Боднуть собирался их Козерог,
Хотел ущипнуть их Рак.
Медведица через шесть небес
Раскинулась кверху дном,
За ними, шипя, Скорпион полез,
Но поотстал на седьмом:
Ведь пятки легки,
Если пуст живот.

Ушли человек и кот.
У адских ворот
Их дьявол ждет,
У райских ворот —
Петр.
И стукнул в серебряные врата
Последний из божьих слуг:
— Впустите меня!
Я — тезка Христа
И плотник по ремеслу:
Не нужен ли вам в раю ремонт?
Со мною набор долот...—
Но грубо из будочки у ворот
Ответил привратник Петр:
— Не затем я хожу выше звезд и туч,
Там, откуда земля —
Как мяч,
Не затем я ношу золоченый ключ,
Чтоб пускать сюда всяких кляч!
У нас не в ходу
Ни перо, ни тушь,
Ни пила, ни гвоздь, ни топор:
У нас легион бестелесных душ
Вечно слушают райский хор.
Огрубела рука твоя от мотыг
И от прочих грязных вещей,
Ты мне будешь шокировать
Всех святых.
Ты блаженным
Напустишь вшей.
Коль пущу я тебя в неземную синь
Без прописки и вида жить,
Дьявол пустит слушок,
Что побочный сын
Отыскался у Госпожи.

В этот миг
Умывающий лапкой рот
Кот сказал:
— Дай-ка я пройду!
Я ангорский кот,
Я любимый кот
Миллиардера Мод-Айду! —
И ключарь пригласил его нараспев:
— Райский дом для тебя готов!

Для моих целомудренных
Вдов и дев
Не хватает
В раю
Котов.—
А бедняк Христофор пропустил кота
И с котомкой побрел назад —
Постучаться в чугунные ворота,
Ограждавшие дымный ад.
Дьявол выпил железный стакан огня,
По усам его потекло.
— Если ищешь работу,—
Спроси меня:
У меня в чести ремесло!
Ты мне в озере серном построишь гать,
Подкуешь мои башмаки,
Ты мне будешь дыбы и колы строгать
И железные гнуть крюки...
Тезки заперлись
Каждый в своем краю,
И они не живут в ладу:
Иисус Христос
Обитает в раю,
Христофор Христос —
В аду.
1936

ДОРОШ МОЛИБОГА

Своротя в лесок немного
С тракта в город Хмельник,
Упирается дорога
В запущенный пчельник.
У плетня прохожих сторож
Окликает строго.
Нелюдим безногий Дорош,
Старый Молибога.
В курене его лежанку
Подпирают колья.
На стене висит берданка,
Заряжена солью.
Зелены его медали
И мундир заштопан,
Очи старые видали
Бранный Севастополь.

Только лучше не касаться
Им виданных видов;
Ушел писаным красавцем,
Пришел инвалидом.
Скрипит его деревяшка,
Свистят ему дети.
Ой, как важко, ой, как тяжко
Прожить век на свете!
Сорок лет он ставит ульи,
Вшей в рубахе ищет.
А носатая зозуля
На яворе свищет.
Жена его лежит мертвой,
Сыны бородаты,—
Свищет семьдесят четвертый,
Девяносто пятый.
Лишь от дочери Глафиры
С ним остался внучек.
Дорош хлопчика цифири,
Писанию учит.
Раз в году уходит старый
На село — в сочельник.
Покушает кутьи, взвара —
И опять на пчельник.
Да еще на пасху к храму
В деревню, где вырос,
Прибредет и станет прямо
С певчими на клирос,
Слепцу кинет медяк в чашку,
Что самому дали.
Скрипит его деревяшка,
На груди — медали.

Что с людьми стряслось в столице:
Не поймет он дел их.
Только стал народ делиться
На красных и белых.
Да от тех словес ученых,
От мирской гордыни,
Станут ли медвяней пчелы,
Сахарнее дыни?
Никакого от них прока.
Ни сыро, ни сухо...
Сие — речено в пророках —
Томление духа.

Жарок был дождем умытый
Тот солнечный ранок.
Пахло медом духовитым
От черемух пьяных.
У Дороша ж, хоть и жарко,
Ломит поясницу,
Прикорнул он на лежанку,
Быль сивому снится.
Сон голову к доскам клонит,
Как дыню-качанку...

Несут вороные кони
На пчельник тачанку.
В ней сидят, хмельны без меры,
Шумны без причины,
Удалые офицеры,
Пышные мужчины.
У седых смушковых шапок
Бархатные тульи.
Сапогами они набок
Покидали ульи,
Стали, лаючись погано,
Лакомиться медом,
Стали сдуру из наганов
Стрелять по колодам,
По белочке-баловнице,
Взлетевшей на тополь.
Дорошу ж с пальбы той снится
Бранный Севастополь.
Закоперщик и заводчик
Всех делов греховных,—
Выдается среди прочих
Усатый полковник.
Зубы у него — как сахар,
Усы — как у турка,
Волохатая папаха,
Косматая бурка.

И бежит — случись тот случай —
На тот самый часик
С речки Молибогин внучек,
Маленький Ивасик.
Он бегом бежит оттуда,
Напуган стрельбою,
Тащит синюю посуду
С зеленой водою.

Увидал его и топчет
Ногами начальник.
Кричит ему:— Поставь, хлопчик,
На голову чайник!
Не могу промазать мимо,
Попаду, не целя.
Разыграем пантомиму
Из «Вильгельма Телля»! —
Он платочком ствол граненый
Обтирает белым,
Подымает вороненый
Черный парабеллум.
Покачнулся цвет черемух,
Звезды глав церковных.
Друзья кричат: — Промах! Промах!
Господин полковник! —
Видно, в очи хмель ударил
И замутил мушку,
Погиб парень, пропал парень,
А ни за понюшку!

Выковылял на пасеку
Старый Молибога.
— Проснись, проснись, Ивасику,
Усмехнись немного! —
Брось, чудак! Пустяк затеял!
Пуля бьется хлестко.
Ручки внуковы желтее
Церковного воска.
Скрипит его деревяшка,
На труп солнце светит...
Ой, как важко, ой, как тяжко
Жить на белом свете!

С того памятного ранку
Дорош стал сутулей.
Он забил свою берданку
Не солью, а пулей.
А до города дорога —
Три версты, не дале,
Надел мундир Молибога,
Нацепил медали...
За то дело за правое
И совесть не взыщет!

В пути ему на яворе
Зозуленька свищет.
Насвистала сто четыре,
Что-то больно много...
На полковницкой квартире
Стоит Молибога.
Свербит стертая водянка,
И ноги устали.
На плече его берданка,
На груди медали.
Денщик угри обзирает
В зеркальце стеклянном,
Русый волос натирает
Маслом конопляным.
Сапоги — игрушки с виду,
Чай, ходить легко в них...
— Спытай, друже: к инвалиду
Не выйдет полковник?
Лебедем из кухни статный
Денщик выплывает.
Ворочается обратно,
Молвит: — Почивают.—
В мундир въелся, как обида,
Колючий терновник...
— Так не выйдет к инвалиду,
Говоришь, полковник?

И опять из кухни статный
Денщик выплывает.
Ворочается обратно,
Молвит:— Выпивают.

Подали во двор карету,
И вышел из спальни
Малость выпивший до свету
Румяный начальник.
Зубы у него — как сахар,
Усы — как у турка,
Волохатая папаха,
Косматая бурка.
Стоит в кухне Молибога
На той деревяшке,
Блестят на груди убого
Круглые медяшки.

Так и виден Севастополь
В воинской осанке.
Весь мундир его заштопан,
На плече берданка.

— Что тут ходят за герои
Крымской обороны?
Ну, в чем дело? Что такое?
Говори, ворона! —
Дорош заложил патроны,
Отвечает строго:
— Я не знаю, кто ворона,
А я — Молибога.
Я судьбу твою открою,
Как сонник-толковник,
С севастопольским героем
Говоришь, полковник!
Я с дитятей не проказил,
По садкам не лажу,
А коли уж ты промазал,
Так я не промажу! —
Побежал на полуслове
Полковник к карете.
Грянь, берданка! Нехай злое
Не живет на свете!
Валится полковник в дверцы
Срубленной ольхою,
Он хватается за сердце
Белою рукою,
Никнет головой кудрявой
И смертельно дышит...
За то дело за правое
Совесть не взыщет!..

Наставили в Молибогу
Кадеты наганы,
Повесили Молибогу
До горы ногами.
Торчит его деревяшка,
Борода, как знамя...
Ой, как важко, ой, как тяжко
Страдать за панами!

Большевики Молибогу
Отнесли на пчельник,

Бежит мимо путь-дорога
В березняк и ельник.
Он закопан между ульев,
Дынных корневищей,
Где носатая зозуля
На яворе свищет.
1934

СОЛДАТКА

Ты всё спала. Всё кислого хотела.
Всё плакала. И скоро поняла,
Что и медлительна и полнотела
Вдруг стала оттого, что — тяжела.

Была война. Ты, трудно подбоченясь,
Несла ведро. Шла огород копать.
Твой бородатый ратник-ополченец
Шагал по взгорьям ледяных Карпат.

Как было тяжело и как несладко!
Всё на тебя легло: топор, игла,
Корыто, печь... Но ты была солдаткой,
Великорусской женщиной была,

Могучей, умной, терпеливой бабой
С нечастыми сединками в косе...
Родился мальчик. Он был теплый, слабый,
Пискливый, красный, маленький, как все.

Как было хорошо меж сонных губок
Вложить ему коричневый сосок
Набухшей груди, полной, словно кубок,
На темени пригладить волосок,

Прислушаться, как он сосет, перхая,
Уставившись неведомо куда,
И нянчиться с мальчишкой, отдыхая
От женского нелегкого труда...

А жизнь тебе готовила отместку:
Из волостной управы понятой
В осенний день принес в избу повестку.
Дурная весть была в повестке той!

В ней говорилось, что в снегах горбатых,
Зарыт в могилу братскую, лежит,
Германцами убитый на Карпатах,
Твой работящий пожилой мужик.

Как убивалась ты! Как голосила!..
И все-таки, хоть было тяжело,
Мальчишка рос. Он наливался силой,
Тянулся вверх, всем горестям назло.

А время было трудное!.. Бывало,
Стирала ты при свете ночника
И что могла для сына отрывала
От своего убогого пайка.

Всем волновалась: ртом полуоткрытым,
Горячим лбом, испариной во сне.
А он хворал. Краснухой. Дифтеритом.
С другими малышами наравне.

Порою из рогатки бил окошки,
И люди говорили: «Ох, бедов!»
Порою с ходу прыгал на подножки
Мимо идущих скорых поездов...

Мальчишка вырос шустрый, словно чижик,
Он в школу не ходил, а несся вскачь.
Ах, эта радость первых детских книжек
И горечь первых школьных неудач!

А жизнь вперед катилась час за часом.
И вот однажды, раннею весной,
Ломающимся юношеским басом
Заговорил парнишка озорной.

И всё былое горе — малой тучкой
Представилось тебе, когда сынок
Принес, богатый первою получкой,
Тебе в подарок кубовый платок.

Ты стала дряхлая, совсем седая...
Тогда ухватами в твоей избе
Загрохала невестка молодая.
Вот и нашлась помощница тебе!

А в уши всё нашептывает кто-то,
Что краток день счастливой тишины:
Есть материнства женская работа
И есть мужской тяжелый труд войны.

Недаром сердце ныло, беспокоясь:
Она пришла, военная страда.
Сынка призвали. Дымный красный поезд
Увез его неведомо куда.

В тот день в прощальной суете вокзала,
Простоволоса и как мел бела,
Твоя сноха всплакнула и сказала,
Что от него под сердцем понесла.

А ты, очки связав суровой ниткой,
Гадала: мертвый он или живой?
И пóдолгу сидела над открыткой
С неясным штампом почты полевой.

Но сын умолк. Он в воду канул будто!
Что говорить? Беда приходит вдруг!
Какой фашист перечеркнул в минуту
Все двадцать лет твоих надежд и мук?

Твой мертвый сын лежит в могиле братской,
Весной ковыль начнет над ним расти.
И внятный голос с хрипотцой солдатской
Меня ночами просит: «Отомсти!»

За то, что в землю ржавою лопатой
Зарыта юность жаркая моя,
За старика, что умер на Карпатах
От той же самой пули, что и я.

За мать, что двадцать лет, себе на горе,
Промаялась бесплодной маетой,
За будущего мальчика, что вскоре
На белый свет родится сиротой!

Ей будет нелегко его баюкать:
Она одна. Нет мужа. Сына нет...
Разбойники! Они убьют и внука —
Не через год, так через двадцать лет!..

И все орудья фронта, каждый воин,
Все бессемеры тыла, как один,
Солдату отвечают: «Будь спокоен!
Мы отомстим! Он будет жить, твой сын!

Он будет жить! В его могучем теле
Безоблачно продлится жизнь твоя.
Ты пал, чтоб матери не сиротели
И в землю не ложились сыновья!»

16—19 февраля 1944



ОФИЦЕР

Нас подбили.
Мы сели в предутренний час
Возле Энска...
Кто мог нам помочь?
Одноглазый прожектор преследовал нас
И зенитки клевали всю ночь.

Я не знаю:
Как наш самолет сгоряча
Сделал этот последний прыжок?..
Перебитую ногу с трудом волоча,
Летчик встал
И машину поджег.

Кровь бежала ручьем по его сапогу,
Но молчал он,
Кудряв и высок.
И решили мы с ним
Не сдаваться врагу:
Лучше — смерть.
Лучше — пуля в висок.

У лесного болотца
Средь ветел густых
Инвентарь подсчитали мы наш:

Нож,
Кисет с табаком,
Бортпаек на двоих —
Вот и весь наш нехитрый багаж.
Мы склонились над картой,
Наш чайник остыл.
Мы следы от костра замели.
Кое-как смастерил я для друга костыль,
Вещи взял и промолвил:
«Пошли».

Мимо сёл и дорог
Мы брели стороной.
Шли неделю,
А фронт еще — где.
Нас не компас,
Нас сердце вело по родной
Путеводной кремлевской звезде.

А идти еще долго.
Не близок наш путь.
В дальний тыл мы слетели к врагу.
Николай стал садиться в пути отдохнуть.
«Подожди,— говорил,—
Не могу...»

На привалах сперва мы пивали чаек.
Но хоть сытной была наша снедь,
Вышел день —
И доели мы с ним бортпаек...
А нога его стала чернеть.

Он, бредя с костылем, бормотал:
«Чепуха».
Но я знал:
Выдыхается он.
Горсть в ладонях растертого прелого мха —
Вот и весь наш дневной рацион.

Как-то раз
В почерневших несжатых овсах
(Горько пахнут поля этих лет)
Показался седой ожиревший русак...
Торопясь, я достал пистолет.
Николай приподнялся,

И руку мою
Задержал перед выстрелом он.
«Погоди,— он сказал,—
Может, в смертном бою
Пригодится нам этот патрон...»

Он шагал через силу,
Небритый, в пыли,
С опустевшею трубкой в зубах.
В этот день мы последнюю спичку зажгли,
Раскурили последний табак...

«Видно, мне не дойти,— он сказал.—
Я ослаб,
Захворал, понимаешь...
Прости.
Отправляйся один.
Тебе надобно в штаб
Разведданные, друг, донести...»

Как сейчас это вижу:
Лежит он разут
(Больно было ему в сапоге),
И лиловые пятна гангрены ползут
По его обнаженной ноге.

Он лежит —
И в глазах его тлеет тоска:
Николай не хотел умирать.
«Я мечтал,— говорит он,—
Понянчить сынка,
Успокоить на старости мать...

Уходи же! —
Он мне приказал еще раз.—
Не ворчи.
Ты с уставом знаком?»
И тогда я впервые нарушил приказ
И понес его дальше силком.

Как я шел — я не помню!
Звенело в ушах...
Пересохло от жажды во рту...
Я присаживался отдохнуть, что ни шаг...
Задыхался в холодном поту...

В эту ночь я увидел, как села горят.
Значит, близко район фронтовой.
Как я ждал,
Чтобы первый советский снаряд
Просвистал над моей головой.

Вот в березу один угодил в стороне,
Рядом грохнул второй у ручья...
Я разрывы их слушал,
И чудилось мне,
Что меня окликают друзья.

Полдень был.
Я забрался в кустарник густой:
Под огнем не пойдешь среди дня.
Вдруг послышалось звонкое русское
«Стой!» —
И бойцы окружили меня...

Сколько сдержанной нежности в лицах
родных.
Значит, смерть — позади!
Это — жизнь!..
«Дорогой!
Мы добрались с тобой до своих,—
Я шептал Николаю.—
Очнись!»

Я с земли его руку поднял,
Но она
Становилась синей и синей.
И была его грудь холодна-холодна,
Сердце больше не слышалось в ней...

Гроб его,
Караулом почетным храним,
Командиры к могиле несли,
И гвардейское знамя полка перед ним
Наклонилось до самой земли.

Это был мой товарищ.
Нет, больше:
Мой брат...
Разве можно таких забывать?
Я старухе его отослал аттестат,
Стал ей длинные письма писать.

Я летаю.
Я каждою бомбой дотла
Разметаю блиндаж или дот.
Пусть она,
Как мужская слеза тяжела,
Все сжигает,
На что упадет.

Возвращаясь с бомбежки,
Я делаю круг
Над могилою в чаще лесной:
В той могиле лежит
Мой начальник и друг,
Офицер моей части родной.
1943

БАЛЛАДА О СТАРОМ ЗАМКЕ

В денек
Золотой и нежаркий
Мы в панскую Польшу вошли
И в старом
Помещичьем парке
Охотничий замок нашли.

Округу
С готических башен
Его петушки сторожат.
Убогие шахматы пашен
Вкруг панского замка лежат.

Тот замок
Из самых старинных.
О нем хоть балладу пиши!
И только
В мужицких чупринах
От горя
Заводятся вши...

Мы входим туда
Без доклада,
Мы входим без спросу туда —

По праву
Штыка и приклада,
По праву
Борьбы и труда.

Проходим
Молельнею древней
Среди деревянных святых
И вместе с собой
Из деревни
Ведем четырех понятых.

Почти с поцелуем воздушным,
Условности света поправ,
В своем кабинете
Радушно
Встречает нас
Ласковый граф.

Неряшливо
Графское платье:
У графа —
Супруга больна.
На бархатном
Графском халате
Кофейные пятна вина.

Избегнем
Ненужных вопросов!
Сам граф
Не введет нас в обман:
Он только —
Эстет и философ,
Коллекционер,
Меломан.

И он,
Чтоб не вышло ошибок,
Сдает нам
Собранье монет.
Есть в замке
Коллекция скрипок
И только оружия —
Нет.

Граф любит
Оттенки кармина
На шапках
Сентябрьских осин.

О, сладость часов
У камина,
Когда говорит
Клавесин!

Крестьяне?
Он знает их нужды!
Он сам надрывался,
Как вол!
Ему органически чужды
Насилие
И произвол!

И граф поправляет,
Помешкав,
Одно из колец золотых...
Зачем же
Играет усмешка
На синих губах
Понятых?

Они околдованы пеньем
Наяд
В соловьиных садах!..
По шатким
Скрипучим ступеням
Мы всходим
На графский чердак.

Здесь все —
Как при дедушке было:
Лежит голубиный помет...
Подняв добродушное рыло,
Стоит в уголку
Пулемет!

Так вот что
Философ шляхетский
Скрывал
В своем старом дворце!
Улыбка
Наивности детской
Сияет на графском лице.

Да!
Граф позабыл пулеметы!
Но все подтвердят нам
Окрест:
Они — лишь для псовой охоты
Да вместо трещоток —
В оркестр!..
Как пляшут
Иголочки света
В брильянте на графской руке!
Крестьяне
Философа в Лету
Увозят на грузовике.
«Слезайте
С лебяжьей перины!
Понежились!
Выспались всласть!
Балладу
О замке старинном
Допишет
Советская власть».
1939

СВОДНЯ[1]

> Подобно старой развратнице, вы сторожили жену мою во всех углах, чтобы говорить ей о любви вашего незаконнорожденного, или так называемого сына, и, когда, больной венерической болезнью, он оставался дома, вы говорили, что он умирал от любви к ней, вы ей бормотали: «Возвратите мне сына».
>
> *Из письма Пушкина к Геккерену*

«Не правда ли, мадам, как весел Летний сад,
Как прихотлив узор сих кованых оград,
Опертых на лощеные граниты?
Феб, обойдя Петрополь знаменитый,
Последние лучи дарит его садам
И золотит Неву... Но вы грустны, мадам?»
К жемчужному ушку под шалью лебединой
Склоняются душистые седины.
Красавица, косящая слегка,
Плывет, облокотясь на руку старика,
И держит веер страусовых перьев.
«Мадам, я вас молю иметь ко мне доверье!

[1] Глава из неоконченной поэмы о Пушкине.

Я говорю не как придворный льстец,—
Как нежный брат, как любящий отец.
Поверьте мне причину тайной грусти:
Вас нынче в Петергоф на праздник муж не пустит?
А в Петергофе двор, фонтаны, маскарад!
Клянусь, мне жалко вас. Клянусь, что Жорж бы рад
Вас на руках носить, Сикстинская мадонна!
Сие — не комплимент пустого селадона,
Но истина, прелестное дитя.
Жорж хочет видеть вас. Жорж любит не шутя.
Ваш муж не стоит вас ни видом, ни манерой,
Позвольте вас сравнить с Волканом и Венерой.
Он желчен и ревнив. Простите мой пример,
Но мужу вашему в плену его химер
Не всё ль одно, что царский двор, что выгон?
Он может в некий день зарезать вас, как цыган.
В салонах говорят, что он уж обнажал
Однажды свой кощунственный кинжал
На вас, дитя! Мой бог, какая низость!..
А как бы оценил святую вашу близость
Мой сын, мой бедный Жорж! Он болен от любви!
Мадам, я трепещу. Я с холодом в крови,
Сударыня, гляжу на будущее ваше.
Зачем вам бог судил столь горестную чашу?
Вы рано замуж шли. Любовь в шестнадцать лет
Еще молчит. Не говорите «нет»!
Вам роскошь надобна, как паруса фрегату,
Вам надобно блистать. А вы... вы небогаты...
И мужа странный труд, вам скушный и печальный,
И ваши слезы в одинокой спальной,
И хладное молчание его.
Сознайтесь: что еще меж вами? Ничего!
К тому ж известно мне, меж нами говоря,
Недоброе внимание царя
К супругу вашему. Ему ль ходить по струнке?
Фрондер и атеист,— какой он камер-юнкер?
Он зрелый муж. Он скоро будет сед,
А камер-юнкерство дают в осьмнадцать лет,
Когда его дают всерьез, а не в насмешку.
Царь памятлив, мадам. Царь не забыл орешка,
Раскушенного им в восстанье декабря.
Смиреньем показным не провести царя!
Он помнит, чьи стихи в бумагах декабристов
Фатально находил почти что каждый пристав.

Грядущее неясно нам. Как знать:
Тот пагубный нарыв не зреет ли опять?
Ваш муж умен, и злоба в нем клубится,
Не вдохновит ли он цареубийцу,
Не спрячет ли он сам кинжала под полу?
В тот день, мадам, на Кронверкском валу
Он может быть шестым иль в рудники Сибири
Пойдет греметь к ноге прикованною гирей.
Не тронется семьей ваш пасмурный чудак!
А вас тогда что ждет? Чердак, мадам, чердак!
А между тем... когда б вы пожелали,—
Вы были б счастливы! Вы б лавры пожинали!
Мой сын богат. В конце концов, мадам,
Мой бедный Жорж не неприятен вам.
Когда б склонились вы его любить нежнее —
Вы разорвали б цепи Гименея,
Соединившись с ним для страстных нег.
Мне было бы легко устроить ваш побег.
Вы б вырвались из мрачного капкана
В край фресок Тьеполо, в край лоджий Ватикана,
К утесам меловым, где важный Альбион
Жемчужным облаком тумана окружен.
Вы б мимолетный взор рассеянно бросали
Кладбищам Генуи и цветникам Версаля,
Блаженствуя в полуденной стране...
Мадам, мадам, верните сына мне!
Вы думаете — муж. Сударыня, поэты —
Лишь дайте им перо да свежий лист газеты —
В тот самый миг забудут о родне.
Искусство их дарит забвением вполне.
А будет он страдать,— обогатится лира:
Она ржавеет в душном счастье мира,
Ей нужны бури — и на лире той
Звук самый горестный есть самый золотой!
Но вот идет ваш муж. В лице его — досада...»
«Мой друг, я битый час ищу тебя по саду.
Барон, вы в грот ее напрасно завели.
Домой пора — поедем, Натали!»
Красавица ушла, покинув дипломата.
Он вынул кружевной платочек аккуратный,
Поставил трость меж подагричных ног,
В ладошку табаку насыпал сколько мог,
Раскрыв табачницу с эмалькой Ганимеда,
И сладко чхнул... «Ну, кажется, победа!»
1937

УРАЛЬСКИЙ ЛИТЕЙЩИК[1]

Литейщик был уральцем чистой крови
Из своенравных русских стариков.
Над стеклами его стальных очков
Топорщились седеющие брови.
Куда был непоседлив старичок!
Таким июльский день и тот — короткий.
Торчал из клинышка его бородки
Прокуренный вишневый мундштучок.
В сатиновой косоворотке черной
Ходил литейщик, в ветхом пиджаке,
По праздникам копался в цветнике
Да чижику в кормушку сыпал зерна.
Читал газету, морщась, выпивал
Положенную чарку за обедом
И, в шашки перекинувшись с соседом,
Чуть вечер, беззастенчиво зевал.

Зато землею формы набивать
Он почитал не ремеслом, а счастьем.
Литейных дел он был великий мастер
И мог бы кружево отформовать.
Как он священнодействовал в дыму,
Где длинные ряды опок стояли!..
Художество — не в косном матерьяле,
А только в отношении к нему.
Литейщик сам трудился дотемна
И тех шпынял, кто попусту толчется.
Он вел свой честный род от пугачевцев,
И от раскольников вела жена.
Крутой литейный мастер в страхе божьем
Держал свою рабочую семью,
Жену, подругу верную свою,
С которой он полвека мирно прожил.

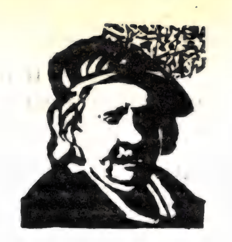
Хоть со старухой муж и не был груб,
А только строг,— всё улыбались горько,
По-стариковски собранные в сборку,
Углы ее когда-то пухлых губ.

---

[1] Первая глава из неоконченной поэмы «Семья».

Она вставала, чуть светал восток,
И позже всех ложилась каждый вечер,
Был накрест через узенькие плечи
Накинут теплый шерстяной платок.
И вся семья устойчиво лежала
На этих хрупких сухоньких плечах.
Та область жизни, где стоит очаг,
Была ее старушечья держава.
Без вот такой молчальницы покорной
Семья — глядишь — и превратится в труп.
Не так ли точно коренастый дуб
Незримые поддерживают корни?
Всё в домике блестело: и киот,
Что от детей спасло ее старанье,
И на окошке свежие герани,
И маленький ореховый комод,
Где семь слонов фарфоровых на счастье
По росту кто-то выстроил рядком,
Где подавал ей руку крендельком
На старом фото моложавый мастер.
И тот диван с расшитою подушкой,
Где сладко муж похрапывал во сне,
И мирно тикавшие на стене
Часы с давно охрипшею кукушкой.
Уже гражданских бурь прошла пора,
А домик оставался неизменен.
Лишь в зальце к литографии Петра
Прибавился однажды утром — Ленин.
Соседство взгляды вызвало косые
Детей, не почитавших старину,
Не знавших, как сливаются в одну
Реку все русла разные России.
Судьба ребят послала старикам,
Чтоб им под старость не истосковаться.
Литейщик отыскал для сына в святцах
Диковинное имя — Африкан.
И не один мальчишеский грешок
Старуха терпеливо покрывала,
И все-таки не раз гулял, бывало,
По сыну жесткий батькин ремешок.
Мальчишка рос веселый, озорной,
Он был крикун, задира, голубятник.
Зимою, выряжен в отцовский ватник,
На лыжах бегал в школу, а весной

В лес уходил с заржавленной двустволкой
В болотных заскорузлых сапогах
И сладко отсыпался на стогах,
Мечтая встретить лося или волка.
Старуха дочь назвала Анной — Анкой.
Моложе брата на год в аккурат,
Она была куда смирней, чем брат,
Росла в семье задумчивой смуглянкой.
Девчонка рукодельницей была.
Отец теплел, когда она, бывало,
Зимой у печки за шитьем певала
Вполголоса про сизого орла.
«Клад, а не девка! — говорили все.—
Красавицею будет, не иначе!»
И девочку фотограф снял бродячий
С цветущими ромашками в косе.
Как водится, меж братом и сестрой
Бывали часто маленькие драки,
Но против уличного забияки
Мальчишка за сестру вставал горой.
Порою он, почесывая зад,
Бежал к отцу,— но тот судил иначе:
«Коль бьют — дерись! А если не дал сдачи —
Не жалуйся: кто бит, тот виноват!»
Как водится, любимицей отцовской
Была задумчивая Анка, дочь.
А мать ходила за сынком, точь-в-точь
Как олениха за своим подсоском.
А жизнь с собой несла событий короб.
Был ход ее то горек, то смешон:
Сестра переболела коклюшом,
Брат ненароком провалился в прорубь.
Потом отцовской бритвою усы
Впервые сбрил мальчишка неумело.
И вот однажды, глядя на часы,
Старик сказал: «Пора тебе за дело!
Не век тебе,— добавил он сурово,—
По улицам таскаться день-деньской».
И стал мальчишка в школе заводской
Вникать помалу в ремесло отцово.
И правда: детство тянется не век,
Любовью материнскою согрето...
Врачи худую девочку в то лето
Подзагореть отправили в Артек.
1945



РЕМБРАНДТ

Драма в стихах

Действующие лица

Рембрандт ван Рейн, *художник.*
Саския ван Эйленбург, *его жена.*
Хендрике, по прозвищу Стоффельс, *его служанка.*
Фабрициус и Флинк, *его ученики.*
Людвиг Дирк, *его маклер.*
Магдалина ван Лоо, *его невестка.*
Сикс, бургомистр Амстердама, *меценат, писатель.*
Баннинг Кук, *капитан корпорации стрелков.*
Пастор.
Мортейра, *ученый талмудист, учитель Спинозы.*
Наследный принц Тосканы.
Доктор Тюльп, *тесть Сикса.*
Продавец красок.
Бюргер, пушкарь, лейтенант, стрелки, судебный пристав, писец, стражники, горожане, кредитор, хозяин гостиницы, соседи.

Действие происходит в Амстердаме с 1635 по 1669 год.

Картина первая

ПИР БЛУДНОГО СЫНА

1

Флинк и Фабрициус приготовляют для пирушки богато убранную комнату. На стенах ее картины, оружие, восточные ткани, гипсовые маски. На полках книги, папки с рисунками, античные бюсты, в углу огромный глобус, на полу львиная шкура, стоит мольберт с завешенной картиной. В комнате две двери.

Флинк

Совсем не чудо наш старик Рембрандт:
Ему на рынке отыскался тезка.

Фабрициус

Хоть ты оделся как испанский гранд,
А все-таки остришь довольно плоско:
Рембрандт один.

Флинк

Заладил — и конец!
К нам в Амстердам приехал из Гааги
Купец Рембрандт ван Юлленшерн.

Фабрициус

Купец?

Флинк

Верней, богатый фабрикант бумаги.
Вчера на Амстель[1] для него как раз
Сырье сгружали, скатывали бочки.
Тут я подъехал и добыл заказ
Писать портрет с его дебелой дочки.

Фабрициус

Но брать заказы нам запрещено.

Флинк

Э, мало ль что запрещено, любезный!
Ей-богу, подработать на вино —
Вполне невинно и весьма полезно.

Фабрициус

Хозяин говорит, что портит нас
Успех дешевый у солдат и женщин.

Флинк

Завидует! А хочешь знать: подчас
И сам учитель портит нас не меньше.

Фабрициус

Как так?

Флинк

Да очень просто. Посмотри,
Как на его палитре краски вянут.
Холсты его берут монастыри
Да ратуши, а дамы брать не станут.
Не первый день я у него в дому:
На рождество исполнится два года,
А почему он гений — не пойму,
Хоть ты убей меня! Всё мода, мода!
Да уж и та почти сошла на нет:
Заказов-то поменьше, не как прежде.
И то сказать: заказывай портрет
Такому грубияну и невежде!

[1] Река в Амстердаме.

Фабрициус

Рембрандт — невежда?!

Флинк

Тише. Не ори!
Ведь он и Рубенс — что земля и небо.
Как ни толкуй и что ни говори,
А гений наш в Италии-то не был?
Он малевал вчера, а я глядел,
Смеясь в душе.

(Указывает на одну из папок.)

Рисуя в этой папке
Страданья Иисуса, он надел
Евангелистам... меховые шапки!

Фабрициус

Мне не смешно.

Флинк

Так ты в него влюблен!
А я в мазне такой не вижу прока.
Ах, то ли дело итальянский тон,
Счастливое французское барокко!
Оно пленяет благородных дам,
Его тона заката золотистей!
Гром разрази меня! Я всё отдам
За бойкость техники, за беглость кисти!

Фабрициус

За гладкопись.

Флинк

Фабриций, ты дурак!
Подмолоди принцесс да бургомистров,
Подзолоти и сам увидишь, как
Тебе удача улыбнется быстро!
Смети-ка эту пыль, что на ковре...
Да, слава и богатство — вот в чем соль-то!
Тебе он люб — сиди в его дыре,
А я сбегу к маэстро Миревольту[1].
Рембрандтом, друг, я сыт по горло. Всласть.
Мужицкий реализм. Медвежья грубость.
Эх, если бы мне к Рубенсу попасть
В ученики!

---

[1] Современный Рембрандту второклассный, но удачливый живописец.

Фабрициус

Ага, вот видишь: Рубенс —
Князь нашей живописи, но и тот
Прийти к Рембрандту обещал сегодня.

Флинк

Придет ли он?

Фабрициус

Конечно, он придет.

Флинк

Его притащит Людвиг, эта сводня,
Чтобы учителя отсрочить крах
И кровь его сосать еще полгода.
Но он ловкач, и я ему не враг...

2

Входит Рембрандт, неся в руках огромный шлем. Его плащ и сапоги в грязи.

Рембрандт

Собачий ветер! Чертова погода!

Флинк

Учитель! Вы? Как волновался я
О вашем драгоценнейшем здоровье!
И ветер с Эй[1], и ливень в три ручья...

Рембрандт

Я на базар ходил за бычьей кровью[2].
Уговорил бродягу на этюд
Да завернул на свадьбу к крысолову.
Я старый гез и не боюсь простуд.
Смотрите, дети: я принес обнову —
Шлем великана.

Флинк

Превосходный шлем!
Чай, дали за него флоринов десять?

Рембрандт

Два гульдена всего. А между тем
Забавный шлем! Куда б его повесить?
(Тянется к гвоздю на стене.)

---

[1] Гавань в Амстердаме.
[2] Пунцовая краска.

Флинк

Не утруждайтесь! Я сейчас, сейчас...
Тут над картинкой гвоздь, так мы над нею...
Давайте шлем сюда: я выше вас.

Рембрандт

Мой милый, ты не выше, ты длиннее.

Флинк

Гм... совершенно верно: я длинней.

Рембрандт

Да гвоздь-то крепок?

Флинк

Гвоздь на диво крепок.

(Берет с полки гипсовый слепок руки и прибивает его к стене.)

А эту руку надо повидней
Приколотить. Какой прекрасный слепок!

(Развешивает оружие.)

Фабрициус! Подай из уголка
Ту шпагу, что с большим зеленым бантом.

(Опять разглядывает слепок.)

На диво интересная рука!
Когда-то был и я ведь хиромантом.

Рембрандт

А был, так погадай: рука моя.

Флинк

(снимает слепок и рассматривает его)

Здесь на ладони, меж пересечений
Других морщин,— Знак Солнца вижу я,
Тот знак гласит, что вы, учитель,— гений.

Рембрандт

Так. Дальше что?

Флинк

Венерино кольцо,
Пересеченное глубоким шрамом.
Хе-хе! Владеющее им лицо
Весьма приятно девушкам и дамам.

Рембрандт

Сейчас соврет, что мне везет в игре!

Флинк

Вам врать, учитель, было б святотатство.
Морщинка на Меркурьевом бугре
Пророчит вам великое богатство.

Рембрандт

Ты б Винчи был, когда бы, как вранья,
Художества усвоил ты науку!
Ведь вместо собственной ладони я
Тебе подсунул каторжника руку.

Флинк

(обиженно)

Что ж, воля ваша!

3

Входит нарядно одетая Саския.

Саския

Где ты был, Рембрандт?

Рембрандт

У старой биржи, на Брабантском мосте.

Саския

Весь плащ в грязи! Небритый!
Вот так франт!
А ведь сейчас начнут съезжаться гости.

Рембрандт

Мы с Крулем[1] в синагогу забрались
И слушали «Колнидрей». Что за песня!..
Ну ласточка, ну радость, не сердись!

Саския

Что ж? Не нашел занятья интересней?
Ну был бы ты вдовец иль холостяк.
Ужель тебя нисколько не роняет
Общенье с бандой выжиг и бродяг?
Переоденься! Как твой плащ воняет!

Рембрандт уходит, Саския идет за ним.

Флинк

Фабрициус! Я умер! Я убит!
Ведь как она его: и грязь и запах!
А он-то, он! Нам, грешным, он грубит,
А перед ней стоит на задних лапах.

[1] Поэт, современник Рембрандта.

4

Входит Людвиг Дирк и Баннинг Кук. Навстречу им выходит Саския.

Людвиг
(целуя руку Саскии)
Прелестная!
Саския
Привет вам, милый друг.
Людвиг
(указывая на Кука)
Я нынче к вам привел с собою гостя.
Баннинг Кук
Сударыня, не будь я Баннинг Кук,
Я очень рад, клянусь игрою в кости!
Подобных женщин я еще не знал,
Хотя немало за границей пожил.
Людвиг
Ну-с, чем сегодня наш оригинал
Число своих коллекций приумножил?
Флинк
(указывая на шлем)
Сегодня — шлемом.
Людвиг
Ах, отличный шлем!
Немножко схож с кастрюлей для сосисок.
Так и запишем.
(Вынимает книжку и что-то записывает.)
Фабрициус
Сударь, а зачем
Ведете вы покупок наших список
Так тщательно? Я что-то не пойму.
Людвиг
Я, милый мой, стараюсь для потомства:
Желаю обеспечить и ему
Во всех деталях с гением знакомство.
Саския
Скажите нам: что Рубенс? Он придет?
Людвиг
Он обещал, хоть очень неохотно:
Визитов тьма его вогнала в пот.

Входит переодевшийся Рембрандт.

Как жизнь, Рембрандт? Как новые полотна?

Рембрандт

Забросил всё. Замучили дела,
Да и противно рисовать халтуру.
Вчера на рынке набросал вола...

Людвиг

Ну, что там вол! Вот я привел натуру
Такую, что коль выпустишь из рук,
То после пальцы изгрызешь от злости!

Баннинг Кук

Ах, сударь мой, не будь я Баннинг Кук,
Я очень рад, клянусь игрою в кости!
Я к вам явился предложить заказ
От гильдии стрелков...

Рембрандт

Увы, я занят.

Баннинг Кук

Заказ, который обессмертит вас!

Рембрандт

Увы, меня бессмертие не манит.
Я не могу сейчас стрелков писать.
Я занят. Увлечен воловьей тушей.

Людвиг

А зеркало и с пологом кровать
На что ты купишь? Не глупи, послушай.

Баннинг Кук

Подумайте. Не говорите «нет».
Мы хорошо заплатим. Я не жи́ла!

Рембрандт

Нет.

Баннинг Кук

За обычный групповой портрет
Мы вам дадим по сто флоринов с рыла!

Рембрандт

Благодарю.

Людвиг

А я уж приглядел
Кровать и зеркало.

Саския

Рембрандт! Не будь упрямым!

Рембрандт

Я, милая, завален грудой дел!

Людвиг

Какой джентльмен отказывает дамам?

Рембрандт

Я не джентльмен, я мельник[1].

Людвиг

Вот те раз!

Баннинг Кук

На фоне, сударь, этакой портьеры
Получше этак напишите нас —
Собранье благородных офицеров!
Представьте: я в передовом ряду,
Мой лейтенант стоит со мною вместе,
Над нами — знамя! Мне на грудь — звезду!
Ну, и ему какой-нибудь там крестик.
Чтоб наши девушки сошли с ума,
Взглянув на полотно! Чтоб видно было,
Что мы бойцы, а не кусок дерьма!..
Вы поняли? По сто флоринов с рыла.

Рембрандт

А если вас, любезный капитан,
Напишет Рубенс?

Баннинг Кук

Поезжай в Антверпен,
А он тебя еще не примет там!

Рембрандт

Садитесь. Отдыхайте. Время терпит.
Я с ним вас познакомлю, бог вояк.

Баннинг Кук

Ну что ж, пожалуй. Если он без чванства...

Людвиг

Вы нам покуда расскажите, как
Вы заработали свое дворянство.

Баннинг Кук

Комедия, не будь я Баннинг Кук!
Забавный случай, в ребра мне чесотку!
Был у меня один строптивый друг,
И с ним не поделили мы красотку.
Дошло до шпаг. Но этот сукин сын,
Распутник лысый этот, старый мерин,
Вдруг заявил, что я не дворянин
И он со мною драться не намерен.
Я в армию! За шпагу! На коня!
В Испанию, где в это время — свалка,

[1] Рембрандт — по происхождению сын мельника.

Испанки так поленьями меня
Отделали, что глянуть было жалко!
Я год потом не мог сидеть в седле.
В Баварии, где чудно пиво гонят,
Я чуть не утонул в пивном котле.

Людвиг

Ну, это трудно: золото не тонет.

Баннинг Кук

В Ост-Индии один орангутанг
Смолой облил меня. Чего уж плоше?

Людвиг

А в детстве вам, любезный капитан,
На голову не наступила лошадь?

Баннинг Кук

Сто двадцать раз! Серьезно! Без прикрас!

Рембрандт

(тихо)

Не надо, Людвиг. Как тебе не стыдно?

Баннинг Кук

(не расслышав)

Не верите? Клянусь сто двадцать раз!

Людвиг

Оно и видно.

Баннинг Кук

Неужели видно?..
Так десять лет прошло. И наконец
За рыцарство, отвагу, постоянство,
Моих мечтаний пламенных венец —
Я получаю грамоту дворянства.
Тогда я отправляюсь в Амстердам,
Чтоб утолить святую жажду мщенья,
И нахожу... Но это не для дам...
Я, впрочем, расскажу, прошу прощенья.
Я спал и видел сны об этом дне:
Теперь, мечтал, проткну я кавалера!
А он сидит, каналья, на судне,
И у него жестокая холера.

Людвиг

А что красотка?

Баннинг Кук

Отдалась ему!

Людвиг
Ваш хитрый друг объехал вас, медведь мой.

Баннинг Кук
Да, черт возьми! К приезду моему
Красотка эта стала старой ведьмой.

Рембрандт
А ваш приятель?

Баннинг Кук
Умер, как назло!
Под носом умер! Каково?

Рембрандт
Занятно.

Людвиг
Да, не везло вам в жизни.

Баннинг Кук
Не везло.

Слышен стук в дверь.

Саския
Стучится кто-то.

Людвиг
Рубенс, вероятно.

5

Входит Сикс.

Сикс
Привет хозяйке! Баннинг Кук, привет!
Перо на шляпе! Сапоги с раструбом!
И франт же вы!.. А Рубенса всё нет!
Нас долго ждать заставит этот Рубенс!
А между тем скажу вам, господа,
Кабы не слава — он и не по мне бы.
Уж это что за живопись, когда
Кухарками он населяет небо!
За что ему такой высокий сан
Пожалован принцессой...[1]

Рембрандт
Вы сердиты,
Мой желчный друг, бессмертный вкус
нам дан,
Чтоб разглядеть и в прачке Афродиту.

---

[1] Рубенс был придворным художником принцессы Изабеллы.

Дар Рубенса слепит, как яркий свет
Средь живописи сумерек ничтожных.
Мне вспомнился один его ответ.
Так мог ответить лишь большой художник.

Сикс

Какой, скажите?

Рембрандт

В Лондоне послом
Был Рубенс, помнится, тогда.

Сикс

И что же?

Рембрандт

И там он встретился с одним ослом.

Баннинг Кук

С ослом! Забавно!

Рембрандт

Виноват, с вельможей.

Сикс

Тут — разница!

Рембрандт

Невелика! Сей лорд,
Из самых найчиновных и вельможных,
Пришел, когда гравировал офорт
В своем посольстве молодой художник.
«Искусством забавляется посол?» —
Он уронил с тупым самодовольством.
«Нет, ваша светлость,— тот ответ нашел,—
Художник развлекается посольством».

Людвиг

Ответ чего уж лучше! Спору нет!

Баннинг Кук

Такие шутки порождают войны!
Я б ноги вырвал за такой ответ!

Сикс

Ответ остер, но это непристойно.

Саския

Такую грубость, милый друг, поверь,
Вельможе слушать было неприятно.

Рембрандт

Мне чудится, иль снова в нашу дверь
Стучится кто-то?

Сикс

Рубенс, вероятно.

6

Входит бюргер.

Бюргер

Простите, сударь, что тревожу вас
В приятный час веселости невинной.
Я к вам зашел, чтоб получить заказ —
Портрет моей дражайшей половины.

Рембрандт

О, ваш заказ окончил я давно
И, признаюсь, работал с интересом.
Но только тут есть маленькое «но»...

Бюргер

Вы мне польстили, дорогой профессор:
Еще вчера заносчивый юнец
Жену мою назвал ошметком старым...
В чем ваше «но», скажите наконец?
Когда стоите вы за гонораром,
То хоть бумажник мой не очень толст...

Рембрандт

(указывая на Людвига)

Вот мой посредник, с ним и обсудите.

Людвиг

Что ж! Наложите золота на холст,
И сколько ляжет — столько и дадите.

Бюргер вынимает кошель, полный золота, и кладет на стол.

Бюргер

Позволите взглянуть на полотно?
Не терпится узреть свою овечку.

Рембрандт

(смущенно)

Пожалуйста.

(Подходит к мольберту и снимает с него полотно.)

Но только тут темно.
Фабрициус! Неси живее свечку.

Фабрициус подносит к мольберту свечу. На полотне изображена старая толстая бюргерша и рядом с ней — обезьяна. Все изумленно смотрят на картину. Бюргер отступает.

Бюргер

Создатель, что за дикая мазня?!
Вы это в шутку, сударь, или спьяну?..
Ужасно!

Баннинг Кук

Что касается меня,
То я предпочитаю обезьяну.

Бюргер

Немыслимо! Так вот в чем ваше «но»!
Фи, сколько мерзости в ее гримасе!

Рембрандт

(смущенно)

А я решил, что это полотно
Облагородила моя Шааси.

Бюргер забирает со стола кошель с золотом и прячет его.

Бюргер

Я этого портрета не возьму.
Задаток мне верните.

Людвиг

(сердито)

Привередник!

Рембрандт

(указывая на Людвига)

Зайдите за флоринами к нему,
Он — мой карман с деньгами, мой посредник.

Бюргер уходит, хлопнув дверью.

7

Людвиг

Чем я платить-то буду? Вот вопрос!

Баннинг Кук

Прекрасно, замечательно, отлично
Мещанишке вы натянули нос!

Сикс

Как это вышло?

Саския

Это неприлично!

Рембрандт

Однажды я в Гольфвегенском порту[1]
Провел в харчевне ночь довольно бурно.
Мой собутыльник с трубкою во рту
Был кривоногий загулявший штурман.
Любил девиц, заблудшая душа,
И в смысле выпить тоже был не квакер,

[1] Порт и шлюзы в Амстердаме.

И наконец, пропившись до гроша,
В харчевне этой стал на мертвый якорь.
Его похмелье мучило. Добряк
Настроен был на диво покаянно.
И за флорин беспутный сей моряк
В тот трудный час мне продал обезьяну.
Она в меня, казалось, влюблена
И превратилась в моего вассала.
Когда я брился — брилась и она,
Когда писал я — и она писала.
И вот он умер, бедный мой зверек,
Моя Шааси, добрая подруга!..

Людвиг

Ты все харчевни вдоль и поперек
Уже прошел. Смотри, сопьешься с круга!

Сикс

Вы, мой Рембрандт, способный человек.
Ваш ум остер и чувство ваше тонко,
Но можно ль оставаться целый век
Таким вот... мягко говоря, ребенком?

Людвиг

Меня ты режешь прямо без ножа,
Я разорюсь с тобою.

Сикс

Ну, на что вы
Волнуете почтенных горожан,
Что в гении вас записать готовы?
Вы молоды, кровь ваша горяча,
Я понимаю вас, я сам — писатель.
Но не рубите вы, чудак, сплеча!

Баннинг Кук

И на ветер заказы не бросайте!

Людвиг

Вот это правда!

Сикс

И поверьте мне:
Пожнет пожар, кто в сено бросит искру,
Мне неудобно из-за вас вдвойне:
Как другу вашему и бургомистру,
Ведь голос общества...

Рембрандт

Что ж голос тот,
Мой друг, нашептывает вам болтливо?

Сикс

Что вы жуир, что вы немножко мот.
И это всё, к несчастью, справедливо.
Закон следит за вами каждый час!
Намедни мне докладывает пристав,
Что он в ночлежках замечает вас,
Муж дочери почтенного юриста,
Муж Саскии ван Эйленбург. Что вы
На Каттенбурге[1] шляетесь, подвыпив,
И, позабыв о голосе молвы,
Рисуете каких-то грязных типов.
Хотите слышать мнение мое?
И вас и Саскию всё это губит.
Скажите мне, вы любите ее —
Супругу вашу?

Саския

Он меня не любит!

Рембрандт

(бросается к ней)

Клянусь — люблю! Одной тобой полно
Всё это сердце!

(Обращается к Сиксу.)

Прекратите споры!

(Подходит к столу, уставленному едой и винами.)

Ну, Баннинг Кук, давайте пить вино.
Не хмурься, Людвиг! Мы своротим горы!

(Наливает в бокал вина.)

В бокал хрустальный нежно-голубой
Налитая, пусть эта влага пляшет!..

Саския сильно кашляет.

Скажи, моя голубка, что с тобой?

Саския

Пустое: кашель.

Рембрандт

Снова этот кашель!
Поди ко мне. На грудь мою приляг.
Хлебни глоток из моего бокала.
Сядь на колени мне. Черт знает — как
Твое колье на шее засверкало!

(Усаживает ее на колени.)

---

[1] Один из островов Амстердама, где расположены были торговые склады.

Я нарисую так тебя. Стократ
Прелестней ты с воздетой к небу чашей!

Саския
(вырываясь)
Оставь меня! Пусти меня, Рембрандт,
С твоих колен! Что скажут гости наши?

Рембрандт
Не отпущу! Пусть слышит целый мир,
Как пиршества ночного грянут трубы!
Сикс! Улыбнитесь, и начнемте пир,
Пир сына блудного!

Сикс
А как же Рубенс?

Баннинг Кук
Видать, не по нему наш скромный круг,
Друзья мои, не ожидайте, бросьте!
Такой гордец, не будь я Баннинг Кук,
К нам не придет, клянусь игрою в кости!

Картина вторая

ГЕЗ И ПРИНЦ

1

Мастерская Рембрандта. У окна стол и кресло. Мольберт с завешенной картиной. На стенах палитры. Висит картина Ван-Дейка. В углу бюст Гомера. На стене модель фрегата. Дверь в комнату закрыта портьерой. Мортейра сидит в кресле. Рембрандт стоит у окна.

Рембрандт
Почтенный реб Мортейра! Я затем,
Не пощадив больные ваши ноги,
Зазвал к себе вас, чтоб дознаться: с кем
На Бреедстратен[1] возле синагоги
В четверг прошедший я заметил вас?

Мортейра
В четверг, вы говорите? Я не помню.

Рембрандт
Красивый мальчик. Он гранил алмаз
У домика, где вход в каменоломню.
Блондин с глазами аспида серей
И с нежным ртом, как маленькая роза.

[1] Еврейский квартал в Амстердаме.

Мортейра

А, вспомнил! Этот молодой еврей —
Мой ученик, мой мальчик, мой Спиноза.
Ему от бога многое дано!

Рембрандт

Вы знаете, какая мысль мелькнула
В моем уме! Я собрался давно
Писать безумного царя Саула.
Натурой для Саула служит мне
Маньяк один, благообразный с вида.
Чтоб развернуться в этом полотне,
Мне не хватает лишь царя Давида...

Мортейра

Я понял вас. Конечно, лучше всех
Спиноза мой Давида вам сыграет,
Когда ему не вменит это в грех
Фанатик наш Манассе бен-Израиль.
«Кумира,— скажет он,— не сотвори!»
Но Барух не в ладах с вероученьем,
Скажу вам по секрету: раза три
Ему уже грозили отлученьем.
Он страшно непокладист, мой юнец!
Я попрошу его.

Рембрандт

Просите очень!

Мортейра

(встает)

Ну, я пойду! Я истомлен вконец
Событьями тревожной этой ночи.

Рембрандт

(глядит в окно)

Пушкарь идет. Вот кто расскажет нам,
Какую принц сыграть задумал шутку[1].

(Кричит в окно.)

Ты с форта Вепп?

Голос с улицы

Всю ночь дежурил там,
Домой спешу.

Рембрандт

Зайди-ка на минутку!

---

[1] При жизни Рембрандта принц Вильгельм II пытался обманом захватить Амстердам, но был отбит.

Мортейра садится, входит пушкарь.

Пушкарь

Ну, разве на минутку, господа!
Не выспался, не ел, жену не видел.

Рембрандт

Проголодался? Это не беда!
Сейчас устроим завтрак в лучшем виде.
Сосиски есть, яичницу подам,
Пивка прикажем нацедить в подвале.
А ты нам расскажи, как Амстердам
Вы, пушкари, от принца отстояли.

(Кричит.)

Фабрициус!

Молчание.

Пушкарь

Заспался, сатана!

Рембрандт

Флинк!

Молчани

Пушкарь

Тоже дрыхнет!.. Вечером вчерашним
Смазливая служаночка одна
Явилась к нам в сторожевую башню.
Ну, мы, понятно, бросили вино,
Забыли кости и решили было
Ее пощупать, как заведено.
Но тут девчонка эта нам открыла,
Что принц Оранский, неусыпный страж
Свободы нашей[1], грузит на телеги
Своих солдат, чтоб вольный город наш
Лишить его старинных привилегий,
Что он к нам подойдет в ночную тьму,
Что, словно Каин, предающий брата,
Пароль и отзыв выдали ему
Тузы из армии и магистрата.
Тогда мы запалили фитили,
Штыки проверили, как говорится,
И, не шумя, у пушек прилегли,
Готовые достойно встретить принца.

---

[1] Принц Оранский был штатгальтером Соединенных Нидерландов.

Боясь измены, не сказали мы
И ни словечка Сиксу или Куку.

Рембрандт

Не миновать бы вам, орлы, тюрьмы,
Когда б им кто шепнул про эту штуку!

Пушкарь

Мы так и думали. Глядим: как волк,
Бряцая медью копий для острастки,
Крадется рейтарский особый полк,
И впереди — вельможный принц Оранский.
Здесь для начала наш дозорный пост
Их обстрелял.

Рембрандт

И поделом: не суйся!

Пушкарь

Потом поднялся наш висячий мост
И громыхнули пушки Нисверслуйса[1].
Не стал протестовать высокий гость,
Откланялся и повернул обратно.
Лишь с непристойной ручкой в поле трость
Нашли мы утром.

Рембрандт

Принца, вероятно.

Пушкарь

Отчаянной пальбы услышав звук,
В одном белье, с дежурной полуротой
На башню к нам явился Баннинг Кук
И грозно приказал открыть ворота.
Он заорал, но тут, не обессудь,
Братва его послушалась не шибко:
Ребята взяли дурака за грудь
И объяснили — в чем его ошибка.
Как изменился он!

Рембрандт

Смешная роль!

Пушкарь

На что смешнее! Вспомнишь — хохот душит!
Он проворчал, что принц ведь знал пароль,
Но наконец велел стрелять из пушек.
Он опоздал с приказом этим: тот
И так немало получил гостинцев.

[1] Форт Амстердамской крепости.

Кук всякий раз хватался за живот,
Когда ядро летело в войско принца.

Тихо отворяется дверь, и входит доктор Тюльп. Прислушавшись к разговору, становится за портьеру и подслушивает.

Приехал Сикс. На башне у перил
Он долго в трубочку смотрел невинно.
Он очень пушкарей благодарил,
Но почему-то с крайне кислой миной.
Наш бургомистр, казалось, был бы рад,
Когда б врага впустили мы без звука.

Рембрандт

Да, Сикс — лиса! Он — тонкий бюрократ!
Его накрыть куда трудней, чем Кука:
Он тут соврет, а там подпустит лесть...

Мортейра

А что ж служанка?

Пушкарь

Канула как в воду!..
Да ты, Рембрандт, хотел мне дать поесть.
Я даром, что ль, сражался за свободу?

Рембрандт

(кричит)

Эй, Флинк! Фабрициус!.. Всегда заснут!

3

Входит Хендрике. Увидев пушкаря, отворачивается. Тот внимательно в нее всматривается.

Хендрике

Их нет, хозяин.

Рембрандт

А коль нет, так живо
Распорядись, чтобы через пять минут
Стояли тут яичница и пиво.

Хендрике кланяется и уходит.

Пред Хендрике пасуют повара!..

Пушкарь

Девчонка эта — из твоих домашних?

Рембрандт

Да.

Пушкарь

Это та служанка, что вчера
Явилась к нам в сторожевую башню!

Рембрандт

(прикладывает палец к губам)

Тсс. Тише, друг! Заткни-ка лучше рот
И не вертись: испачкаешься краской.

Пушкарь

(тихо)

Так это ты предупредил народ,
Что замышляет злое принц Оранский?

Рембрандт

А хоть бы я? О том, что принц кружит
Под городом, успел проговориться
Мне Баннинг Кук спьяна. А я — мужик
И не особенный поклонник принцев.

Пушкарь

(задумчиво)

Так. Понял всё. Одно мне невдомек:
Ведь Молчаливый[1], предок благородный,
В роду у принца. Как он, дьявол, мог
Подняться против вольности народной?

Мортейра

Друг, вы наивны! Принцы каждый раз
Теряют память о высоком прошлом,
Когда им биржа отдает приказ
Купцов избавить от высоких пошлин.
В возвышенных деяниях господ,
Когда о них судить не по старинке,
Есть очень прозаический исход.

Пушкарь

Какой, скажите?

Мортейра

Рынки, милый, рынки!

Пушкарь

Что ж дальше будет?

Мортейра

Нападенье он
Ошибкой объяснит. Влетит солдатам.
Наш магистрат, чтоб соблюсти закон,
Напишет ноту Генеральным Штатам[2].

---

[1] Вильгельм Оранский I, прозванный Молчаливым,— предводитель гезов в их освободительной борьбе против Испании.

[2] Правящее учреждение Соединенных Нидерландов.

Для вида Штаты принца пожурят,
Но, как рука прожорливой утробе,
Он нужен им, чтоб красть чужих курят...

Рембрандт

А будь по мне, так я отсек бы обе!
Пускай отсохнет черная рука,
Что нищего на перекрестке грабит!

Мортейра

Когда-нибудь отсохнет. А пока...

Рембрандт

Смотрю на вас — и удивляюсь, рабби!
Ваш ум, как шпага, светел и остер!
Восстаньте против волчьего закона!..

Мортейра

В моих глазах еще горит костер
На площади высокой Лиссабона.
Я стар. Я робок. Чтоб друзьям помочь,
Нужна отвага, может быть — жестокость.
А у меня, признаюсь, в эту ночь,
Как кастаньеты, кость стучала о кость.
Пусть каждый поднимает что горазд:
Я в почву добрую посеял грозы,
И я надеюсь: мы еще не раз
Услышим имя Баруха Спинозы.

Рембрандт

Что ж! Мудрый филин — проводник зари.
Придет пора, и мы в набат ударим:
Матросы, пивовары, пушкари,
Ремесленники...

4

Хендрике вносит поднос с завтраком. Замечает подслушивающего доктора Тюльпа и, как будто нечаянно, толкает его подносом. Яичница и пиво падают на Тюльпа.

Хендрике

Извините, барин!
(Убегает.)

Рембрандт

(в гневе подходит к доктору Тюльпу)
Вы слушали?! Ах да: ведь он ваш зять —
Наш бургомистр!

Доктор Тюльп

(вытирая платком камзол)

Не для того, поверьте,
Я к вам пришел. Я должен вам сказать,
Что Саския стоит у двери смерти.

Пораженный, Рембрандт отступает.

Рембрандт

Как, сударь?

Доктор Тюльп

(зло)

Вы замучили ее,
И, как свеча, она от горя тухнет.
Здесь ни к чему все знание мое,
Все специи моей латинской кухни.

Входит Людвиг.

Рембрандт

Я поражен... Что делать мне, друзья?..

Доктор Тюльп

Ее леченья дам подробный план я:
Не волновать. Позировать нельзя.
Беречь ее.

Людвиг

(в тон доктору Тюльпу)

Все исполнять желанья.

Доктор Тюльп

Профессоров консилиум сейчас
Созвать к больной.

Рембрандт

(в отчаянии)

Здесь денег нужно море!
А где их сразу взять?

Пушкарь

(к Мортейре)

Тут не до нас.
Пойдем, старик. У человека — горе.

Никем не замеченные уходят.

Рембрандт

(смотрит на модель фрегата)

Модель продать?

Людвиг

Нет, слишком хороша!

Рембрандт подходит к картине Ван-Дейка.

Рембрандт

Спустить Ван-Дейка?

Людвиг

Жалко: это память.

Рембрандт

(берет в руки бюст Гомера)

Бюст заложить!

Людвиг

Не стоит ни гроша
Твой бюст — дешевка, говоря меж нами!

Рембрандт

Ты — мой карман!

Людвиг

Благодарю за честь.

Рембрандт

Флоринов, Людвиг! Денег, Людвиг, денег!
Спаси меня! Есть деньги?

Людвиг

(вынимает из кармана мелкую монету)

Деньги есть:
Один серебряный немецкий пфенниг.
Берешь?

Рембрандт

Ты издеваешься, дурак!

Людвиг

Я не держу наследства под периной.

Рембрандт

Займи мне, друг!

Людвиг

Ты задолжал и так
Двенадцать тысяч золотых флоринов.

Рембрандт

Еще займи!

Людвиг

Нет денег.

Рембрандт

Задуши,
Зарежь, но дай! Ведь не о бабьих фижмах,
О жизни речь!

Людвиг

(вынимает из кармана расписку)

Расписку подпиши.

Рембрандт, не глядя, подписывает.

Ну, понатужусь. Может, что и выжму.

Людвиг с доктором Тюльпом уходят, Рембрандт садится и глубоко задумывается.

5

Входит Саския в домашнем платье, в чепце. Очень бледна, слаба. Идет, держась за стены.

Саския

Я вижу, милый, ты неисправим:
Кто был тут?

Рембрандт

Тюльп и Людвиг.

Саския

А вначале?

Рембрандт

Один — артиллерист, другой — раввин.

Саския

Ты все с подонками. Как вы кричали!
А я и не вздремнула в эту ночь
Под адский грохот пушек Нисверслуйса.

Рембрандт

(усаживает ее в кресло)

Любимая, позволь тебе помочь.
Ты нездорова. Лучше не волнуйся.

Саския

Мне непонятно: что тебя влечет
К ночлежке, к рынку, к улице, к таверне?
Людей из общества — наперечет
В твоем кругу: все больше грязной черни.

Рембрандт

Натуру в них ищу я, может быть,
А может — совесть. Я тебя обидел?
Я, например, не в силах позабыть
Ту карлицу, что в желтом доме видел.
Стояла тьма. Лишь печь была светла.
В ней уголья пощелкивали сухо.
Открылась дверь, и в горницу вошла
Полуребенок и полустаруха.
На поясе ее висел петух,
Халат оранжевый иль одеяло
Влеклось за ней. Казалось, мир потух,—
Так в отблеске огня оно сияло!
Я в первый холст решил ее вписать...
Тебе удобно?

Саския

Да и нет. Не знаю.

Рембрандт

Укрой колени. Посвободней сядь.
Тебе понравилась моя «Даная»? [1]

Саския

Ты не польстил мне там. Я б как-нибудь
Иначе быть написана хотела:
В «Данае» у меня пустая грудь,
Зеленое расплывшееся тело.

Рембрандт

Ты и такой мила мне, жизнь моя,—
С морщинками гусиных этих лапок.
Ужели ты хотела б, чтобы я
Намалевал тебя средь модных тряпок?
Когда б я так исполнил твой заказ,
То оскорбил бы страсть и вдохновенье.

(Вглядывается в Саскию.)

Я уголки не дописал у глаз!
Подвинься к свету на одно мгновенье.

(Снимает с мольберта закрывающее его полотно, садится, берет кисть, начинает писать.)

Тут надо глубже тень. Тут ярче свет.
Здесь глуше тон, а здесь чуть-чуть
цветистей...
Ты дремлешь?

Саския

Да.

Рембрандт

Ты не устала?

Саския

Нет.

Рембрандт вытирает кисть о скатерть.

Опять о скатерть вытираешь кисти?
Я целый год другой тебе не дам!

Рембрандт

Прости, родная: скверная привычка.

Саския

Как скучен этот грязный Амстердам,
Колоколов глухая перекличка,
Да мутные каналы, да туман,
Да черепица крыш, да кафель белый...
Счастливица Елена Фоурман[2]
Там, при дворе принцессы Изабеллы,—

---

[1] «Данаю» Рембрандт писал с Саскии.
[2] Жена Рубенса.

Галантная любовь, театр, пиры,
Дворянские короны на жилищах...

Рембрандт

А знаешь ты, что две мои сестры
Попали в лейденский «Синодик нищих»[1]?

Саския

Ах, бедные... Вот если б Амстердам
Сегодня ночью занял принц Оранский!

Рембрандт

(удивленно)

А что б тогда?

Саския

Он перенес бы к нам
Жантильный дух учтивости испанской.

Рембрандт

Ты вот о чем!

Саския

(мечтательно)

Изысканных господ
Какой цветник пестрел бы в свите
принца!..
Ты что ворчишь?

Рембрандт

Избави нас господь,—
Я говорю,— от этого зверинца.

Саския

(не слушая его)

Все дамы в бархате. А у мужчин
Белеют кружева под шелком черным...
Тебе Вильгельм пожаловал бы чин,
Назначил бы художником придворным,
Ты б написал его парадный въезд:
Чернь рукоплещет!..

Рембрандт

(насмешливо)

Или громко свищет.
Нет, я от принца ни чинов, ни мест
Не принял бы: я живописец нищих.

Саския

Фи, не груби. Тогда твоя жена,
Как Фоурман, блистать бы стала всюду.

---

[1] Список беднейших граждан города.

Рембрандт

Я, правда, позабыл, что ты больна.

Саския

Ты так нечуток!

Рембрандт

Продолжай, не буду.

Саския

Я думаю: какой продавший честь
Клейменный каторжник, забывший совесть,
Сторожевым о принце мог донесть?

Рембрандт

А вдруг бы я сказал им эту новость?

Саския

Тебе, понятно, это всё равно,
Но я считала бы, что ты — предатель!

Рембрандт встает, отбрасывает кисть, подходит к окну.

Рембрандт

А если бы я распахнул окно
И крикнул всем: суконщикам, солдатам,
Часовщикам, ткачам и пастухам,
Страну свою построившим на сваях,
Что хочет растоптать венчанный хам
Всё то святое, чем душа жива их?

Саския

Он, как сапожник, на меня орет!
Ты, видно, пьян?

Рембрандт

Я с грубостями свыкся!
Как думаешь: кого бы весь народ
Назвал предателем — меня иль Сикса?
Кого б тогда браслетами оков
Украсил он и закидал навозом?

Саския

Мне безразлично мненье мужиков:
Я — бюргерша!

Рембрандт

А я — потомок гезов!
Я б сплел для бар,— возьми их всех чума,
Пеньковый галстук, добрую петлю бишь!

Саския

(плача)

Ты груб, ты варвар, ты сошел с ума,—
Ты бессердечен, ты меня не любишь!

6

Входит пастор

Пастор

Воззри, господь, на этот мирный дом.
В нем обитающие да спасутся!

Рембрандт

Кто вы такой и что вам нужно в нем?

Пастор

Смиренный раб из «Общества Иисуса».

Рембрандт

Хочу я лучше знать своих гостей
И в них стараюсь пристальней вглядеться:
Из общества Иисуса на кресте
Или из общества Христа-младенца?

Пастор

(удивленно)

Не всё ль равно?

Рембрандт

Я разницу готов
Вам объяснить и справкой быть полезен:
Иисус родился в обществе скотов,
А умер в обществе головорезов.

Пастор

Кощунствуешь, мой сын!

Саския

Святой отец!
На неразумного свой гнев умерьте!

(К Рембрандту.)

Я умираю! Близок мой конец,
И он меня приготовляет к смерти.

Рембрандт

(волнуясь)

Молчи о смерти! Ведь за каждый миг
Твоих страданий я бы трижды умер!

(К пастору.)

Подите вон отсюда, злой старик!

Пастор

Прости тебя создатель! Ты безумен.

(Уходит.)

7

Рембрандт подходит к Саскии.

Рембрандт

Звезда моя! Любовь моя! Прости!
Я снова позабыл, что ты больная.
Отныне сердце я сожму в горсти
И буду кроток!

Саския

Я тебя не знаю!
Ты пастора прогнал.

Рембрандт

Слащавый пес!

Саския

Не богохульствуй! Без того мне жутко!
Ты об Оранском пушкарям донес!

Рембрандт

Не доносил! Клянусь, что это — шутка!

Саския

Ты скуп! Ты отказался мне купить
Кровать и зеркало! Теперь я знаю,
Что всех твоих дурных поступков нить
Приводит к Хендрике!

Рембрандт

(обнимая ее)

Куплю, родная!
Мне кажется, я стал бы воровать,
Чтоб подарить своей прекрасной даме
И с бирюзовым пологом кровать,
И зеркало в красивой черной раме!

Входит Людвиг

Людвиг

Ну, вот и я. С деньгами худо, брат:
Я их наскреб не много.

Рембрандт

Буду краток:
Я напишу тебе твоих солдат.
Увидишь Кука,— пусть несет задаток.

Картина третья

«НОЧНОЙ ДОЗОР»

1

Комната первой картины. Посреди на мольберте картина «Ночной дозор»[1], Рембрандт кладет на нее последние мазки. Флинк смотрит.

Рембрандт

Еще коснусь кобальтом этих лент,
Чтоб выглядели банты серебристей,—
И все.

Флинк

Какой торжественный момент,
Когда последние удары кисти
По прихоти своей, как некий бог,
Кладет на холст искуснейший художник!

Рембрандт

Да это все равно, когда сапог
Несет на полку, сшив его, сапожник.

Флинк

Груба, сдается вашему слуге,
Такая параллель, скажу открыто.

Рембрандт

Умей увидеть и на сапоге
Бесценное богатство колорита.
Как ты нашел, скажи не лебезя,
«Ночной дозор»?

Флинк

Позвольте вас поздравить!
Так нравится, что и сказать нельзя!

Рембрандт

Ведь вот беда: придется, значит, править!

Открывается дверь, и в комнату заглядывает продавец красок. Рембрандт обращается к нему.

А, старина! Ты что ж просунул нос,
А не войдешь?

Продавец красок

Простите, ради бога!
Я киноварь и зелень вам принес,
Французской синей раздобыл немного.

Рембрандт

О, и французской!

---

[1] Групповой портрет офицеров корпорации стрелков. На нем среди беспорядочной толпы стрелков изображена карлица.

Продавец красок
Вы довольны?
Рембрандт
Да.
(Берет палитру.)
Сейчас мы ею на палитру брызнем.
Попробуем ее. Тащи сюда
Все краски юности, все краски жизни!
(Указывает на картину.)
Как по тебе: удачен этот холст?

Продавец красок рассматривает картину.

Продавец красок
Тут следует немножно тронуть алой,
А этот меч, пожалуй, слишком толст.
Рембрандт
Толст, говоришь? Посмотрим. Да, пожалуй.

Берет кисть, исправляет указанные недостатки. Флинк пожимает плечами и уходит. Входит Хендрике. Рембрандт тщательно завешивает картину. Обращается к Хендрике.

Я к Саскии схожу. Когда придут
Рубаки эти, эти выпивохи,
Ты, Хендрике, будь непременно тут.
Продавец красок
А как дела супруги вашей?
Рембрандт
Плохи!

Уходит вместе с продавцом красок.

2

Хендрике вытирает мебель. Входит Баннинг Кук.

Баннинг Кук
Итак, сегодня свой «Ночной дозор»
Рембрандт покажет нам. Он дома?
Хендрике
Вышел.
Баннинг Кук
(осматривая ее)
Что за фигура! Что за чудный взор!
Ты у него служаночка, я слышал?
Хендрике
Стряпуха я.
Баннинг Кук
Как этот ротик ал!
Как эта ножка грациозна, боже!

Подобных женщин я еще не знал,
Хотя немало за границей пожил!
(Хочет обнять Хендрике.)
Ну, поцелуй меня, душа моя,
Бутончик, пышка, розанчик!

Хендрике
(увертываясь)

Не троньте!

Баннинг Кук

Ты, видно, недотрога. Ну, да я
И не таких обламывал на фронте!
(Вынимает монету.)
Вот, видишь гульден, девушка? Позволь,—
Его я спрячу за твоим корсажем.
(Снова хочет обнять Хендрике, но та опять вырывается.)

Хендрике

Подите прочь!

Баннинг Кук

Да ты святая, что ль?
И ущипнуть не позволяет даже!
(Снова подходит к ней.)
Ты спуталась с Рембрандтом, я слыхал?
Он не дурак! Подобная фигура
Сулит такое счастье!..
(Вновь пытается обнять Хендрике, та дает ему пощечину.)

Хендрике

Вы нахал!
Ступайте вон!

Баннинг Кук

Ах, ты дерешься, дура?!
Так я ж тебя!

Хендрике

Уйдите, шарлатан,
Не то я вам еще прибавлю малость!

Баннинг Кук

Ах, ты дерешься, дура!
Так получай же сдачу...
(Хочет ударить ее, но вошедший Фабрициус схватывает его за руку. Хендрике с плачем убегает.)

Фабрициус

Экой срам!
А я слыхал, скажу вам для примера,

Что трогать слабых беззащитных дам —
Поступок недостойный офицера.

(Баннинг Кук вырывается.)

Баннинг Кук

Пусти, мужик! Довольно ересь плесть!
И поделом ей! Мало всыпал, жалко!

Фабрициус

Мундир на вас, а где же ваша честь?

Баннинг Кук

Она не дама, а всего служанка.

Фабрициус

Ну, все-таки! Бабье — народ чудной!
На целый свет ославят вас — и баста!
Когда б вы так расправились со мной,
То вы могли бы этим даже хвастать!

Баннинг Кук

Ты думаешь?

Фабрициус

Уверен! А когда б
Я всыпал вам...

Баннинг Кук

Презренная скотина!
Да где ты это слышал, грубый хам,
Чтобы мужик осилил дворянина?

Фабрициус

Бывали случаи.

Баннинг Кук

Ты врешь, дурак!

Фабрициус

(бьет его)

Вы получали оплеуху звонче?
Я оскорбил вас, сударь?

Баннинг Кук

Ах, ты так?
Молись, несчастный! Я тебя прикончу!

(Бросается на Фабрициуса. Дерутся. Фабрициус избивает его, валит на пол, садится на него верхом.)

Пусти меня, проклятый шарлатан!

Фабрициус

Сейчас пущу, прибавлю только малость!

(Бьет его.)

3

Входит Сикс, в изумлении останавливается.

Сикс

Я вижу, вас колотят, капитан?

Баннинг Кук

(Встает. Смущенно.)

Любезный Сикс! Вам это показалось!

(Оправляясь.)

Затронь меня какой-нибудь нахал!..
Какие сны нелепые вам снятся!
Я просто поскользнулся и упал,
А этот тип мне помогал подняться.
Я б из него не за удар — за звук
Котлету сделал, не жалея трости!

(Гордо.)

Еще никто, не будь я Баннинг Кук,
Не бил меня, клянусь игрою в кости!

Оба усаживаются в кресла. Фабрициус уходит.

Сикс

Что слышно?

Баннинг Кук

Выучили назубок
Приветствие Рембрандту офицеры!

Сикс

Не рано ли? Блестящ, но неглубок
Талант Рембрандта. Он не знает меры.

Баннинг Кук

(подозрительно)

Вы видели картину?

Сикс

Да, видал.
И мне за вас, признаться, стало стыдно.

Баннинг Кук

(волнуясь)

А что: скандал?

Сикс

Не то чтобы скандал,
Но уваженья к армии не видно.
Посередине черного холста
Весьма небрежно намалеван кто-то
В нелепой позе, длинный, как глиста,
С лицом, простите, полуидиота.

Баннинг Кук

(испуганно)

Не я ли, черт возьми?

Сикс

Как будто вы.
А впрочем, мне могло и показаться.

Баннинг Кук

Жаль, я не слушал голоса молвы!
Чего и ждать от этого мерзавца?

Сикс

От вас налево изображена
Уродливая шлюха или сводня,
И кажется, что вот сейчас она
Вас за ноги потащит в преисподню.
На поясе ее висит петух...

Баннинг Кук

Петух?!

Сикс

Петух — не больше и не меньше!
В такую мог бы втрескаться пастух,
И то лишь тот, что год не видел женщин.
Хотя б красавица, а то — урод!
Вам всем она, ну, разве по колена!

Баннинг Кук

Канальство! Что подумает народ?
Что скажут девушки? Да тут измена!

Сикс

А компоновка!

Баннинг Кук

Я велел подряд
Нас всех построить. Что же компоновка?

Сикс

Не то чтоб, скажем, смотр или парад,
А прямо свалка, прямо потасовка!

Баннинг Кук встает и смотрит на часы.

Баннинг Кук

Теперь четыре только. До пяти
Я сбегаю в казарму и обратно.
Послушайте: сюда должны прийти
Мои ослы с приветствием Рембрандту.
Я умоляю вас не уходить,
И если я не встречу их, как друга,
Прошу строжайше их предупредить
Что тут нужны не похвала, а ругань.

(Уходит.)

Входят несколько купцов с дамами.

Сикс

Ба, амстердамской биржи короли!

Первый купец

Вы, бургомистр, острите бесподобно!

Первая дама

Ну вот, мы первыми пришли,
А первыми являться неудобно.

Первый купец

Э, ничего. Тут можно и без мод.

Первая дама

Но нужен лоск: мы в люди вылезаем.

Второй купец

Просмотр-то будет?

Сикс

Будет вам просмотр!

Третий купец

Вы, бургомистр, один? А где ж хозяин?

Сикс

Он вышел в сад. Его звала жена.
Я шел сюда, а он отсюда, мимо.

Вторая дама

Она больна, бедняжка?

Сикс

Да, больна.
И кажется, увы, неизлечимо.

Третья дама

Но что же с ней?

Сикс

Печали извели.
Врачи болезни не дают названья.
Ни ванны снежные не помогли
Несчастной этой, ни кровопусканья.

Первый купец

Да, как, друзья, ни тянетесь вперед,
А все равно в землицу превратитесь!

Сикс

Я думаю: когда она умрет,
Что будет делать сын Рембрандта — Титус
Без матери?

Второй купец

Но, говорят, отец
Влюблен в него.

Сикс

Ну, мало ль слухов ложных?
Он легкомыслен, молод, наконец,
Да и притом, заметьте, он художник.
Он ищет в странном обществе, на дне
Утех себе, хоть целым светом признан.
Сознаюсь вам: недавно он при мне
О детях говорил с таким цинизмом!
Я повторять боюсь, стесняясь дам.

Третий купец

Ну, дамы роли вовсе не играют!

Сикс

Рембрандта дети, как известно вам,
Живут недолго, быстро умирают.
И вот сказал какой-то шут
За доброй кружкой пива, в месте злачном,
Что, мол, картины у тебя живут,
Зато ребята, дескать, неудачны.

Первая дама

Пошляк!

Сикс

А знаете, каким словцом
Ответил он? Я сам тут был воочью:
Что, мол, картины я рисую днем,
А ребятишек сочиняю ночью.

Вторая дама

Какая гадость!

Третья дама

Что за дерзкий тон!

Первая дама

Подобному бесстыдству нет примера!

Сикс

Он мот к тому ж.

(Указывает на безделушки.)

Вот, что любит он:
Шлем великана, голова Гомера.
Безделушки! Зачем они нужны?
Нет, он оставит Титуса без крова!
Убей он на лечение жены
Треть их цены, она была б здорова!

В утрате он утешится тотчас,
Его печаль не будет долголетней:
Жена еще не закатила глаз,
А мужа с горничной связала сплетня!
Пусть я к Рембрандту отношусь, как брат,
И гений вижу в этом человеке,
Как бургомистр, я скоро в магистрат
Вношу проект о Титуса опеке!

Первый купец

Мы все поддержим!

Второй купец

Ясно, мы его
Лишим отцовской власти всенародно!

Вторая дама

Какой разврат!

Третья дама

Какое мотовство!

Третий купец

А все-таки художник очень модный.

(к жене)

Мне помнится, что ты, душа моя,
Портрет Рембрандту заказать хотела?

Сикс

У Ван дер Хельста [1] — гамма хороша!
Какой художник! Как он знает тело!
Любимец дам!.. Не собираюсь я
И у Ван-Рейна отнимать таланта,
А все ж позирует жена моя
У Ван дер Хельста, а не у Рембрандта.
Проси его да денежки тащи,
А, надобно сказать, дерет он много.
Его клиенты — это богачи!
Мы думаем повысить им налоги.

Третий купец

Да, нет, я к слову... После как-нибудь...
Так через год... Сейчас и денег нету..

Сикс

(вставая)

Да, надобно их встретить как-нибудь
И предварить, пока Рембрандта нету.

---

[1] Ван дер Хельст — второстепенный художник, современник Рембрандта.

4

Входит Рембрандт

Рембрандт

Кровавый кашель ей терзает грудь...
Ах, Саския!..

Сикс

(небрежно)

Простуда, верно, это...
Держите выше голову в беде!
Врачам не верьте! Их слова — химеры!
Ну, как, мой Аполлон, во всей красе
Открыть картину вашу не пора ли?

Рембрандт

Еще стрелки придут.
(Замечает натянутые физиономии купцов и дам.)
Да что вы все
Сидите, словно в рот воды набрали?
(Беспокойно выглядывает в окно, идет к двери.)
Мне надо показаться кое-где,
Я вмиг вернусь.

В это время, маршируя, входят четырнадцать офицеров корпорации стрелков под командой лейтенанта.

Рембрандт

А вот и офицеры!
Ну, значит, все, кто приглашен, сошлись.
А где ж почтенный Кук, вояка жирный?

Лейтенант

Ать-два! Ать-два! Равняйся! Становись!
В шеренгу стройся! Офицеры, смирно!

Стрелки выстраиваются в шеренгу перед завешенной картиной.

(Обращается к Рембрандту.)

Он должен был в казарму к нам зайти
И привести стрелков на этот праздник,
Но, видимо, в харчевню по пути
Забрался горло промочить проказник
И там застрял. Да это ничего!
Я, как дежурный офицер по ротам,
Сам открываю наше торжество.
Приветствие разучено по нотам!
Извольте слушать, господин Рембрандт.
(Поворачивается к стрелкам.)
Стрелки, вниманье! Деккер, не картавить!
(Дирижирует.)

Стрелки

(хором)

Прекрасная! Картина! Лейтенант!
Позвольте! Нам! Художника! Поздравить!

Рембрандт

Но он еще завешен, ваш портрет,
Вы восторгались, так сказать, заочно.
Вы видели картину?

Стрелки

Никак нет!

Рембрандт

И вам она понравилась?

Стрелки

Так точно!

5

Рембрандт подходит к картине и открывает ее. Все толпятся вокруг. Вбегает Баннинг Кук.

Баннинг Кук

(к лейтенанту)

А я бежал за вами по пятам!
Вас Сикс предупредил хоть на словах-то?

Лейтенант

Действительно, картина, капитан,
Божественна!

Баннинг Кук

Семь суток гауптвахты!

Лейтенант

Но вы велели нам хвалить ее
И живописца что есть мочи славить
За этот холст...

Баннинг Кук

На сутки под ружье!
Стрелки, молчать! Приветствие отставить!

Рембрандт

Что это с вами приключилось, кум?
Чего вы вдруг взъерошили щетину?

Баннинг Кук

Прошу полегче, господин пачкун!
Вы написали мерзкую картину!

Рембрандт

Да ну?

Баннинг Кук

Чтоб так изобразить меня,
Как я тут вышел, надо быть невежей!

Рембрандт

Тут непохож всего один синяк,
Да ведь и он у вас как будто свежий.

Первый стрелок

Здесь у Клааса — сено в бороде!

Второй стрелок

А Ян — кривой!

Рембрандт

Вам на нос села муха!

Входят Флинк и Фабрициус.

Баннинг Кук

Где пышность тут? Я спрашиваю, где
Субординация? А потаскуха,
Что, семеня, кривляется у ног
Растерянных уродов в этой куче?
Ужели б честный офицер не мог
Себе найти красавицу получше?
А колорит? Да это же конфуз!

Флинк

Да, колоритец черноват, учитель.

Рембрандт

В картине есть и несомненный плюс.

Баннинг Кук

Какой?

Рембрандт

А тот, что вы на ней молчите.

Лейтенант

Нет, я тут, честно говоря, не франт!
Мои манжеты словно из муслина,
А не из шелка.

Баннинг Кук

Браво, лейтенант!
Хоть под конец ты вспомнил дисциплину!
(К Рембрандту.)
Картина ваша, сударь, клевета
На армию, чей стяг в боях прославлен.
Я думаю, что это неспроста,
И я вопрос, где надобно, поставлю!

Пускай рассмотрят ваш «Ночной дозор»
И сделают необходимый вывод.
(К стрелкам)
Позор ему, стрелки!

Стрелки
(хором)
Позор! Позор!

Рембрандт
(к Баннингу Куку, указывая на стрелков)
Пусть эти безнадежны, ну, а вы вот
Скажите: что от прямоты войны
У вас осталось? Проданные шпаги?
Широкие атласные штаны?
Воротники из золотой бумаги?

Входит Сикс и вслушивается в речь Рембрандта.

Нет, Баннинг Кук! Кому-кому, а вам
Корить меня предательством негоже!
Хотите знать, в каком бы виде сам
Вас написал, чтоб были вы похожи?
Оранскому несущими ключи
От города...

Баннинг Кук
Ни слова!

Рембрандт
На коленях
Перед его высочеством...

Баннинг Кук
Молчи!

Рембрандт
Берущими от принца бочку денег!
Прохвостами без чести и стыда,
Торгующими родиной украдкой...

Выступает Сикс.

Сикс
Вы расшумелись. Тише, господа.
Как бургомистр, я требую порядка.

Рембрандт отходит от стрелков и подходит к Сиксу.

Рембрандт
В штыки встречает бедный мой талант
Толпа вояк, до этого немая.
Что с ними?

Сикс
Право, господин Рембрандт,
Я их решительно не понимаю.

6

Входит Людвиг.

Людвиг

Я, видно, опоздал на торжество?

Баннинг Кук

(яростно)

Пускай пираты вздернут вас на стеньгу,
Мошенник вы за это сватовство!
Давайте нам обратно наши деньги!

Людвиг

(испуганно)

Но что случилось, именем Христа?

Баннинг Кук

Что жулик вы от головы до пяток,
И этого бездарного холста
Мы не возьмем! Верните нам задаток!

Людвиг

Холст неудачен? Ну и чудаки!
Сейчас и взбеленились! Так и пышут!
Любезный Кук! Да это пустяки!
Рембрандт его вторично перепишет.

(К Рембрандту.)

Не правда ли?

Рембрандт

Нет, не перепишу.
Как пес хвостом, я кистью не виляю.

Людвиг

Ну, не дури! Ведь я тебя прошу!

Рембрандт

И не проси.

Людвиг

Рембрандт, я умоляю!
Ну, согласись! Не будь упрямцем, брат!
Сам посуди: не выложить на стол же
Флорины им? Одумайся, Рембрандт!
Не будем ссориться. Ведь ты мне должен.

Рембрандт

Торгуй сельдями, в бочке их соля:
Не продаются кисть, перо и лира.

Людвиг

(кричит)

Тогда я взыскиваю векселя
И без штанов пущу тебя по миру!

Рембрандт

Я знал, что это у тебя в уме,
И ожидал уловки самой низкой.

Людвиг

Ты насидишься в долговой тюрьме!

(Вынимает из кармана расписку Рембрандта.)

Не забывайся! Вот твоя расписка!

К нему подходит Сикс, берет его под руку, отводит в сторону.

Сикс

(тихо)

Остепенитесь. Кто же так орет?
«Штаны»... «Тюрьма»... Что за язык суконный?
Тут надо делу дать законный ход.
Вы понимаете меня? За-кон-ный.

Вместе уходят.

7

К Рембрандту подходит Флинк.

Флинк

Учитель мой, я был у Тюльпа. Он
Рекомендует мне начать леченье.

Рембрандт

Ты что, объелся?

Флинк

Нет, но принужден
У вас на время прекратить ученье.

Рембрандт

Куда ты гнешь, я что-то не пойму?

Флинк

(бормочет)

Деньжонок мало... слабое здоровье...
Письмо от папеньки... У вас в дому
И я, представьте, начал кашлять кровью...
Увы, я вынужден покинуть вас...
Не прогневитесь, умоляю слезно...

Рембрандт

Ах, ты бежишь? Ну, что же: в добрый час!
Беги, сынок, беги, пока не поздно!
Мы — разные...

Флинк уходит.

Рембрандт

(к Фабрициусу)

А ты-то что молчишь?
Ведь и тебя, наверно, ужас гонит?
Спасайся вплавь, как судовая мышь
Спасается, когда фрегат затонет.
Ты тоже болен? Говори же! Ну?

Фабрициус

Я не уйду, хозяин. Я без лести.
Как ракушка, приставшая ко дну,
Я затону с моим фрегатом вместе.

С криком вбегает Хендрике.

Рембрандт

(к ней)

А ты зачем врываешься, крича?
И без того собранье наше бурно.
Чего тебе?

Хендрике

(кричит)

Врача сюда, врача!
Скорей врача! Хозяйке очень дурно!

Рембрандт убегает из комнаты.

Картина четвертая

ЗЕМЛЯ УЦ[1]

1

Мастерская Рембрандта. Хендрике стирает белье.
Входит пастор.

Хендрике

Благословите, пастор!

Пастор

(благословляя)

Я, сестра,
Пришел потолковать с тобой и с мужем.

Хендрике

С хозяином? А он еще с утра
Ушел из дому.

Пастор

Жалко. Он мне нужен.

---

[1] «Жил человек в земле Уц, имя же ему — Иов» (Начало книги Иова в Библии).

Хендрике

Я всё, что вы велите, передам
Рембрандту, пастор. Я его служанка.

Пастор

Не лги, дитя. Ведь целый Амстердам
Твердит, что ты — Рембрандта содержанка.

Хендрике

На нас клевещут злые языки.
Нас оболгали недруги во многом.

Пастор

Грешно, сестра моя, втирать очки
Посреднику между собой и богом.

Хендрике

Спаси меня господь от этой лжи!

Пастор

Ты посещаешь храм господень?

Хендрике

Часто.

Пастор

Ты веришь в бога?

Хендрике

Верю.

Пастор

Так скажи:
С ван Рейном ты сожительствуешь?

Хендрике

Пастор!..

Пастор

Дитя, не отпирайся наконец.
Сознайся лучше, что сошлась
с Рембрандтом.

Хендрике

(потупясь)

Он одинок. Он год уже вдовец.

Пастор

А ты — девица?

Хендрике

Я — вдова сержанта.

Пастор

До слуха моего дошло, что вы
Погрязли оба в гибельном разврате.

Хендрике

(волнуясь)

Не верьте, пастор, голосу молвы:
Я помогла вдовцу в его утрате!

Пастор

Допустим, дочь моя, что это так.
Мужчина овдовел, а ты и рада!
Но церковью не освященный брак
Всё ж есть разврат, ведущий в лоно ада.

Хендрике

Да грех ли — помощь?

Пастор

Я тебя прерву.
Скажи во имя вечного спасенья:
Ты с ним живешь как с мужем?

Хендрике

Да... живу...

Пастор

Тогда приди в общину в воскресенье.

Хендрике

Зачем?

Пастор

(грозно)

Молись, распутница, творцу!
За любострастие с чужим мужчиной
Тебя зовет, как блудную овцу,
На строгий суд церковная община!

Хендрике

(плача)

Уж если беды, так со всех сторон!
За горем горе! Господи, за что же?

Пастор

А чтоб сильней почувствовал и он
Удар карающей десницы божьей,—
Ты передашь ему мое письмо.
(Дает Хендрике письмо.)
И для него в общину вызов это.

Хендрике

(плача)

Недаром он вчера разбил трюмо.
Я говорила: скверная примета!

Пастор уходит.

2

Входит Рембрандт

Рембрандт

Ты плачешь, Стоффельс?

Хендрике

(вытирая слезы)

Что вы, сударь! Нет.

Рембрандт

Я вижу: плачешь!

Хендрике

Может быть... Немножко...

Рембрандт

О чем же ты?

Хендрике

Глаза мне режет свет,
Что с набережной падает в окошко...
Да это вздор! Хотите, барин, есть?

(Вынимает из печи кушанья.)

Вот колбаса с подливкою капустной,
Здесь пирожки, тут суп со спаржей есть.

Рембрандт

Нет... Мне сегодня почему-то грустно.
Ты помнишь, как хозяйка умерла
И как в гробу лежала в платье бальном,
Как амстердамские колокола
Над шествием звонили погребальным,
И как она любила этот дом
С уютным садом, с тихим бельэтажем,
Как в катафалке, под уздцы ведом,
Шел черный конь, украшенный плюмажем,
Как нищие за белым гробом шли,
А в нем желтел ее невинный профиль,
И как на Зюйдерзее[1] корабли
Прощались с ней... Ты снова плачешь,
Стоффельс?

Хендрике

Нет, сударь, нет!

Рембрандт

А всё же я сильней,
Чем даже смерть!

---

[1] Гавань в Амстердаме.

Хендрике

Вы фантазер, мой барин.

Рембрандт

Моя палитра властвует над ней!
Ей не свалить меня одним ударом!
Я Саскию нанес на полотно,
И пусть, сбирая урожай обильный,
Смерть скосит десять поколений, но
Она, зубами лязгая бессильно,
Не раз минует чистый образ тот,
То полотно, что, как письмо в конверте,
К потомкам отдаленнейшим дойдет
И тронет их. Да, я сильнее смерти!

Хендрике

Грешно так думать.

Рембрандт

(берет со стола раковину и подносит к уху Хендрике)

Вслушайся на миг,
Как в этой раковине гул прибоя
Еще гремит, хотя прибой утих!..
Опять ты плачешь, Стоффельс? Что с тобою?

Хендрике

Ах, у меня на сердце тяжело!

Рембрандт

Всё от «дурной приметы»? Ты всё та же!

Хендрике

Вас полюбив, я причинила зло
Покойнице, и бог меня накажет.

Рембрандт

За что? Ты скрасила мое вдовство,
Подруги лучше не могу желать я.
Ты, чтоб не трогать скарба моего,
Шла продавать свои чепцы и платья,
Оберегала мой покой и честь
И Титусу за мать бывала часто.
Я всем тебе обязан...

Хендрике

Барин, здесь
Письмо для вас принес недавно пастор
И строго-настрого велел мне, чтоб
В приход явилась я на суд общины.
(Передает ему письмо.)
Вот вам письмо.

Рембрандт

Ах, снова этот поп!
Так вот в чем горьких слез твоих причина!
Сейчас посмотрим, что он пишет тут.

(Читает.)

«Написано в четверг седмицы чистой.
Художника Рембрандта прибыть в суд
Зовет община братьев-кальвинистов.
Зане, не будучи супругом ей,
Художник этот, с дьяволом условясь,
Живет в бесстыдном блуде со своей
Служанкой Хендрике, прозваньем Стоффельс,
И, вопреки заветам древних книг,
В своей гордыне демонской возвысясь,
Писать дерзает образы святых
С евреев нищих оный живописец.
В его картинах благочестья нет.
Понеже нет благообразья в типе
Натурщиков. Пример тому — портрет
Иосифа, бегущего в Египет.
Он, осквернив святое ремесло,
Ответить должен». Подпись иерея,
Печать общины, месяц и число...
Они и были нищие евреи!
Кто б в этих плотниках да рыбаках
Узнал изнеженных святых Фьезоле[1]?
Они ходили в грубых башмаках,
И на руках у них цвели мозоли.
Пускай понять Италию я мог,
Но подражать ей не учился сроду:
Что скажет щуплый итальянский бог
Веселому фламандскому народу?..
Я не подсуден этому суду
И не явлюсь. Да и тебе не надо
Ходить туда.

Хендрике

Нет, сударь, я пойду.

Рембрандт

Зачем?

Хендрике

Меня пугают муки ада.

Рембрандт садится рядом с Хендрике и обнимает ее.

---

[1] Фра Джиованни Фьезоле — итальянский живописец XV века, писавший слащавые образы святых и ангелов.

Рембрандт

Ну полно, успокойся, не дрожи!
Пускай враги идут сюда гурьбою!
Что могут все святоши и ханжи,
Все лицемеры сделать нам с тобою?

Хендрике

О барин, очень многое!

Рембрандт

А я
Лишь посмеюсь над их вознею жалкой!
(Вынимает из шкафа богатые женские одежды.)
Ты хочешь быть принцессой, жизнь моя?

Хендрике

Я не принцесса, сударь. Я — служанка.

Рембрандт

(подавая ей одежды)

Вот кашемировые ткани. Тут
С брильянтом диадема. Здесь кораллы.
Надень-ка их. Кораллы подойдут
К твоим губам, что так бессмертно алы!

(Одевает ее.)

Примерь накидку с бахромой густой.
На пальчики, что чистили картофель,
Я перстенек надену золотой.

(Одев Хендрике, повертывает ее к свету.)

Ты не служанка, ты принцесса, Стоффельс.

(Любуется ею.)

Как ты нежна, смугла и горяча!
Как царственно блистает взор твой синий!

Хендрике

Я, барин, только дочка трубача!

Рембрандт

Молчи! Я напишу тебя богиней!
Так напишу, что будут влюблены
В тебя цари и принцы!

Хендрике

Что вы! Принцы!

Рембрандт

Пускай они в порфирах рождены,
Они не стоят твоего мизинца!
Я и себя у твоего плеча
Изображу...

Хендрике

Я неровня вам, барин!

Рембрандт

Сын мельника и дочка трубача,—
Клянусь палитрой,— неплохая пара!..
Ну, не ходи в общину!

Хендрике

Нет, пойду.

Рембрандт

(смотрит в окно)

Кто к нам идет? Я что-то плохо вижу.

Хендрике

(испуганно)

Ах, сударь, вы накликали беду!
Наш бургомистр, посредник ваш бесстыжий,
Толпа людей, какой-то молодец
В судейской форме, в шапочке юриста,
Пять стражников, подводы и писец,
И впереди других — судебный пристав.

3

Входят Сикс, Людвиг, судебный пристав, писец, стражники, горожане.

Судебный пристав

Кто тут Рембрандт ван Рейн, художник?

Рембрандт

Я.

Судебный пристав

В согласии с указом магистрата
Вас выселить из вашего жилья
Явились мы.

Рембрандт

Нежданная утрата!..

Судебный пристав

Всю движимость, какая есть у вас,
Мы распродать должны.

Рембрандт

За что так жестко
Нельзя ль узнать?

Судебный пристав

Об этом был указ
Глашатаем прочтен на перекрестках.
Извольте выслушать его и вы.

(К писцу.)

Писец! Начните, если вы готовы.

Писец

(читает)

«На основании второй главы,
А именно — параграфа шестого
Законов наших, суд и магистрат
Решили дело, в коем...»

Рембрандт

Что за бредни!

Писец

«...ответчиком является Рембрандт,
А в иске просит Людвиг Дирк, посредник.
Нотарьус доложил суть дела их.
Дирк, будучи Рембрандту другом близким,
Ссудил сто двадцать тысяч золотых
Последнему (предъявлена расписка)».

Рембрандт

Сто двадцать тысяч! Людвиг, ты в уме?!

Писец

Вы мне читать мешаете!.. «Ответчик,
Истцом предупрежденный о тюрьме,
Сказал ему, что расплатиться нечем.
Суд порешил: в уплату иска — дом
Ответчика с усадьбой семь на десять,
А также всё, что в нем или при нем,
Отдать истцу, их тяжбу зрело взвесив».
(Свертывает указ. К Рембрандту.)
Ну, вот и всё. Ты понял наконец?
Так выметайся! Нечего коситься!

Рембрандт

Позвольте, сударь. Если вы — писец,
То следственно, супруга ваша — псица.
Уж где тут помнить совесть или честь!
Но суть не в этом... Я теряю разум!..
Где ж справедливость?.. Людвиг, это месть?..
Кто подписался под таким указом?

Сикс

(к писцу)

Вы не дочли указ. А я всегда
Велю закон блюсти как можно строже.

Писец

Тут дальше речь про этого жида,
А про Рембрандта нет.

Сикс

Извольте все же
Дочесть указ уж потому хотя,
Что прозвучала тут о мести фраза.
Пускай ответчик, подписи прочтя,
Не заподозрит подлинность указа.

Писец

Что ж, ваша милость, я могу прочесть.

(Читает.)

«До всех, кто верует, во имя бога,
Об отлучении Спинозы весть
Хоральная доводит синагога:
Израиля врагами научен,
Закон колеблет еретик Спиноза,
А потому да будет вынут он
Из тела иудейства, как заноза!»

Рембрандт

Барух Спиноза! Ба! Натурщик мой!

Писец

«Пусть голодом язвим и мучим страхом,
Бездомен будет летом и зимой
Вероотступник этот, этот ахер[1],
И отлучен, и погружен во тьму,
И, как евреи из страны Мицраим[2],
Везде гоним. Проклятие ему
Изрек раввин Манассе бен-Израиль.
Пусть, на людей поднять не в силах глаз,
В лесах скрывается, подобно зверю.
В осведомленье граждан сей указ
Составлен и подписан...»

4

Рембрандт

Верю, верю!
Поди не верь, коль даже бургомистр
Любуется, как в цирке на балконе,
Моей бедой.

---

[1] По-древнееврейски — чужой.
[2] Название Египта.

Сикс

Ваш вывод слишком быстр;
Я охраняю вас от беззаконий.

Рембрандт

От беззаконий? Что ж тогда закон?
Ведь дело то, что сделал Людвиг,— низко!

Сикс

Истец ваш действовал по форме: он
Сбор оплатил и предъявил расписку.

Рембрандт

Поддельную!

Сикс

Что делать, мой Рембрандт!
По чести, я помочь вам прямо жажду!
Но я не бог. Я только бюрократ,
Как правильно сказали вы однажды.

Рембрандт

Теперь мне все понятно: это месть
За принца, за сторожевую башню!

Сикс

Я к вам,— тому моя порукой честь,—
Настроен с благосклонностью всегдашней.
Припомните: я вас предупреждал,
Я говорил, быть может, даже резко,
Что шутки ваши вызовут скандал.

Рембрандт

Нет! Это вы подстроили в отместку!

Сикс

Я вас прошу, чтоб доказать, что нет,
Об одолженьи: будьте так любезны,
Не откажите сделать мой портрет.
Вам золото теперь небесполезно.

Рембрандт

(Внимательно и долго глядит на Сикса.)

Согласен. Ладно. Я вас напишу
Холодной серой сепией.

Сикс

Я тронут.
И как-нибудь к вам загляну.

5

Судебный пристав

(к стражникам)

Тащите все сюда, что в доме есть,
Мы здесь же и устроим распродажу.

Стражники расходятся по дому и начинают сносить в мастерскую вещи.

Первый стражник

Вот бирюзовый бархат, ваша честь.

Второй стражник

Вот шляпа с белым кружевным плюмажем.

Третий стражник

Вот золотая цепь, да как длинна!

Рембрандт

Берите все, что только взять возможно!
Не бархат мне, а синь его нужна,
Не золото, а блеск его тревожный.

Входит Фабрициус. Стражники вносят кровать с голубым пологом и зеркало в черной раме.

Четвертый стражник

Вот зеркало и скатерть со стола.

Пятый стражник

А вот кровать с альковом.

Первый горожанин

Это дело!
Я взял кровать.

Рембрандт

Она на ней спала!

Второй горожанин

Я — зеркало!

Рембрандт

Она в него глядела!

Первый стражник

Вот занавес.

Второй стражник

Я ларчик вам принес.

Взглянув на ларец, Рембрандт хватается за сердце.

Фабрициус

Что с вами?

Рембрандт

Душно... В сердце боль тупая...

Людвиг

А что в ларце?

Второй стражник

Безделка: прядь волос.

Рембрандт

(бросается к ларцу)

Отдайте мне...

Судебный пристав

Купите.

Рембрандт

Покупаю.

(Роется в карманах, находит всего одну монету.)

Монета лишь...

Фабрициус

(подавая ему еще одну)

Возьмите и мою.

Рембрандт

А что тебе останется на ужин?

Людвиг

Позвольте! Я ларец не продаю.
Он мой теперь! Он самому мне нужен!

Отбирает ларец. Рембрандт идет за ним.

Рембрандт

Отдай мне ларчик! Я тебя прошу!
Отдай во имя рая или ада!
Отдай! Я новый вексель подпишу!

Людвиг

Теперь мне векселей твоих не надо.

Рембрандт безнадежно отходит в сторону. Входит Флинк. Во время его разговора с Рембрандтом стражники вносят в мастерскую новые вещи.

6

Рембрандт

(мрачно)

Ну, как дела, почтенный хиромант?
Прошла у вас желудочная боль-то?

Флинк

Не надо лучше, господин Рембрандт!
Я в мастерской у метра Миревольта.
Какой художник! Что за колорит!
Куда там к шуту всяким... староверам!
Под кистью метра полотно горит!
Не мудрено: французская манера!

Рембрандт

Да, уж в какой трактирчик ни залезь,
Везде теперь поют французам оды.
Я слышал — и французская болезнь
Становится последним криком моды.

Флинк

Флорины к метру льются в три ручья!
Поверите ль? Рекой текут заказы!
У Миревольта в студии и я
Набил карман, признаться, до отказа.
Мне у него на диво повезло,
А ведь от вас ушел в одной сорочке!
Я обнаглел и, всем чертям назло,
Посватался к его смазливой дочке.
И, видимо, придется вить гнездо
Да звать учителя любезным тестем.
Я к вам зашел гардины из Бордо
Приторговать в презент моей невесте.

Рембрандт

Что ж, обратитесь в Людвигу.

Фабрициус

(подходит к Флинку)

Осел!
Проваливай отсюда, как ты низок!

Флинк убегает.

7

Вся обстановка дома Рембрандта и все его вещи снесены в мастерскую.

Третий стражник

Ну, вот и всё.

Людвиг

Как все? Еще не все!
Еще осталось много!

(Роется в карманах.)

Где мой список?
Позвольте мне проверить! Как назло,
В карман куда-то книжка завалилась...

(Вынимает записную книжку и читает.)

Тетрадь гравюр Гольбейна и Калло?

Судебный пристав

(проверяя)

Гравюры все на месте, ваша милость.

Людвиг

Медали?

Судебный пристав

Есть.

Людвиг

Шлем великана?

Судебный пристав

Есть.

Людвиг

А тот камзол, где бок немножко в сале?

Фабрициус

Ага! Так вот зачем вы, ваша честь,
Покупки наши в книжечку списали!

Людвиг

Молчи!

Судебный пристав

(глядя на Рембрандта)

Камзол ответчиком надет.

Людвиг

Кораллы где? Накидка, что из пуха?
Кольцо?

Судебный пристав

Накидки и кораллов нет.

Людвиг

(узнавая эти вещи на Хендрике, срывает их с нее)

Ах, вот они! Разоблачайся, шлюха!

Рембрандт

(схватывая ружье из наваленной на полу груды оружия)

Прочь от нее, иль я возьму ружье!
Ее подметки ты не стоишь даже.

Людвиг

(перехватывая ружье)

Здесь ничего нет твоего! Здесь всё мое!
Попробуй взять: в тюрьму пойдешь за кражу!
Ступай отсюда вон!

Хендрике снимает с себя надетые на нее Рембрандтом одежды, берет котелок и свечу в подсвечнике, кладет их в мешок, завязывает веревкой.

Хендрике

Сейчас... сейчас...
Мы только котелок, где пищу варим,
Возьмем с собой, и если гонят нас,
То мы уходим... Не сердитесь, барин...

Людвиг

Ни щепки брать не позволяю я!

Хендрике

Да это, сударь, свечечка... веревка...

Людвиг

Моя веревка, и свеча моя,
И мой мешок! Не смей их брать, воровка!
Оставь подсвечник: он посеребрен!
И этот котелок для варки пищи
Поставь на место! Выметайся вон
Отсюда, девка! Твой хозяин — нищий!

Рембрандт

Пойдем, старуха.

Людвиг

Да, ступай плясать
И петь в харчевнях, грубая скотина!

Рембрандт

(задумчиво)

Теперь я Иова начну писать.

Людвиг

(не расслышав)

Что, что писать? Доносы?

Рембрандт

Нет, картину.
Я, Людвиг, ухожу. Но берегись:
Я так тебя ославлю, что покуда
Земля стоит и существует высь,
Все будут говорить, что ты — Иуда,
Разбойник подлый...

Писец

Я вас перебью:
Когда ответчик делом недоволен,
В его правах претензию свою
Здесь изложить — в судебном протоколе.

(Протягивает Рембрандту протокол.)

Рембрандт

Ну что ж, пиши. Мой почерк груб и куц,
А ты и подлость выведешь красиво.

(Диктует.)

«Жил человек в земле восточной Уц,
И было имя человеку — Иов».

Картина пятая

НА «КАНАЛЕ РОЗ»

1

Комната с убогой обстановкой в гостинице. На стене висит этюд «Туша вола». Постаревший Рембрандт сидит перед мольбертом с недоконченным автопортретом. На постели лежит красный тюльпан.

Рембрандт

Подходит ночь, а Хендрике всё нет.
Как в этой комнате темнеет быстро!
Почти окончен мой автопортрет.
Уж я не ждал, что вдохновенья искра
Блеснет во тьме, что творчество придет
Согреть меня в беде и в униженье...

(Протирает глаза.)

Недолго поработал я — и вот
Уже глазницы разъедает жженье.
Да, надобно спешить. В конце концов
Мне пятьдесят. Не маленькая мера.
Глаза мои повязкою слепцов
Завяжет скоро, как глаза Гомера,
Чертовка старость, заслонив простор,
Седую рябь каналов и бассейнов...

В дверь стучат.

Войдите, если вы не кредитор.

Входит принц.

Принц

Я в мастерской великого ван Рейна?

Рембрандт

(удивленно)

Да, сударь мой, вы у него.

Принц

Ага!
Он тут, кудесник из волшебной сказки!..
Скажи, мой друг: ты у него слуга?

Рембрандт

Да. Мою кисти, растираю краски.

Принц

Так доложи ему: издалека
Приехавший наследный принц Тосканы
Приема ждет.

Рембрандт

Не выйдет он, пока
Не завершит последними мазками
Картины новой.

Принц

Что ж, я подожду.

(Садится на стул.)

Смешны названья улиц в Амстердаме!
Я на «Канале роз»[1], мечтал найду
Дворец Рембрандта с пышными садами!
Ведь говорят, что он богач и франт,
А здесь всего кривых домишек груда.
Как он попал сюда?

Рембрандт

Чудит Рембрандт,
И бедность — новая его причуда.
Его роскошный дом на Бреедстрат
Спит, окруженный парком заповедным,
А он живет в лачуге.

Принц

Как я рад,
Что он всего лишь притворился бедным!
В талантливых людей из нищеты
Не очень склонен верить я, признаться.
Я убежден, что если гений ты,
Всегда добьешься славы и богатства.

Рембрандт

Ну, это как сказать!

Принц

Постой, постой!
Лакею с принцем спорить не пристало.

(Дает Рембрандту золотой.)

Возьми-ка лучше этот золотой
И постарайся, неучтивый малый,
Чтоб твой патрон был не такой педант:
Ведь знатность чтить обязан даже гений.
Мне скучно ждать!

Рембрандт

Принц! Это я — Рембрандт!

Принц

(пораженный, встает)

Сеньор профессор! Сотня извинений!
Я потрясен! Нет, я безумно рад!
Но извините... право, мне неловко:
Что значит этот странный маскарад?

(Указывает на обстановку комнаты.)

---

[1] Улица, на которой в одной из гостиниц жил Рембрандт после разорения.

Рембрандт

А то, что я вживаюсь в обстановку,
Чтоб Иова писать. Мои друзья
Для антуража сняли эту келью.

Принц

Четвертый месяц по Европе я
С образовательной слоняюсь целью.
В столицах мира осмотрев не раз
Дворцы, притоны, церкви и лицеи,
Я наконец, чтобы увидеть вас,
Явился в Северную Венецею[1].
«Учись! — велел мне строгий мой отец.—
Диковинки,— сказал он,— огляди ты».
Я в Льеже видел синий огурец,
В Марселе — шимпанзе гермафродит
Я в Риме туфлю папы целовал,
А в Лондоне обедал в клубе лысых...

Рембрандт

(садится за мольберт и начинает что-то подрисовывать в автопортрете)

А я-то в качестве кого попал,
Меж огурцов и туфлей, в этот список?

Принц

Сеньор профессор! Ваш талант высок,
Как горная вершина Santa Cristi[2].
Я умоляю: хоть один мазок
Божественной, бессмертной вашей кисти!
Я вывез из Московии кота,
А из Парижа — серию открыток
Для холостых...

Рембрандт

(про себя)

Я знал, что неспроста
Явился этот вертопрах. Он прыток
И нагловат. А я сегодня зол!
Так подожди ж!

(Берет кисть и вытирает ее о камзол принца.)

[1] Так называли Амстердам вследствие его расположения на ста островах.
[2] Гора Святого Креста.

Принц
(в ужасе)
Маэстро! Вы в уме ли?
Зачем вы пачкаете мой камзол?

Рембрандт
Дарю мазок, что вы иметь хотели.

Принц
Я о своем портрете вас прошу,
А вы буквально поняли!..

Рембрандт
Дружище!
Мне очень жаль: я принцев не пишу.

Принц
Но почему?

Рембрандт
Я живописец нищих.

Принц
Вы шутите!

Рембрандт
Нисколько. Вы из лож
Видали королевских фавориток,
Вы видели, как море высек дож,
Как кровь Христа у капуцинов бритых
Кипит, в бутылке ими налита.
А нищету вы видели?

Принц
Ни разу.

Рембрандт
(показывая вокруг)
Так посмотрите: это — нищета.

Принц
Я убежден, что шутка — ваша фраза.

2

Входит кредитор.

Кредитор
Вы мне должок вернете, господин?

Рембрандт
Немного позже. Денег нет, папаша.

Кредитор
У вас, Рембрандт, всегда ответ один!
Я больше ждать не в силах, воля ваша.

Рембрандт

А вот, отец, поправятся дела —
И потекут червонцы, как водица.

Кредитор

(про себя)

Возьму в счет долга хоть «Этюд вола».
На вывеску, пожалуй, пригодится.

Снимает этюд со стены и уходит. Вслед за кредитором к двери идет принц.

Рембрандт

Куда же вы, мой просвещенный друг?
Ведь вас отправил ваш папаша строгий
Учиться жить?

Принц

(сухо)

Пардон, мне недосуг.

Рембрандт

(открывая перед ним дверь)

Вам недосуг? Так скатертью дорога!

Принц уходит.

Входит Сикс, снимает шляпу и плащ. Садится.

Сикс

Как мы условились, так в аккурат
Я и пришел: ведь нынче воскресенье.
Да, в первый раз я вижу вас, Рембрандт,
На невеселом вашем новоселье.
Немало вы перетерпели гроз,
И вас порядком смяли эти грозы.
Но старость ваша, видимо, не розы!..
Что мой портрет?

Рембрандт

Почти уже готов.

Сикс

Могу взглянуть?

Рембрандт

(Поворачивая мольберт к свету.)

Здесь плохо видно: тучи.

Сикс

(Рассматривая портрет.)

Да, знаете, из множества холстов
Работы вашей — этот самый лучший!
Ах, если б вы всегда писали так!
Тут губы у меня, как у ребенка.

Глаза опущены пристойно — в знак
Моей всегдашней скромности. Как тонко
Избрали вы для платья серый тон
С жемчужными застежками у пястья.
Ведь лучше слов свидетельствует он
О благородстве, сдержанности, власти.
А в повороте этой головы —
Породы сколько! Как я горд и статен!
Ну, наконец, остепенились вы!
Я понимаю вас,— я сам писатель.
Пора забыть проказы юных лет:
Года не те, да и не та эпоха...
А вы как думаете: мой портрет
Удался вам?

Рембрандт

Да, вышел он неплохо.

Сикс

Ну, как прикажете платить? Опять,
Как некогда, до нашей с вами свалки,
По полотну флорины раскидать?

Рембрандт

Признаться, мне с холстом расстаться жалко.
Он непродажен.

Сикс

(испуганно)

Что вы, черт возьми?!

Рембрандт

Пусть у меня висит он. Что ж такого?

Сикс

Пора уметь вести себя с людьми!
Свои дела устраивать толково!
Хотите тысячу?

Рембрандт

Нет.

Сикс

Ладно... Три
Даю вам, не торгуясь!

Рембрандт

(Делая вид, что раздумывает.)

Куш немалый.

Сикс

Не упирайтесь больше! Вы — старик.
Я обеспечу старость вам.

Рембрандт

Пожалуй...

Сикс

Я рад услышать деловой ответ!
Мы за холстом придем с моим слугою
К вам завтра.

Рембрандт

Впрочем, я раздумал: нет.

Сикс

Я вижу, вы смеетесь надо мною
Иль попросту сердиты с той поры,
Когда вас за строптивость проучили!
Да ну же, примиритесь! Оба мы
По полной оплеухе получили:
Вы от меня, а я, Рембрандт, от вас.
Довольно счетов низких и мизерных!
В залог любви я вам даю заказ —
Писать для трибунала «Клятву Верных».
Представьте двух героев в дни войны,
На лезвии меча скрестивших руки.
И помните, что зрители должны
Оригинал узнать во мне и в Куке.
Что ж: позабудем старую вражду?

Протягивает Рембрандту руку. Тот нехотя пожимает ее.

Рембрандт

Рукопожатьем не вернем любви мы.

Сикс

Портрет за мной?

Рембрандт

Покамест подожду
С ним расставаться.

Сикс

(с досадой)

Вы неисправимы,
И с вами невозможно толковать!
(Надевает шляпу и плащ.)

Рембрандт

А как заказ? Теперь о нем вы немы?

Сикс

Ну, что ж, попробуйте нарисовать,
Быть может, вам удастся эта тема.

Уходит.

Рембрандт

Я выполню его, откинув прочь
И чванных дураков и знатных воров:
Я пушкарей изображу, в ту ночь
Поклявшихся, что принц не вступит в город!

(Обращаясь к портрету Сикса.)

Все говорят, неплохо вышел он:
Он нарисован тонко, он изящен.
Но как бесцветен платья серый тон —
И как неверен этот взгляд скользящий!
А губы скупы, а лицо в тени...
Его лукавую сухую душу
Я обнажу для всех, но я ни-ни
Изящества работы не нарушу!

3

Входит Хендрике со свечой в руках.

Рембрандт

Однако же долгонько за свечой
Ходила ты в плавучую лавчонку!

Хендрике

Простите, сударь, грех невольный мой.

Рембрандт

Какой тут грех! Ты, Стоффельс, не девчонка.
Мы выросли из тех прекрасных лет,
Когда ходить за юбкой нас учили...

(Обнимает ее.)

Опять была на покаянье?

Хендрике

(уклоняется от его объятий)

Нет.

Рембрандт

Ты нынче что-то немногоречива
И нелюдима сделалась с тех пор,
Как этот поп лишил тебя причастья.

Хендрике

Вас тяготит ужасный мой позор,
И я вам приношу одно несчастье,
Я это знаю и уйду от вас.

Рембрандт

Не покидай меня в моей пустыне!
Нет Саскии, и Титус мой угас...

Хендрике

Зато господь вас, барин, не покинет.

Рембрандт

На что мне он! Когда б не ты со мной,
Я умер бы, больной, гонимый, нищий.
А ты, открыв торговлю стариной,
Взяла меня, дала мне кров и пищу,
И труд, и жизнь...

Хендрике

Нет, сударь, я уйду.

Рембрандт

Опять всё то же! Но сознайся: чем я
Не мил тебе?

Хендрике

Я приношу беду.
На мне лежит проклятье отлученья.

Рембрандт

Заладила! Послушай: я не врал
Тебе ни разу, а живем мы — годы.
Так вот, клянусь: чем больше я терял,
Тем больше я имел.

Хендрике

Чего?

Рембрандт

Свободы!

(Снова обнимает Хендрике.)

Не уходи! Я буду одинок!
Так одинок, как труп на шумной тризне!

Хендрике

(торжественно)

Примите же страдальческий венок,—
Сей тяжкий ключ блаженства вечной жизни.

Рембрандт

Ах, как тебя сломили эти псы!
Не плачь, дитя. Забудь про всё, что было.
Погладь мои солдатские усы,
Как ты когда-то гладить их любила.
Прижмись покрепче к моему плечу.
Долой врагов с их клеветою мутной!
Сейчас, родная, я зажгу свечу.

(Зажигает.)

Смотри, голубка, как у нас уютно.

Хендрике

Какой уют? Всего лишь — нищета!

Рембрандт

В иных дворцах мне было боле сиро.

(Целует Хендрике.)

Ведь очертанья маленького рта
Волнуют слаще всех сокровищ мира!

Хендрике

(вырываясь)

Не надо, барин! Ради всех святых!
Мне запретили это!

Рембрандт

Ах, иуды!
Дитя мое, как ты боишься их!..
Ну ладно. Успокойся. Я не буду.

(Отходит от Хендрике.)

Да, кстати, Стоффельс: наши чудаки
В гостиных вводят на тюльпаны моду,
Тюльпанами забили парники,
Тюльпанами забили огороды.
Я тоже для тебя купил один,
Хоть мне сдается,— роза благородней.

(Берет с постели тюльпан и подносит Хендрике.)

Смотри, какой нарядный господин!
Совсем как принц, что приходил сегодня.
Как лепестки он пышно распростер
И весь дрожит, как розовое знамя.

(Любуется тюльпаном.)

Он на костер походит...

Хендрике

(в ужасе)

На костер?!

Рембрандт

Ну да: на пламя... Что с тобой?

Хендрике

На пламя?!

(Бросается к двери.)

Рембрандт

(удерживая ее)

Куда же ты!.. Любовь моя!.. Сестра!..
Мы выбросим его... Другим подарим...

Хендрике
(вырываясь)
Простите, сударь!.. Я боюсь костра!..
Я ухожу от вас!.. Прощайте, барин!
(Убегает.)

4

Рембрандт, обессиленный, садится. Входит продавец красок.

Продавец красок
Я к вам не вовремя?

Рембрандт
Нет, нет... садись...
Я рад потолковать с единоверцем...
(Растирает рукою грудь.)

Продавец красок
Как вы бледны! Вы вовсе извелись!

Рембрандт
Так. Пустяки. Немножко болен. Сердце.

Продавец красок
(подает ему пакет)
Вот, сударь, краски вам.

Рембрандт
Я гол и бос,
Чем мне платить?

Продавец красок
Оставьте, ради бога!
Я сепию и сажу вам принес,
Да жженой кости раздобыл немного...

Рембрандт
Ага,— и жженой!

Продавец красок
Вы довольны?

Рембрандт
Да.

Продавец красок
А светлых нет, хоть у других проверьте.

Рембрандт
Их мне не надобно. Тащи сюда
Все краски старости, все краски смерти.

Картина шестая

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА

1

Комната Рембрандта в гостинице. Вечер. На стенах портреты Саскии, Хендрике, Титуса. Входит Флинк, осматривается.

Флинк

Вот это мастерская! Прямо смех!
Лохмотья, ветошь, грязные стаканы...
А все ж Рембрандту, одному из всех,
Нанес визит наследный принц Тосканы.
Не пожалею про заклад руки,
Что это — признак близкого успеха,
И, значит, вновь к нему в ученики
Втереться надо мне, других объехав,
Да что-то долго нету старика!
Придется мне, пожалуй, через сутки
Наведаться вторично, а пока
Неплохо бы сыграть такую шутку.

(Берет кисть и рисует на полу монету.)

Вот нарисую золотой флорин
Здесь на полу и дам скорее тягу.
Воображаю, как, подвох открыв,
Рассердится подслеповатый скряга!

2

За дверью слышны шаги, Флинк прячется под кровать. Входит Рембрандт.

Рембрандт

Весь город обошел, а что за толк?
Я так измучен. Сердце бьет, как молот.
Никто, Рембрандт, тебе не верит в долг,
Четвертый день твой собеседник — голод.
Как быть тебе?

(Замечает нарисованную на полу монету.)

Однако же постой!
Я, видно, брежу: не флорин ли это?
Мне повезло! На этот золотой
Я холст куплю для нового портрета.

(Хочет поднять монету и видит, что она нарисована.)

Так это шутка? Кто ж ко мне проник
И разыграл такую злую шутку?
Ах, если б знал безжалостный шутник,
Как мне сегодня тягостно и жутко!

Я одинок и болен, слаб и сир,
Глаза не видят, сердце жить устало.
(Подходит к окну, смотрит на город.)
Спят небеса. Спит равнодушный мир,
Спит Амстердам на ста своих каналах.
Мой Амстердам! Мне без него и дня
Прожить невмочь! Тут на любом канале
Мне каждый мостик близок! Тут меня
Любили, ненавидели и гнали.
Плывущих лодок дремлют огоньки,
Часы на башне полночь бьют в дремоте,
Спят бюргеры, надвинув колпаки,
Спят нищие, закутавшись в лохмотья.
Ночных мышей скребущий, робкий звук
Один тревожит тишь убогой кельи.
Спит хитрый Сикс и громогласный Кук,
И демоны стоят над их постелью.
Я одинок: спит Саския в гробу,
Спит рядом с нею Титус на кладбище,
И, ожидая ангела трубу,
Спит Хендрике в своей могиле нищей.
Над спящими колокола звенят,
Звезда в ночи падучий след свой чертит...
Лишь я не сплю... Но вот уж и меня
Забрала сладкая зевота смерти.
(Подходит к портретам и обращается к ним.)
Родные тени! Заклинаю вас
Моей любовью — золотым оружьем:
Сойдитесь в этот одинокий час
Ко мне, живому, на прощальный ужин!
(Ставит портрет Саскии на стул у стола.)
Ты, Саския, на Стоффельс не сердись,
Не мучь ее ревнивыми словами.
(Ставит портрет Хендрике на другой стул.)
Ты, Хендрике, с хозяйкой помирись
И рядом сядь. Да будет мир меж вами!
(Ставит портрет Титуса между ними.)
Я, Титус, место и тебе нашел!
Сегодня мы невидимые брашна
Поставим тесно на широкий стол
И запируем весело!

Флинк
(из-под кровати)
Мне страшно!

Рембрандт

(заглядывая под кровать)

Там кто-то есть. Посмотрим, что за гусь.
Ах, это ты! Вылазь, трусливый олух!

Флинк

Я до смерти покойников боюсь!
Учитель мой! Не надо звать за стол их!

(Вылезает.)

Рембрандт

Спросонок ты иль вовсе во хмелю
Попал сюда?

Флинк

Простите... грех случился...

Рембрандт

(указывая на рисунок флорина)

Монету ты нарисовал? Хвалю!
Ты хоть чему-нибудь да научился
У Миревольта.

Флинк

Видит бог,— не я!
Во-первых, мне...

Рембрандт

А в-третьих и четвертых,
Ты станешь врать, господь тебе судья!

Флинк

Я вас прошу, не вызывайте мертвых!

Рембрандт

(улыбаясь)

А надо бы! Не стану, так и быть...
Зачем пожаловал в мою обитель?

Флинк

Я воротился, чтобы изучить
Секреты вашей техники, учитель.

Рембрандт

А Миревольт?

Флинк

Какой уж колорит
У Миревольта! И рисунок пресный!
А как о вас он грубо говорит!

Рембрандт

Вот это мне совсем неинтересно.

Флинк

Позвольте мне вопрос задать: у вас
Светлейший принц Тосканы был, я слышал?
Про эту честь из уст в уста рассказ
Идет по Амстердаму!

Рембрандт

Был, да вышел.

Флинк

Не понимаю, сударь, ничего.

Рембрандт

Я указал ему, как говорится,
Где бог, а где порог: прогнал его.

Флинк

Вы выгнали?!

Рембрандт

Я выгнал.

Флинк

Принца?!

Рембрандт

Принца.

(Раздумывает.)

Ну, что ж! Пожалуй, я тебя приму.
Мне пригодятся двадцать пять флоринов.

Флинк

(хватается за живот)

Ох, как вредит желудку моему
Ост-индская новинка — мандарины!

Рембрандт

В чем дело, Флинк?

Флинк

Схватило за живот!

(Про себя.)

Вот влопался! Как мне сбежать отсюда?

(К Рембрандту.)

И гнет, и режет, и кидает в пот!
Я к вам назавтра непременно буду,
А нынче болен.

Рембрандт

Убирайся, пес,
Покуда я тебя не выгнал взашей.

3

Флинк убегает. Входит Фабрициус, неся свернутый в трубку холст.

Фабрициус

Кто был тут?

Рембрандт

Флинк.

Фабрициус

Жаль, ноги он унес,—
Его швырнуть бы из мансарды нашей!
Беда, хозяин: я назад принес
Картину эту.

Рембрандт

Чью картину?

Фабрициус

Вашу.

Рембрандт

Не может быть!

Фабрициус

Да, сударь. Магистрат
Мне сообщил с прискорбьем лицемерным,
Что как ни жаль, но господин Рембрандт
Превратно понял тему «Клятва Верных»
И, дескать, холст поэтому нельзя
Принять для новой залы трибунала.

Рембрандт

Да, полотно кололо б им глаза
И слишком многое напоминало.
Фабрициус! Вот и конец пришел
Моей последней маленькой надежде...

(Хватается за сердце.)

Но что со мной? Мне так нехорошо
Еще ни разу не бывало прежде!
Кровь бьет в виски, густа и горяча.
В глазах желтеет, ноги холод студит...

(Падает на руки Фабрициуса, который несет его на постель.)

Фабрициус

Вам нужно лечь. Я позову врача.
Невестку вашу позову...

(Выбегает в коридор и зовет.)

Эй, люди!

Рембрандт

(лежит один на постели)

Ни дня, ни ночи. Черная дыра.
Как бьется сердце! Уж не смерть ли это?
Старик Рембрандт! Пришла твоя пора,
Пора последнего автопортрета.
Как в океан сливаются ручьи,
Так мы уходим в мир теней бесплотный.

(Обводит глазами комнату.)

Лишь вы, душеприказчики мои,
Мои эстампы, папки и полотна,—
Идите в будущее. В добрый час.
Возникшие из-под музейной пыли,
Откройте тем, кто будет после нас,
Как мы боролись, гибли и любили,
Чтоб грезы те, что нам живили дух,
До их сердец, пылая, долетели,
Чтобы в веках ни разу не потух
Живой и чистый пламень Прометея!

4

Входит пастор.

Пастор

Меня поставил грозный судия
Посредником между тобой и небом.

Рембрандт

Посредникам не очень верю я:
Один из них уже пустил без хлеба
Меня по миру.

Пастор

Не кощунствуй. Ты
Собраться должен в дальнюю дорогу.
Покайся мне, и в нимбе чистоты,
Как блудный сын, ты возвратишься к богу.

Рембрандт

Как будто не в чем. Я в труде ослеп,
Не убивал, не предавал, работал,
Любил, страдал и честно ел свой хлеб,
Обильно орошенный горьким потом.

Пастор

Святая дева раны освежить
Придет в раю к твоей душе усталой.

Рембрандт

Я старый гез. Я мельник. Я мужик.
Я весь пейзаж испорчу там, пожалуй.

Пастор

Ты святотатствуешь! Как ты упал!
Ужель ты бога не боишься даже?

Рембрандт

Уж не того ль, что сам я создавал
Из бычьей крови и голландской сажи?
Оставь меня. Пусть мой последний вздох
Спокойным будет...

Пастор

(поднося к его лицу распятие с изображенным на нем Христом)

О грехах подумай!

Рембрандт

(глядя на распятие)

Как плохо нарисован этот бог...

(Умирает.)

Пастор

Войдите, люди. Этот грешник умер.

5

Входит хозяин гостиницы, Магдалина ван Лоо, Фабрициус, Мортейра, соседи.

Хозяин гостиницы

Едва велел я постояльцу, чтоб
Он выбрался,— а он умри в отместку!
Да кто ж теперь ему закажет гроб?
Тут есть родные?

Магдалина ван Лоо

Я его невестка.

Хозяин гостиницы

Ты и неси расходы похорон!
Коль хочешь, гробом я могу заняться.

Магдалина ван Лоо

Ах, батюшки! А сколько стоит он?

Хозяин гостиницы

Пустое, дочка: гульденов пятнадцать.

Магдалина ван Лоо

Пятнадцать гульденов! Ведь вот дела!
Ах, сударь, всю мою досаду взвесьте:
Двух месяцев я с мужем не спала,
И вдруг — плати за похороны тестя!

Первый сосед

Кто умер тут?

Второй сосед

Бог знает кто. Рембрандт.

Первый сосед

Не знать Рембрандта — это стыдно прямо!
Да это туз! Бумажный фабрикант!
Краса и гордость биржи Амстердама.

Комната наполняется людьми.

Голоса

— Такой богач — и умер!
— Тс! Не плачь!
— Мы все в свой срок червям послужим пищей.

Второй сосед

Одно мне странно: если он богач,
Как умер он в лачуге этой нищей?
Скажи, хозяин, толком наконец,
А то ошибка вышла тут, возможно:
Мертвец — Рембрандт ван Юлленшерн, купец?

Хозяин гостиницы

Да вовсе нет: Рембрандт ван Рейн, художник.

Первый сосед

Ах, живописец!

Второй сосед

Ну? Я так и знал.

Голоса

— Уж, верно, поздно.
— Не пора идти ли?
— Пойдем, пока через Большой канал
Рогатки на мосту не опустили.

Комната быстро пустеет. У трупа остаются Фабрициус и Мортейра. Мортейра подходит к Рембрандту и долго смотрит ему в лицо.

Мортейра

Лежит — и пальцем не пошевелит...
Да, многого его душа хотела!

Фабрициус

А я слыхал, что ваш закон велит
На семь шагов не приближаться к телу.

Мортейра

На семь шагов? Ах да, на семь шагов...
Но он ведь жив. Талант еще ни разу
Не умирал. Скорей его врагов
Чуждаться надо, как больных проказой.
Он — живописец нищих, наш талант!
Пусть надорвался он, но, злу не внемля,
Он на плечах широких, как Атлант,
Намного выше поднял нашу землю.

Июнь — сентябрь 1938



ПЕРЕВОДЫ

ИЗ ПОЭЗИИ НАРОДОВ СССР



С БАШКИРСКОГО

Мажит Гафури

ПРАВДА

Правда есть на земле! Не она ль в незапамятный век
Полновластно себе подчиняла и зло и добро?

Но промчались года, и на землю пришел человек.
Он польстился на золото и полюбил серебро.

Человек поклоняться презренному золоту стал,
Больше правды самой полюбив этот жалкий металл.

Опечалилась правда, и скрылась она наконец
От корыстных людей в глубину благородных сердец.

Погруженный в печаль, тот, кто истинно любит ее,
Вдалеке от людей одинокое строит жилье.

Ибо правда не ходит у золота в роли слуги,
Ибо правда и золото — давние злые враги.

В царстве правды от золота мы не найдем и следа,
Ибо золоту правда руки не подаст никогда!
1939

ЖИЗНЬ

Уж первый белый волосок блеснул меж черных у виска.
Седеют волосы мои! Посеребрила их тоска.
О лето жизни! Ты прошло. Ко мне не возвратишься ты!

Всё в прошлом. Я, как старый дуб, осыпал юности листы.
Уже, подобно молодым, резвиться не пристало мне,
И если есть в душе мечты, то мало: лишь на самом дне!
Себя почувствовав юнцом, я иногда еще шучу,
Но вспомню седину свою — и отойду, и замолчу.
Я с наслажденьем часто вспоминаю молодость свою...
О многом я молчу и красоту в молчании таю.
Всё миновало! Где они — минувшей юности мечты?..
В моем грядущем ничего нет, кроме черной пустоты!
1939

Я ТАМ, ГДЕ СТОНУТ БЕДНЯКИ

Я там, где стонут бедняки. Все нищие — мои друзья.
Они — мой круг: с любым из них сумею столковаться я.

Я их люблю за то, что в них ни капли скрытой злобы нет:
Любой из бедных чист душой, хотя и в рубище одет.

Далек от чванства,— я люблю весь день сидеть у их огня.
Друг друга не обидим мы: я их или они меня!
1939

НА ЖИЗНЕННОМ ПУТИ

Не хнычь! Будь каждый день готов вступить с коварной
жизнью в бой!
И в том бою иль победи, или расстанься с головой!

Ты хочешь без тревог прожить? Таких судеб на свете нет!
Ты хочешь обмануть судьбу? Таких людей не знает свет!

Ты говоришь: «Я проиграл. Не вышло. Счастья
не догнать».
Всё ж не сдавайся и за ним пускайся взапуски опять!
Коль будешь ты в бою за жизнь великодушен, бодр
и смел,—
Ты победишь! На свете нет совсем невыполнимых дел!
Бодрись! Приниженным не будь и гнуться не давай
плечам,
Не трусь, как заяц, и пустым не поддавайся мелочам!

Тогда судьба пред смельчаком преклонит гордое чело...
Волнуйся, двигайся, дерзай, покуда время не прошло!

1939

ИСКАНИЕ СЧАСТЬЯ

Не видно счастья на земле. А затеряться счастью где б?
Быть может, счастье в небесах, на золотой доске судеб?

«На этом свете счастья нет!» — уныло утверждает тот,
Кто в нем отчаялся. И вот на небесах он счастья ждет.

Бедняга твердо убежден, что там найдет свою судьбу,
Что в рай войдет его душа, когда он сам сгниет в гробу.

Я плоховато знаю рай! Ни разу я туда не лез.
Землей довольный, не вникал я в философию небес!

Коль этот круглый шар земной нам во владенье дал аллах,
То счастье надобно искать не в небесах,— в земных делах!

Для тех, кто счастлив на земле, земля куда милей, чем рай.
Я б землю выбрал, если б мне велел всевышний: «Выбирай!»

Я б часа жизни не отдал, чтоб вечности блаженство пить!
Я жажду счастья! Я живу! И почему бы мне не жить?

Я буду с тем, кто строит рай не в небесах, а на земле,
Покуда дух не испущу, не разложусь в загробной мгле!

Смерть только оторвет меня от почвы, где я жил и рос.
Я, плача, отойду с земли. Мне не расстаться с ней без слез!
Но прах мой даже и тогда смешается с родной землей.
Пусть я умру! Врагам не даст покоя стих бессмертный мой!

1939

УПОДОБЛЕНИЕ

Брильянтами блестят вдали
Ночные звезды там и тут,
А на поверхности земли
Цветами девушки цветут.

И кто б, скажи, земной цветок
Мог отличить от звезд ночных,
Когда б их сблизить кто-то смог,
Сумел бы в ряд поставить их?

А коль звезда в одном ряду
Могла бы с девушкой стоять,
Я отодвинул бы звезду,
Чтоб крепче девушку обнять!

Ведь блеском глаз в конце концов
Блистанье звезд затмит она!
Ведь, право, девичье лицо
Белей, чем полная луна!

А губы, губы!.. Но поэт
Лишен таких волшебных слов,
Чтоб описать их вкус, их цвет,
Жемчужный влажный блеск зубов!

Превыше всех похвал у ней
И косы черные, как мгла,
И над глазами — двух бровей
Раскинутые вкось крыла!

Коран недаром говорит,
Что небу девушки сродни:
Приняв земной на время вид,
Всё ж только гурии они!

1939

ЧИСТОЕ СЕРДЦЕ

Коль сердце чисто у тебя,— оно, как море, широко,
Оно охватит целый мир в едином взоре далеко.

Коль сердце чисто у тебя,— такое сердце всё вместит,
Всё в мире видит сердце то и, как алмаз, во тьме
блестит.

Оно готово всех обнять: убогих, нищих и калек,
Мужчин и женщин — словом, всех, носящих имя
«человек».

Оно глядит на белый свет открыто, не через очки,
Оно болит за всех людей, ему друзья все бедняки.

Но есть ослепшие сердца. Скупец — хозяин их таков,
Что вечно ноет и скулит и жмется из-за пустяков.

Нет ничего на свете, друг, тесней скупых сердец таких!
Они малы: не только мир — горошинка не влазит в них.

Такие повстречав сердца, я умоляю: «О аллах!
Скорей избавь меня от них — унылых, грязных и
пустых!»

1939

ПОСВЯЩЕНИЕ

«Он гаснет!» — говорят тебе. Но посмотри: огонь — и тот
Тускнеет, если человек в светильник масла не нальет.
Как громко свищут соловьи, когда в садах цветут цветы!
Но в день осенний соловьев, скажи, хоть раз слыхала ль ты?

Ты видишь погреб? Соловья запри в глубокий тот подвал
И слушай: запоет ли он? Нет! Он в неволе не певал!..
«Он гаснет!» — говорят тебе. Но ясно даже для детей,
Что невозможно жить и петь без упований и страстей!

1939

ЛЮБОВЬ

Пусть дни идут, не гаснет страсть, наоборот: все жарче
кровь!
Ах, видно, заблудился я в твоем густом саду, любовь!

Бегу — и вдруг перед тобой колени робко преклоню,
Сержусь, но, словно мотылек, лечу к любовному огню!

«Я излечился!» — говорю, а сам дрожу, и вновь горю,
И возвращаюсь вновь к тебе, и вновь тебя боготворю!

Нет, я не в силах убежать! Ты стала мне, любовь, тюрьмой!
Я пойман: с четырех сторон пылает жаркий пламень твой!

1939

ЧУДЕСНЫЙ СЛУЧАЙ

(Из неопубликованных стихов)

Чудесный случай был вчера! Я мирно шел к себе домой,
Вдруг вижу: светит огонек, мой озаряя путь ночной.

Подумать: солнце? Но в горах уже погас заката свет!
Луна — подумать? Но как раз луны на небосклоне нет!

Откуда лился этот свет, лишь позже догадался я:
По улице навстречу мне шла ты, любимая моя!

1939

В ЦВЕТНИКЕ

Вчера я вышел на прогулку в сад,
Пестрел цветов узорчатый ковер.
Он в душу лил мне сладкий аромат
И красками слепил мой слабый взор.

Их красотою наслаждался я.
Потом, поближе подойдя к цветам,
Спросил: «Скажите, кто у вас друзья
И кто, цветы, враждебен в мире к вам?»

Под легкое дыханье ветерка,
Клонясь в сиянье нежной красоты,
В улыбке губы приоткрыв слегка,
На мой вопрос ответили цветы:

«Тот, кто для нас копает землю в срок
И поливает нас водой в тени,
Тот, чья душа прекрасна, как цветок,
Наш первый друг! — сказали мне они.

А тот, кто нас не хочет поливать,
Кто, не трудясь, свои проводит дни
И рвет нас, права не имея рвать,
Наш первый враг!» — сказали мне они.

Услышав это, молвил я в ответ:
«Вы всё сказали верно в добрый час!
Тот, у кого любви к работе нет,
И на груди носить не должен вас.

Лишь тот хорош, кто смел и чист душой
И кто в труде проходит жизни путь.
Так пусть, цветы, работник молодой
Работнице приколет вас на грудь!»
1939

ОН НЕ УМЕР

Когда кончается
Нам близкий человек,
Мы удивленно задаем вопрос:
«Кто умер?
Есть ли у него семья
И кто беднягу на кладбище снес?»

Когда покинет нас хороший друг,
Его конец печален только нам.
Потеря друга, что уснул навек,
Горька бывает лишь его друзьям.

Когда издохнет бай или купец,—
О нем лишь баев слезы горячи:
Пузатого собрата схоронив,
О нем рыдают только богачи.

И ходят в трауре по богачу
Пять-шесть его приятелей всего.
А весь трудящийся рабочий мир
Не даст и двух копеек за него!

Но если друг у бедняков умрет,
Тогда печаль мильонов горяча!
Она, как нож,

Пронзает их сердца!
Пример тому —
Кончина Ильича!

Его потеря громом потрясла
Трудящихся людей на всей земле!..
Иные умирают,— год пройдет,
И память их теряется во мгле.

Воспоминанье об иных из нас
Засыплет время, как следы — песок.
Грусть о других — с годами всё сильней
И образ их всё более высок!

Потомки ставят
Памятники им
И чтут в сердцах
Их благородный труд.
Так Ленин и учение его
У нас в душе
Вовеки не умрут!

Ученье это никому из нас
Не даст с дороги правильной свернуть.
Он проложил,
Как мудрый инженер,
В грядущее прямой и ясный путь!

Он — образец бессмертной славы нам.
И образцов светлей и ярче нет!
Вовеки будет
Над землей сиять
Его немеркнущий и чистый свет!

Мне кажется — Ильич не умирал!
Я думаю — он жив поныне в ней,—
Неутомимой, бдительной, стальной,
Прямой и мудрой партии своей!

Да!
Он презрел теченье быстрых лет!
Всё больше уважаем и велик,—
Ильич живет! Не умирал он, нет!
И враг пред ним в бессилии поник!
1939

КЛУБОК ЖИЗНИ

Коль жизнь мою смотаешь — не велик
Покажется ее клубок тугой,
А размотай — и с одного конца
Едва увидишь ты конец другой!
1939

С ГРУЗИНСКОГО

Александр Абашели

КРАСНОЗНАМЕННАЯ

В небесах, под клекот гневный
Плыл орел железнокрылый...
У врага отбив деревню,
Наша рать в нее входила.

Словно море, пели люди,
Четким шагом землю меря:
«Кто разил уже, тот будет
Впредь разить лесного зверя!»

Шли бойцы, и так алело
В небесах над ними знамя,
Так от топота звенела
Вся земля под их ногами,

Так приветливо ласкало
Их сиянье голубое,—
Будто сталь клинка сверкала
У врага над головою!

Из ворот глядели деды
На советских исполинов,
И цвела заря победы
На косых крылах орлиных.
1942

Людас Гира

БЕРЕЗКА

Ой, стоит в Литве березка
У реки, под горкой.
До земли она вершину
Клонит в думе горькой.

Ветер западный качает
Ствол березки белой.
Он сломал ее вершину,
Он ей больно сделал.

Как топор, ее обрезал
Этот ветер черный.
Рядом — дерево другое
Выворотил с корнем.

Лучше он не дул бы, этот
Ветер чернокрылый:
Много в маленькой деревне
Горя натворил он!

Тихим утром он пронесся
Над спокойным краем —
И затлелись в нем пожары,
Села пожирая.

С той лихой поры березка
Никнет в думе смутной,
Днем и ночью всё тоскует,
Вечером и утром.

Вдаль глядится, словно хочет
На восток пробраться,
В край, куда ушло в то утро
Много наших братцев.

Передать велит поклон им
Перелетным птицам,
Чувствуя, что дали клятву
Братцы возвратиться.

Ой, зеленая березка!
Жди их ежечасно.
Ты права: они вернутся
В край свой утром ясным.

Вновь придут они с победой,
Разгромив фашистов,—
В грозных танках, на ретивых
Конях норовистых.

Отобрав у подлых немцев
Землю-мать сырую,
Мимо сломанной березки
Мы промаршируем.

У березки той литовской,
Что в зеленом дыме
Ждет нас,— мы поднимем шапки
В честь страны родимой.

Пред собой Литвы родимой
Увидавши дали,
Вспомним клятву, что березке
И Литве мы дали.

Мы поклялись землепашцам,
Поклялись рабочим,
Что жестокий меч расплаты
На врагов наточим.

Что Литвы земля святая
Снова будет чистой,
Что с нее метлой железной
Мы сметем фашистов.

Что под красною звездою
Над землею будет
Господином, кто над нею
Руки сам натрудит.

Что Литва, земля святая
Наших предков славных,
Будет вновь в семье народов
Равною из равных.

Знай: мы выполним, березка,
То, что раз мы скажем.
Уж недолго всем народам
Быть под гнетом вражьим.

Скоро все мы дома будем,
Белая подружка,
Жди — и в сторону Востока
Поверни верхушку.

И когда заслышишь звуки
Песенки походной,—
Знай, зеленая: мы близко,
Мы уже подходим!
1942

Саломея Нерис

МАТЬ

На березах почки
Стали зацветать.
Четверых сыночков
Проводила мать.

У старухи слезы
Застилают взгляд.
Старые березы
У ворот шумят.

Крепкий и плечистый
Первый сын — герой
Молодым танкистом
Понесется в бой,

Под вторым — чубарый
Пляшет, чуя плеть.
Не придется старой
За него краснеть.

Смерть врагам жестоким
Третий сын несет:
По небу он, сокол,
Водит самолет.

Снайпером четвертый
Смотрит в темноту.
Много немцев мертвых
На его счету!

На березах листья
Свежие шумят,
Голубями письма
К матери летят.

Тот у ненавистных
Немцев мост взорвал,
Уложил фашиста
Этот наповал.

Старые березы
Август золотит,
Мать роняет слезы:
Старший сын убит.

Что же! Зубы стисни,
Сдерживайся, мать,
Ласточками письма
От троих летят.

А березам в осень
Облетать, не цвесть.
Ей зима приносит
Вновь дурную весть.

Позабыв усталость,
Снежный ветер, вей.
У нее осталось
Двое сыновей.

Пригревает солнце,
С гор бежит вода,
Стукнула в оконце
Новая беда.

Вновь березы вскоре
Зашумят, да что ж!
В старом сердце горе
Точно острый нож.

Велика утрата,
Горюшко без дна,—
Три сынка, три брата
Унесла война.

Ветви: «Не печалься,—
Шепчут у ворот,—
Младший сын остался
Он к тебе придет!»

Но с березы веток
Щелкнул соловей,
Что у старой нету
Больше сыновей.

То не буйный ветер
Морщил речки гладь,—
То о мертвых детях
Убивалась мать:

Голову склоняла
У берез в тени,
Землю целовала,
Где лежат они.

Тропкой на погосте
Уходила мать —
На полях их кости
Белые собрать.

В лес пришла к отряду
Смелых партизан,
И блеснула радость
По ее глазам:

Статны и румяны,
Зорки и сильны,
Эти партизаны —
Все ее сыны.

1942

МАТЬ КРАСНОАРМЕЙЦА

Помню я, в сентябре это было:
Уходили на запад полки,
Сына хлебом старуха кормила
Из морщинистой теплой руки.

Этот хлеб прибавлял ему силы:
Он был хлебом отчизны. Он был
Снят с полей его родины милой,
С тех, что сам он когда-то косил.

И налившийся силой стальною,
Сын готов был к борьбе и труду.
Под стальной, под осенней луною —
«Мать! — сказал он.— Прощай! Я иду!

Вот тебе мое вещее слово:
Я вернусь. А погибну,— не плачь!
Пусть друзья мои будут готовы
Сбросить гнет, что несет нам палач!..»

Помню я, в сентябре это было:
Мать шептала, грустна и горда:
«Смыть фашистскую черную силу
Кровь героев должна навсегда!»
1942

* * *

Пушек хриплый кашель
В роще раздается,
А у рощи нашей
Василек смеется.

Щелкает бесстрашно
Жаворонок-птица,
А по горным пашням
Ходит смерть, как жница.

Ты меня не сглазишь,
Цветик мой хороший:
Я винтовку наземь
Всё равно не брошу.

Я железной стану,
Буду ледяною,
Пока ходит пьяный
Враг моей страною.

Всё за песню требуй,
Жаворонок-птица,
Но зачем ты в небе
Вздумал загруститься?

Для чего ты, пташка,
Вьешься надо мною,
Говорят, что тяжко
Умирать весною?

Разве смерть коснется
Тех, что жизнь любили?..
Нам, бесстрашным, солнце
Светит и в могиле!
1942

С ОСЕТИНСКОГО

Коста Хетагуров

ЗНАЮ

Знаю, притворно поплакав,
Справят обряд похорон.
Скажут: «Покой его праху!
Только лишь маялся он».

К тризне заколют скотинку,
Чтоб не постился народ.
Память мою на поминках
Друг аракою запьет.

Спорить до вечера будут,—
Где я: в аду иль раю?..
Поговорят — и забудут
Даже могилу мою!
<1939>

МУЖЧИНА ИЛИ ЖЕНЩИНА?

С песней крестьяне проходят ущельями,
Но обрывается песня косца:
Глядь,— на дорогу из горной расщелины
Череп упал и рука мертвеца.

Шутят крестьяне: «Видать, запустелые
Наши дороги бедняге должны!»
Челюсти черепа белые-белые
Мертвой усмешкою обнажены.

Облит закатом, он блещет, как золото,
Смотрят глазницы подобно очам...
Вдруг ядовитою струйкою холода
Страх пробежал у крестьян по плечам.

«Люди! — отшельник сказал из пещеры им. —
Что у вас там?»
— «Вот хотим угадать —
Кто потерял этот череп ощеренный:
Доблестный муж или честная мать?»

«Экой народ! Вы глупее, чем перепел! —
Старый отшельник воскликнул шутя. —
Кто был хозяин этого черепа,
Вмиг разгадает теперь и дитя!

Всем нам особые свойства завещаны,
Каждому нраву — примета своя.
Кто же, скажите, не знает, что женщины
Перед поминками не устоят?

Чтобы узнать — то мертвец иль покойница,
Надобно крикнуть: «Вон тело лежит!»
Череп мужчины и с места не тронется,
Женщины череп стремглав побежит!»

Мало крестьяне поверили этому:
«Видно, смеется над нами старик!»
Но пренебречь не посмели советами
И над находкою подняли крик:

«Слава Хамбитте и царство небесное!
Как он, бедняк, умирал тяжело!..»
В черепе вдруг что-то щелкнуло, треснуло,
И покатился он тропкой в село.
<1939>

ПРОЩАЙ!

Вот и готов я... И лапти, и посох,
Пояс из прутьев — обнова в пути.
Рваная шуба... И, солнцу утесов,
Я говорю тебе: что же, прости!

Ты от меня, дорогая, устала.
Взгляд твой давно мне сказал: «Уходи!»
Знаю, как сердце твое трепетало,
Слышу твой стон, затаенный в груди.

Вот и прощай, ты теперь уж не будешь
Требовать впредь от меня ничего.
Нынче, дитя, ты мой взгляд позабудешь,
Завтра забудешь меня самого.

Если ж,— когда ты опустишь ресницы,—
Явится образ ушедшего прочь
И беспокойному сердцу приснится
Смерть его в поле в холодную ночь,—

Ты не пугайся: не горе, а счастье
Он принесет тебе, этот кошмар.
Кто-то возьмет на себя все напасти,
Чтоб от тебя отвести их удар.

Я возьму в спутницы злую судьбину,
Чтоб поскорей с ней конец обрести...
Ты ж позабудь про печаль и кручину,
Не сожалей, не горюй и — прости!
<1939>

С ТАТАРСКОГО

Муса Джалиль

КАСКА

Что ж! Пускай ты боец, закаленный в борьбе,
Ну, а всё же скажу напрямик:
Нелегко и с одеждой расстаться тебе,
Если ты к ее складкам привык...

Не однажды в жестоких сражениях я
Защищал мою родину-мать,
И осталась железная каска моя
На бруствере окопа лежать.

Был лесок впереди.
Немчура из леска
Нас огнем поливала три дня.
И, казалось, связались с землей облака
Желтой лентой сплошного огня.

Ты — боец! Как бы враг ни палил,— карауль
Все уловки фашистов в бою!..
Глянул я из окопа — и несколько пуль
Тотчас щелкнули в каску мою.

«Э! Видать, мою каску,— подумал я тут,—
Взял на мушку немецкий стрелок.
Он старается, чтоб и на пару минут
Я привстать из окопа не мог!»

Я поднял на штыке ее и в аккурат
Над собою поставил, на вал.
Немец к ней пристрелялся. Его автомат
Так огнем ее и поливал!

«Ну, молодчик,— я думал,— довольно тебе
Тратить столько патронов и сил!..»
Я укрытие немца нашел по стрельбе.
И его наповал уложил.

Прогремело «ура!». И пошла, как стена,
На фашистов советская рать,
И осталась пробитая каска одна
На бруствере окопа лежать.

Пусть она не годится!.. В окоп под горой
Всё ж за ней я вернулся на миг:
И с пробитою каской расстаться порой
Нелегко, если ты к ней привык!

А она мне надежной подругой была:
Помогла уничтожить врага
И в боях не однажды от смерти спасла,—
Вот за что она мне дорога!

1942

ПИСЬМО ИЗ ОКОПА

Милый друг!
В твоих ласковых письмах — любовь.
Я их счастлив читать без конца!
Получив их, обнял я винтовку и вновь
Повторил свою клятву бойца.

Знаешь ты: ростом я человек небольшой,
А в окопе и вовсе я мал.
Но сегодня, прочтя твои письма, душой
Я, казалось, весь мир обнимал.

Мой окоп — это грань двух враждебных миров,
Меж которыми злая борьба.
Делит надвое мир этот узенький ров,
Всей земли в нем решится судьба.

В наш глубокий окоп свой привет принесли
Люди с дальних полей, с горных троп,
И с надеждою взор всех народов земли
Устремился на этот окоп.

Вижу я из него, как склоняет лицо
Над жужжащею прялкою мать:
То прядет она шерсть, чтобы сотням бойцов
Сотни варежек теплых связать.

Вижу я: наши сестры в полуночный час
Ни на шаг не уйдут от станков,
И подруги готовят гранаты для нас,
Чтоб скорей мы сломили врагов.

А ребята-тимуровцы тоже не прочь
Обсудить вечерком у ворот —
Как бы семьям героев получше помочь,
Обласкать и утешить сирот.

Чувством дружбы, что, ширясь, растет день за днем,
Все мы связаны, край наш любя...
Нет, винтовка моя!
Твоим метким огнем
Защищал я не только себя!

Я лихому врагу на твоем языке
Дал на зверства достойный ответ.
Твердо знаю я, палец держа на курке:
Выстрел мой — голос наших побед.

Пусть у немцев колени морозом свело
И скривило отчаяньем рот.
Меня греет могучей отчизны тепло,
Мне опора — великий народ!

Как бы смерть, свои черные крылья раскрыв,
Ни грозила бойцу впереди,—
В моем сердце бессмертен свободы порыв,
Жизнь бушует в широкой груди.

Чувство гордости душу волнует мою,
От него мои очи влажны.
Друг!
Скажи:
Что почетнее смерти в бою,
На защите родимой страны?..

Так спасибо тебе!
До меня донесли
Твои письма, как светлый ручей,
Всенародный привет из родимой земли,
Гордость мною отчизны моей.

До свиданья ж!
До встречи, мой друг дорогой.
Нежно-нежно целую тебя!
Уже скоро мы встретимся снова с тобой.
Вражью силу в земле погребя.
1942

С УКРАИНСКОГО

Максим Рыльский

Я — СЫН СТРАНЫ СОВЕТОВ

Страны Советов сын, я говорю Иуде,
Тому, чей низкий лоб жжет Каина печать:
Иной отчизны мы искать себе не будем,
Мы кровью матери не станем торговать.

Блиставшая вчера на камне пьедестала,
В гирляндах из цветов, окроплена вином,—
Сегодня нам она стократ милее стала,
В жестокий смертный бой идущая с врагом.

В развалинах, в крови, в геройствах несказанных,
Чья слава будет жить века, а не лета,—
Для нас дороже всех небес благоуханных
Обычная ее земная суета.

Нам черствый хлеб ее милее, чем святыня,
Снега ее зимы прекрасней, чем весна,
И то, что горечью она объята ныне,—
Лишь знак, что оживет для радости она.

Я — гордый сын страны, что ранами своими
Несет свободу всем народам и краям.
Поклонится ее бойцам непобедимым
Любой цветок земли, склоняясь к их ногам.

И словом, и мечом я, сын Страны Советов,
Готов разить врага, что, как палач, жесток.
Еще ее чело в колючий терн одето,
Но славою сплетен ей лавровый венок.

Хоть за слезой слезу она, как бисер, нижет,
Но уж споткнулся враг среди ее равнин,
И в небесах над ней зарю победы вижу
Я — сын моей страны, я — самой правды сын!
1942

СЛОВО И ОТЗВУК

Сошлись мои друзья, обветренные боем,
И в розовые сумерки зимы
В залог того пожали руки мы,
Что грудью от врага свой стяг и хлеб закроем.

Привет через эфир послали мы героям
На вспаханные танками холмы...
О слово вещее! Набатом грянь из тьмы,
Сзывая их на бой, бодря и беспокоя!

И нам эфир принес их пламенный ответ,
Что над землей уже зари забрезжил свет,
Что лютого врага слабеет злая сила,
Что близится уже победы нашей срок,
Что возрожденья день счастливый недалек,
Что синий свод небес весна позолотила!
1942

С ЭСТОНСКОГО

Йоханнес Барбарус

ОСЕННЕЕ

1

Когда дни осени, как инвалиды,
скрипя протезами, бредут понуро
толпой безногою в ненастье, в ночь,
паучьи нити утром хмурым,
на сеть антенн похожи с виду,
поют, что жизнь твоя умчалась прочь.

Когда, блестящие росой густой
на мачтах утренних сквозных кустов,
они несут тебе в приемник-сердце
печаль осеннюю, едва звеня,
ты не боишься ли тогда увериться
в законе дня, в уходе дня?

Тогда ты слышишь ли на терпком небе
вкус едкой горечи, как во хмелю,
и запах тления?.. Один, как в гробе,
на горле чувствуешь ли петлю?

Осенним вечером душа осталась
одна, без дружеской моей руки.
Ступни скользящие дрожат устало,
глаза бесслезные сухи, жестки.
Слез нет как нет! ты в холодной лени
подходишь к морю, садишься — и
глядишь, как море швыряет в пене
на берег горести свои.
Виски горящие ветер резвый
остудит, гладя твое плечо,
и одарит тебя прохладой трезвой...

Тогда одно лишь горячо
желанье — жить!.. Весну влюбленным
еще раз встретить!.. Опять, опять
Неаполь, солнцем опаленный,
увидеть!.. Жить!.. Не умирать!..

Когда рождаются звездопадом
в тебе те помыслы,— в этот час
знай, мы с тобой шагаем рядом,
одна печаль связует нас!
<1940>

2

Пол опустевшей безрадостной нивы
Вымела осень — до колоса.
В сердце — зевота полей сиротливых,
Засухой сжатые полосы.

Грабли сгребли всё, что срезали косы.
Вянет листва облетелая.
Осень подходит, туманная осень,
Что ж! Ничего не поделаешь!

Ветер осенний ограбил природу.
Нивы остались раздетыми.
Может, и творчество этого года
Как-то невзрачно поэтому?

Да уж, посев мой удачливым не был!
Сеянный в засуху грустную,
Вырос без влаги чахоточный стебель,
Зерна качая безвкусные.

Чахлых скирдов обнаженные ребра
Встали скелета громадою.
Стук молотилок добычею доброй
Хмурое сердце не радует.

Осень шумит на картофельном поле
Ржавой ботвой да бурьянами.
Борозды, вдаль убегая на волю,
Рельсами блещут туманными.

Грустные мысли бегут поневоле
В дали, где озимь печалится.
Что-то припомнилось... Так среди поля
Камень знакомый встречается.
<1940>

СКАЗКА НАШЕГО ВРЕМЕНИ

С бычьей физиономии пара нахальных глазок
    в розовом настроении смотрит из-за пенсне...
Если он видит слабого, бьет его, не промазав.
    «Что,— говорит,— поделаешь? В жизни, как на войне!»

Нос натирает золото. Стала краснеть ложбинка.
    Щеткой пробор зализан, как языком кота.
Лишь из ноздри, забытая, тянется волосинка
    да, как лучи, топорщатся усики возле рта.

Ворот теснит дыхание и подпирает уши:
    три подбородка выросли,— он тесноват для них!
Кровь ударяет в голову, галстук петлею душит...
    Франт, он сует, как висельник, пальцы за воротник.

Цепь от часов красивая, толстая, золотая,
    вдоль по жилету тянется через тугой живот.
Он за любою женщиной, от сладострастья тая,
    как за своей добычею, улицами идет.

В ложе сидит промышленник с временною женою.
    Лисье боа на женщине — как серебристый жгут...
Смрадно его дыхание, тяжкое и хмельное.
    Тлеют глаза любовницы, ресницы ее — как трут.

Солнце блистает на небе и серебрит порошу.
    Дама блаженно щурится: ласкова к ней судьба!
Шуба ее из соболя, и туалет хороший,
    пудель, звеня цепочкою, писает у столба.

Это его законная розовая подруга,
    с утренними визитами выйдя на полчаса,
шествует оснеженным, заиндевелым лугом.
    Ей Ариадны нитью служит цепочка пса.

Девушка с нотной папкою, в шубке из горностая,
    следом идет. Шаги ее вялы и неровны.
Ей ли в унылом Таллине жить, красотой блистая!
    Не для нее ль составлены все поезда страны?

Это его наследница сонной бредет походкой.
    Грезы о принцах оперных ей лишь одни милы...
Папеньку нынче заперли в дом, где окно в решетках,
    и за подлог навесили на руки кандалы.

Тело рабочих Таллина обнажено бедою.
    С блуз их висят лохмотьями порванные края.
Дома у них — салака, черный сухарь с водою,
    пасмурная, голодная, высохшая семья.

Три драгоценных шкуры плечи трех женщин нежат.
    Помните: эти шкуры содраны с нищих, с нас!..
Песня — это не песня, если, как нож, не режет:
    слушайте хоть однажды поэзии диссонанс!

<1940>

ЛЮДИ ПОД ЛУПОЙ

Есть люди: пусть и мелок день их,
Они всегда полны собою.
Весь смысл их жизни — в пачке денег.
Что им война и поле боя?

Они — вот пуп земли, что будет
С другими — им какое дело?
К любой среде такие люди
Приспособляются умело.

Им вечно кажется, что скуден
Паек — отрада тел их бренных.
Войну клянут такие люди
Из-за ее тягот военных.

Клещи, они вопьются разом
В ткань так, что кровь из тела брызнет.
Они — слепцы, их честь и разум,
Как ставни, заперты для жизни.

Бездушны сами и ленивы,
Они вниманья ждут от друга.
Мы сохраним их негативы
И разглядим в часы досуга.

Противны этих баб столетних
Нытье и жалкие печали.
Услышав их пустые сплетни,
Презрительно пожми плечами!

1942

ВООРУЖЕННОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Скажи: ужели и в дни сраженья,
Поэт, останешься ты интимным?
Довольно сдерживать вдохновенье!
Пусть песня станет военным гимном,
Пусть стих пойдет на вооруженье!

В такие дни ты не будешь прежним —
Приличным, кротким, беззлобным, гладким.
К тебе взывает весь мир безбрежный!
Ему, что стонет в жестокой схватке,
Приди на помощь стихом мятежным!

Будь беспощаден, могуч, неистов,
Точи оружье, иди в атаку.
Стихи, как армию, в поле выставь,
Мсти им, прервавшим наш труд собакам,
Штыком и словом громи фашистов!

Под ритм чеканный стихов суровых
Шагай в походе и стой на страже.
Тот динамит, что заложен в строфах,
Взорвет на воздух твердыни вражьи...
Копи ж его для ударов новых!

Пусть робких муз убивает холод.
Ты ж, битвой смертною опаленный,
Мир вновь отстроишь на месте голом
И песню выносишь, вдохновленный
Сражения красотой тяжелой.
1943

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ПОЭЗИИ



С ВЕНГЕРСКОГО

Шандор Петефи

ЯНОШ КУКУРУЗА

1

На берегу ручья, под жарким солнцем лета,
Раскинув грубый плащ по мураве нагретой,
Где кашка разрослась, ромашки и лопух,
В июньскую жару валяется пастух.

Напрасно летний жар лицо пастушье сушит,
Совсем другой огонь ему сжигает душу,
Без присмотра в лесок ушли его стада.
Вблизи бежит ручей — и он глядит туда.

Восторженно глядит на хлопья мыльной пены,
На молодую грудь, на круглые колена
Возлюбленной своей, стирающей белье...
Как юбочка легко подоткнута ее!

Как белокурых кос красив тяжелый узел!
Как девочка мила!.. Всё Янчи Кукурузе
В любезной по душе! Всё — совершенство в ней!..
«О Илушка моя, цветок души моей!

Поверь, что на земле — лишь ты моя отрада.
Любимая! Спешить с работою не надо.
Выдь на берег ко мне, о горлинка моя!
Дай на твоих губах оставлю душу я!»

«Со стиркой нужно мне управиться сначала,—
Так Илушка ему печально отвечала,—
Ты знаешь, я живу у мачехи в дому.
Старуха жестока к сиротству моему.

Когда б не страх перед ней,— поверь, что я бы
вышла!» —
Бедняжка, покраснев, добавила чуть слышно,
Белье в воде ручья прилежно полоща.
И Кукуруза встал с нагретого плаща.

«Один лишь поцелуй! Всего одно объятье!..
Ужели за тебя не в силах постоять я?
Да мачехи твоей сейчас и дома нет!» —
Красавице своей промолвил он в ответ.

Так выманил ее он сладким разговором
На берег, заключил в свои объятья скоро
И целовал не раз, не сто, не двести раз,
А сколько — знал лишь тот, чей всюду видит глаз.

2

Целует ей пастух уста, глаза и плечи,
И между тем в ручье уже алеет вечер
И мачеха в сердцах, что падчерицы нет,
Ругаясь и ворча, проклятья шлет ей вслед:

«Негодница! Куда она запропастилась?
Долгонько нет ее! Уже и ночь спустилась.
Схожу к ручью, взгляну: постираны ль плащи?
И если нет,— тогда, лентяйка, не взыщи!..»

Ах, Илушка, очнись! Беда тебе, сиротка!
Вот ведьма уж бежит мышиною походкой
И, яростно раскрыв беззубый черный рот,
От сладких снов любви вас будит и орет:

«Бессовестная тварь! Бесстыдное созданье!
За что тебя господь послал мне в наказанье?
Ты честный дом отца позоришь пред людьми!
Скорей ступай домой, чума тебя возьми!»

«Вы, маменька, уже достаточно сказали! —
Прервал ее пастух и зло блеснул глазами.—
Уймите ваш язык, иль я заткну вам рот
И вырву желтый зуб, что выдался вперед!

Вам Илушка и так работает немало
И ест лишь черствый хлеб с похлебкою без сала.
Коль станете бранить сиротку, то потом
Пеняйте на себя: я подожгу ваш дом!..

Ступай, мой бедный друг! — промолвил он невесте.—
Скажи лишь мне — чуть что... А вы, карга, не лезьте
В чужие вам дела, совет мой от души!
Чай, девушкой и вы бывали хороши».

Тут Кукуруза мой, накинув плащ на плечи,
Отправился искать свои стада овечьи.
Искал он их, искал — и обмер наконец,
В овражке отыскав лишь несколько овец.

3

Уж солнышко зашло за крышами овинов,
А наш пастух собрал овец лишь половину.
Украл их кто-нибудь иль, может, волк унес,
Пока свою любовь он целовал взасос?

Он этого не знал. Куда б ни делось стадо,
Оставшихся овец вести в деревню надо.
И, с духом собравшись, печальный Янчи мой
Взял в руки посох свой и гонит их домой.

Он гонит их домой и думает: «Пожалуй,
Сегодня мне влетит, как сроду не влетало!
И так хозяин мой был нынче что-то строг,
И тут еще одна беда, помилуй бог!»

Повесив грустно нос, приплелся он к воротам...
Хозяину овец пересчитать охота,
Проверить: целы все ль, здоровы ли? И вот
Хозяин, подбочась, выходит из ворот.

«Плохой сегодня день! Похвастаться нельзя им!
Я стадо,— что скрывать? — не уберег, хозяин!
Овец недостает. И не одной, не двух,—
Полстада нет как нет!» — сказал ему пастух.

Тот гневно подкрутил усы у щек надутых
И молвил: «Не люблю, признаться, глупых шуток.
Чтоб ты со мною так, мальчишка, не шутил,
Покуда я тебя дубинкой не хватил!»

Но Янчи отвечал: «Мои слова — не шутка!»
Хозяин, рассердясь, лишается рассудка,
На Кукурузу он, как бешеный, орет:
«Я вилы, чертов сын, всажу тебе в живот!

Ох, лежебока ты! Ох, висельник! Ох, жулик!
Пусть вороны твой труп у плахи караулят!
Дай бог тебе висеть в петле у палача!..» —
Так он честил его, ругаясь и крича.

«Да для того ль, скажи, тебя кормил я, идол?
Прочь с глаз моих, злодей, чтоб я тебя не видел!»
Тут вырвал из плетня хозяин добрый кол
И, разъярясь, с колом на пастуха пошел.

Он выбрал добрый кол и драться шел, грозя им.
Увидев, что всерьез разгневался хозяин,
Наш Янчи побежал... Не от испуга, нет:
Он стоил двадцати, хоть прожил двадцать лет!

Бежал он потому, что, рассуждая здраво,
Хозяин на него разгневался по праву,
И если свалке быть, то руку на того
Поднять он не хотел, кто воспитал его.

Хозяин поотстал. Шаги умолкли сзади...
Без цели наш пастух поплелся, в землю глядя.
Садился. Снова брел неведомо куда.
У Янчи в голове всё спутала беда.

4

Когда ж настала ночь, когда в ручей зеркальный
Взглянули сотни звезд и с ними месяц дальний,
У Илушки в саду пастух окончил путь,
Не понимая сам, как мог сюда свернуть.

Из рукава плаща бедняга вынул дудку,
Дохнул — и полилась печальная погудка,
Такая, что роса, упавшая к утру,
Была слезами звезд, что слушали игру.

Возлюбленной его служили сани ложем.
Она спала. Но он сиротку потревожил.
Красавица сквозь сон узнала тот мотив
И вышла в сад, рукой косынку прихватив.

Но счастья не дала ей эта встреча с другом!
Бедняжка задала вопрос ему с испугом:
«Мой милый! Что с тобой? Зачем так бледен ты,
Как месяц, что глядит с осенней высоты?»

«Как бледным мне не быть,— сказал пастух
унылый,—
Когда в последний раз тебя, мой ангел милый,
Сегодня вижу я! — «Мне эта речь страшна!
Оставь ее, мой друг!» — ответила она.

«В последний раз меня ты нынче повстречала,
Свирель моя тебе в последний раз звучала,
В последний раз тебя сейчас я обниму,
Уста к твоим устам в последний раз прижму!»

Тут он ей рассказал, какая незадача
Его постигла днем. Она прижалась, плача,
Лицом к его груди. И он отвел глаза,
Чтоб ей не показать, как падает слеза.

«Прощай, моя любовь! Судьба в руках у бога.
О милом вспоминай порою хоть немного.
Когда осенний ветр сорвет листы, гоня
По небу облака,— подумай про меня!»

«Прощай, мой верный друг! Судьба в руках у бога.
Мы встретимся ль? Как знать! Тебе пора в дорогу.
Коль высохший цветок в далекой стороне
Увидишь на пути,— подумай обо мне!»

Так бедный Янчи мой с возлюбленной расстался,
Расстался — как листок от ветки оторвался.
Она в его руках лежала, трепеща,
Он слезы на щеках ей рукавом плаща

Отер и вдаль ушел, не поднимая взгляда...
Жгли пастухи костры. Звенел бубенчик стада.
Хоть ноги шли вперед, душа влеклась назад,
И он не замечал ни пастухов, ни стад.

Деревня позади. Звон колокола глуше.
Померкли вдалеке огни костров пастушьих.
Он посмотрел назад: лишь церковь, как скелет,
Как призрак гробовой, ему глядела вслед.

И слез его ничье не подглядело око,
Никто не услыхал, как он вздохнул глубоко.
Лишь высоко над ним летели журавли,
Но вздоха с высоты расслышать не могли.

Так в сумраке ночном шагал он, невеселый,
И по пятам за ним влачился плащ тяжелый.
Был тяжек этот плащ и палка тяжела,
Но тяжелей всего его печаль была.

5

Когда ж на небесах сменило солнце месяц,
Пастух покинул сень тенистых перелесиц
И углубился в степь. Бескрайняя, она
Тянулась на восток, желта и спалена.

Ни кустика вокруг, всё пусто слева, справа!
Лишь капельки росы блестят на низких травах...
Но вот издалека, прохладою дыша,
Блеснуло озерко в оправе камыша.

В болоте вкруг него смешная цапля бродит,
То рыбку в камыше, то червячка находит,
Да чайки, в той степи селясь бог знает где,
То взмоют в небеса, то упадут к воде.

Ничем не веселясь, идет пастух угрюмый.
Всецело поглощен своей печальной думой.
Хоть солнце темноту давно прогнало прочь,
В душе у пастуха царит всё та же ночь.

Когда же солнца шар достиг вершины неба,
Он отдохнуть присел, достал краюху хлеба
И вспомнил, что не ел с прошедшего утра.
(Сморили пастуха усталость и жара!)

Он вынул из сумы кусок свиного сала...
Сияли небеса. И солнышко бросало
Отвесные лучи. И в мареве жары,
Как слабая струна, звенели комары.

Немного отдохнув за трапезою скромной,
Со шляпой к озерку пошел бедняк бездомный,
По щиколотки стал в пахучий скользкий ил
И зачерпнул воды и жажду утолил.

Потом хотел идти, но тут же, у болота,
Почуял, что ему смежает взор дремота,
И голова его на хижину крота
Упала, тяжестью свинцовой налита.

И сон его привел к покинутому месту.
Он с Илушкой сидел. Он обнимал невесту.
Когда ж к ее губам хотел склониться он,
Удар степной грозы его рассеял сон.

Всё потемнело вдруг! Вся степь пришла в движенье!
В природе началось великое сраженье...
Так быстро в небесах произошла война,
Как пастуха судьба вдруг сделалась темна.

Гудели небеса. В просторы, в бездорожье
Из черных туч стремглав летели стрелы божьи
И падали, камыш зловеще озарив,
И по воде пруда плясали пузыри.

Тут шапку Янчи наш на самый лоб надвинул,
На посох оперся и на плечи накинул
Свой плащ, что был подбит овчиною внизу,
И с холмика смотрел на страшную грозу.

Но летняя гроза как прилетела скоро,
Так скоро и ушла с небесного простора,
На крыльях облаков умчалась на восток,
Где радуги висел сверкающий мосток...

Уж солнце спать легло в оранжевой постели.
Дохнуло холодком. Кусты зашелестели.
Тут капельки дождя пастух стряхнул с плаща
И дальше в путь пошел, дороги не ища.

От милого села несли беднягу ноги
В чужбину, через лес таинственный и строгий,
И ворон вслед ему прокаркал из гнезда,
Выклевывая глаз у мертвого дрозда.

Но ворон, лес и ночь его не испугали.
В чащобу ноги шли, сквозь заросли шагали,
Где мертвенно легло на каждое бревно
Безрадостной луны холодное пятно.

6

Кругом чернеет лес. Уж близко к полуночи.
Вдруг теплый огонек ему метнулся в очи.
Он лился из окна, тот красный огонек,
И Янчи моего внимание привлек.

«Ну вот,— хвала тебе, господь, создатель мира!
Тот огонек едва ль не из окна трактира,—
Подумал наш пастух.— Коль к этому окну
Привел меня господь, я тут и отдохну».

Он стукнул. Изнутри ответили сердито.
(Тот домик был притон двенадцати бандитов,
Их потайной вертеп. И в это время в нем
Головорезы те сидели за столом.)

Безлюдье... топоры... бандиты... пистолеты...
Коль здраво рассудить, совсем не шутка это!
Но сердцем пастуха гордиться б мог орел,
Поэтому пастух без страха к ним вошел.

Войдя, он шляпу снял и молвил: «Добрый вечер!» —
Как вежливость велит нам поступать при встрече.
Бандиты — кто пистоль, кто нож, кто ятаган
Схватили, и сказал их грозный атаман:

«Скажи, дитя беды: откуда ты и кто ты?
Ответь нам: как посмел пробраться за ворота
Заветного жилья? Есть у тебя жена?
Коль есть, то уж с тобой не встретится она!»

Но сердце пастуха сильнее не забилось
От этих страшных слов, лицо не изменилось,
И голосом, что был спокоен и силен,
Бандитов вожаку ответил смело он:

«Купцу, что мимо вас спешит с богатым грузом,
Конечно, вы страшны. Я ж, Янчи Кукуруза,
Бродяга и пастух. Я жизни не ценю.
Вот почему пришел я к вашему огню.

Когда вам лишний грех на совести не нужен,
То вы дадите мне ночлег и добрый ужин,
А нет,— вольны убить. Ведь я у вас в плену.
Клянусь, что я в ответ рукой не шевельну».

Весь стол был удивлен ответом пастуха.
«Послушай-ка, дружок! Признáюсь без греха,
Что ты мне по душе, лихая голова!
Тебя перекроить, так выйдет парня два!

Пусть черт возьмет тебя и твоего патрона!
Такого упустить могла бы лишь ворона.
Ты презираешь смерть! Ты храбр! Ты нужен нам!
Ты малый хоть куда! Ударим по рукам!

Убийство и грабеж — для нас одна забава.
Вот слева серебро. Вот золото направо.
Сознайся: за труды — хорошая цена!
Коль руку мне пожмешь, то вот тебе она!»

Наш хитрый Янчи всё сообразил проворно.
«Я, дескать, очень рад! — ответил он притворно.—
Вот вам моя рука. Пусть дружба свяжет нас.
Клянусь, что этот час — мой самый светлый час!»

«Чтоб сделать этот час еще светлей и лучше,
Мы пиршеством ночным разгоним грусти тучи.
В подвалах у попов немало сладких вин.
Сейчас мы поглядим: глубок ли наш кувшин?»

Разбойники всю ночь искали дно в кувшинах.
(У них что ни кувшин — то в полтора аршина!)
Нашли и напились к рассвету наповал!
Лишь Янчи наш вино глотками отпивал.

Когда ж бандиты все успели нализаться,
Забрал их крепкий сон. И пьяные мерзавцы
Свалились — кто куда: под лавки и под стол...
Тут Кукуруза мой такую речь повел:

«Спокойной ночи вам! Вас ангелы разбудят,
Когда придет судья, который мертвых судит.
Вы были жестоки к другим, а потому
Без жалости и я отправлю вас во тьму.

Сейчас я отыщу сокровищ ваших бочку,
Червонцами набью и сумку и сорочку
И ворочусь домой с богатою казной,
Чтоб Илушку мою назвать своей женой,

Построю крепкий дом, густым плющом увитый,
Введу ее туда хозяйкой домовитой,
И разобью сады, и буду по садам
Гулять с ней, как в раю, как Ева и Адам!..

Но полно! — наш пастух прервал себя нежданно.—
Ужели я вернусь к тебе с таким приданым,
Любимая моя? В нем каждый золотой
Заржавел от крови, невинно пролитой!

Я не возьму его. За каждую монету
Мне совесть жить не даст, страшнее муки нету!
Я Илушки любовь ничем не загрязню.
Ужасен этот клад. Предам его огню!»

Окончив эту речь, он вышел на крылечко,
Нашел в своей суме огниво, трут и свечку,
Раздул огонь, поджег разбойничий притон,
И начал дом в лесу пылать со всех сторон.

Окуталась дымком соломенная крыша.
Пробился огонек. Потух. Подпрыгнул выше.
Малиновый язык лизнул стекло окна.
И месяц побледнел. И стала ночь темна.

Над пляскою огней, над их игрой живою
Пронесся нетопырь с ослепшею совою,
Во тьму, в лесную глушь шарахнулись они,
Где только шум дерев и слышен искони.

И занялась заря. И осветило солнце
Развалины трубы, разбитое оконце,
Спаленные столбы, сгоревший черный дом...
И кости мертвецов желтели страшно в нем.

7

В то время наш пастух спокойно шел по степи.
Недолго думал он о брошенном вертепе,
Пылающем в лесу! Вдруг в солнечных лучах
Он увидал солдат в блестящих епанчах.

То мчались на конях венгерские гусары.
Лучи холодный блеск на сабли их бросали.
Вздымалась тучей пыль, и каждый борзый конь
Из камней высекал копытами огонь.

«Вот мне бы в этот полк! — подумал Кукуруза.—
Клянусь, что для него я не был бы обузой!
Их важный капитан, видать, силач и хват.
И я бы среди них заправский был солдат!»

Задумавшись, пастух шагал в пыли дорожной.
И вдруг раздался крик: «Приятель, осторожно!
На голову свою не наступи, земляк.
О чем тебе, дружок, задумываться так?»

«Я бедный пешеход,— сказал он капитану,—
Не знаю, где усну и где на отдых стану.
Я много веселей глядел бы, ваша честь,
Когда у вас в полку я мог бы службу несть!»

«Опасна жизнь солдат! — ответил тот герою.—
Мы заняты, дружок, войной, а не игрою.
На Францию ведут бесчисленную рать
Османы. Мы ж спешим французам помогать».

И Кукуруза наш сказал ему: «Тем боле
Хотел бы я душой забыться в ратном поле.
Когда я в грудь врага не погружу клинка,
То скоро самого убьет меня тоска.

Пускай лишь на осле за овцами, бывало,
Я ездил в пастухах,— всё это миновало.
Я, черт возьми, мадьяр! И это для меня
Создал премудрый бог и саблю и коня!»

Он многое еще сказал, шагая рядом
С начальником гусар, и речь дополнил взглядом
Таким, что капитан, потолковавши с ним,
Велел его в свой полк зачислить рядовым.

Едва ль передадут обычной речи звуки,
Что думал, натянув малиновые брюки.
И синий доломан, веселый Янчи наш!
Он солнцу показал сверкающий палаш,

Уселся на коня, и конь, приказу внемля,
Послушен был узде и бил копытом землю,
И если бы земля под Янчи затряслась,
И солнца свет померк, и дьявол крикнул: «Слазь!» —

Он всё равно б не слез!.. Приятели-солдаты
Дивились на него — таким глядел он хватом!
Когда ж снимался полк и покидал село,
То девушек пятьсот за Янчи с плачем шло!

Но что касалось их, то сердце Янчи билось
Спокойно: ни одна ему не полюбилась.
Объехав много стран, не мог он отыскать
Такую хоть одну, что Илушке под стать.

8

Ей верен до конца остался Кукуруза!..
Меж тем гусары шли на выручку французов,
И вот однажды полк узнал немалый страх,
Придя в страну татар о песьих головах.

К гусарам вышел царь татар песьеголовых
И капитану их сказал такое слово:
«Кто вы? Известно ль вам, что мой народ окрест
Людскую кровь сосет, людское мясо ест?»

У каждого бойца от страха сжалось сердце:
Песьеголовцев сто на каждого венгерца
Готовилось напасть. Их выручил один
Великодушный царь косматых сарацин.

Он у царя татар гостил и стал горою
За молодцов гусар, за полк моих героев.
(Он в их родной стране бывал когда-то встарь,
И честный нрав мадьяр знал сарацинский царь.)

Татарскому царю он был хорошим другом.
Когда венгерцам тот угрозы слал и ругань,
Он пристыдил его и начал говорить,
Стараясь дикаря с гостями примирить:

«Прошу тебя, мой друг: не трогай этой рати!
Они — мои друзья. За что тебе карать их?
Зачем тебе терзать и мучить их в плену?
Дай царский пропуск им через твою страну!»

«Быть посему! — сказал татарский император.—
Ты просишь — и с тобой считаюсь я, как с братом»
И подданным своим в обязанность вменил,
Чтобы полку никто препятствий не чинил.

Страшась его, никто венгерцев не обидел.
Всё ж крикнул полк «ура!», когда разъезд увидел
Границу той страны. И странно ль, если тут
Медведи бродят лишь да финики растут.

9

Да, службу сослужил им этот пропуск царский!..
Остались позади хребты страны татарской.
Денек — и вот уже в Италии они.
Лес розмаринов их укрыл в своей тени.

Здесь всё у них пошло прекрасно, не считая
Того, что круглый год там льды лежат не тая.
Их пробирал мороз. (Как твердо знаем мы,
В Италии всегда лежат снега зимы.)

Но наши молодцы мороз преодолели.
Когда же от него у них носы болели,—
Чтоб стужу победить, чтоб лучше сладить с ней,
Гусары на плечах несли своих коней.

10

Немного погодя прошли гусары Польшу
И в Индию пришли. Оттуда шаг, не больше —
До Франции. Лежит поблизости она.
Но в Индии была дорога их трудна!

Кругом одни холмы, а небо зноем дышит.
Чем дальше, тем холмы становятся всё выше;
Когда же пешеход минует Бенарес,
Он видит горный кряж, встающий до небес.

Тут наши молодцы не мерзли, а потели.
Лишь галстуки они оставили на теле.
Читатель мой! И вы разделись бы, кабы
Жгло солнышко от вас в получасу ходьбы.

Гусары шли да шли. И, становясь на роздых,
На завтрак пили дождь, на ужин ели воздух.
Когда же чересчур томил их солнца луч,
Спасался полк водой, что выжимал из туч.

Вот наконец они добрались до вершины.
Здесь только по ночам и шли, хоть и спешили,
А отдыхали днем. (Там жарко, как в аду!)
Тут Янчи аргамак споткнулся о звезду.

И в бездну та звезда скатилась с легким шумом.
А Янчи посмотрел и про себя подумал:
«В народе говорят: коль падает звезда,
То это чья-то жизнь погасла навсегда.

Ну, мачеха, молись! Твое, старуха, счастье,
Что разобрать пастух — где чья звезда — не властен.
Когда средь этих звезд нашел бы я твою,
Ты, старая карга, давно была б в раю!»

Спустились вниз они по каменистым склонам.
Тут стало холодней. Внизу ковром зеленым
Иль шахматной доской раскинулись поля.
И та земля была — французская земля.

11

А с Францией другим не поравняться странам!
Я б этот край сравнил с Эдемом, с Ханааном!
Поэтому враждой и алчностью дыша,
На Францию привел орду свою паша.

Уже его орда награбила немало
Сокровищниц, дворцов, и ризниц, и подвалов.
Она деревни жгла и, вытоптав зерно,
Зарезала овец и выпила вино.

Пришедшие туда на выручку мадьяры
Увидели кругом руины и пожары.
Османы, короля прогнав из замка прочь,
Украли у него единственную дочь.

Глубоко удручен судьбою столь печальной,
От турок в глубь страны бежал король опальный,
Никто на короля не мог смотреть без слез,
Так много страшных бед несчастный перенес!

Начальнику гусар сказал король-изгнанник:
«Мой друг! Перед тобой стоит бездомный странник.
Я с Дарием давно ль поспорить славой мог?
И вот, как нищий, я скитаюсь вдоль дорог!»

Начальник отвечал: «Уж мы, король великий,
Заставим поплясать народец этот дикий
За то, что, у тебя отняв страну и трон,
С тобою поступил так недостойно он.

Позволь нам отдохнуть. Наш трудный путь был долог.
А завтра, лишь заря поднимет ночи полог,
Врагам через посла объявим мы войну
И вмиг тебе, король, вернем твою страну!»

«Увы! — сказал король.— А где моя дочурка?
Тому, кто отобьет несчастную у турка
И бедному отцу вернет голубку вновь,—
Полцарства моего и дочери любовь!»

Гусарам те слова весьма приятны были
И многих молодцов на подвиг вдохновили,
И каждый думал так: «Хоть голову сломлю,
А дочку возвращу бедняге королю!»

Лишь Кукуруза наш на это обещанье
Французского царя не обратил вниманья:
Его мечта была в совсем ином краю —
Он вспоминал в тот миг про Илушку свою.

12

Когда же поутру над миром солнце встало,
Оно такой борьбы картину увидало,
Взберясь по облакам на краешек земли,
Какой мы и во сне увидеть не могли:

Под звуки медных труб, под грохот барабана
«По коням!» — раздалась команда капитана,
Проснулась наша рать и села на коней,
И знамя в синеве зареяло над ней.

«Друзья! — сказал король.— Я тоже с вами вместе
Пойду громить врагов моей земли и чести.
Пускай я стар и сед,— я бранный шум люблю!»
Но капитан гусар ответил королю:

«Нет, милостивый царь. Останься лучше сзади
И в драку, не спросясь, не суйся, бога ради.
Пусть боевой задор не изменил тебе,—
Коль силы нет в руках, какой уж смысл в борьбе?

Останься позади и положись на бога,
На ангелов его и на меня немного.
Клянусь тебе, король: еще полночный сон
На землю не сойдет, как ты займешь свой трон!»

Тут бравый полк гусар, лихую песню грянув,
Отправился искать разбойников-османов.
Вблизи кибитки их стояли без числа,
И полк им объявил войну через посла.

Он прискакал назад — и затрубили горны.
Мадьяры на врагов помчались тучей черной:
Гусарских шашек лязг и пистолетный дым
Смешались в той резне с их криком боевым!

В бока своих коней они вонзали шпоры,
От грохота копыт дрожмя дрожали горы,
Гудели недра их... Не сердце ли земли
Стонало, битвы шум услышав издали?

У турок был вождем паша семибунчужный.
Ему, чтоб захмелеть, сто бочек меду нужно.
Пунцовый от вина, его турецкий нос
Как перечный стручок над бородою рос.

Пузатый тот паша, вожак турецкой рати,
Сойдя к своим войскам, хотел в каре собрать их,
Но дрогнул табор весь и крик муллы умолк,
Когда в ряды врагов мадьяр врубился полк.

И задали ж они своим клинкам работу!
Здесь каждый янычар потел кровавым потом,
И до того дошло, что изумрудный луг,
От крови покраснев, стал красным морем вдруг.

Ну, жаркий был денек! Ну, битва, чтоб ей пусто!
Кругом тела врагов, изрубленных в капусту...
На Янчи сам паша с огромным животом
Нацелился копьем. Но тот коня хлыстом

Ударил и, паши желанью не переча,
С усмешкой на губах скакал ему навстречу,
Крича: «С чего ты вдруг расплылся, как евнух?
Дай я тебя, толстяк, перекрою на двух!»

Тут Кукуруза наш как думал, так и сделал:
Рассеченный паша упал с кобылы белой,
Верх — с правой стороны, низ — с левой стороны,
Тут феска и чалма, там туфли и штаны.

Увидя смерть паши, турецкие отряды
Бежали от гусар, рубивших без пощады.
Когда б их полк мадьяр не окружил средь гор,
То, может быть, они бежали б до сих пор!

Гусары скоро их настигли там однако,
Их головы в траву, подобно зернам мака,
Летели — и в живых остался лишь один
Турецкого паши сластолюбивый сын.

За ним во весь опор помчался Кукуруза...
Турецкий конь, двойным отягощенный грузом,
На гриве у себя несет через поля
Бесчувственную дочь бедняги короля.

«Стой, черт тебя возьми! — кричит пастух злодею.—
Иль я тебя копьем сейчас ударю в шею
И пробуравлю в ней такую дырку, брат,
Что сквозь нее душа умчится прямо в ад!»

Но сын паши бежал, не слушаясь нимало...
Вдруг лошадь у него споткнулась и упала;
Оставшись с пастухом лицом к лицу один,
Ему пролепетал паши трусливый сын:

«Помилуйте меня, о благородный витязь!
Пред юностью моей, молю, остановитесь!
Я молод, и меня ждет мать в родном краю!
Ах, я отдам вам всё,— оставьте жизнь мою!»

«Возьми ее себе, презренный трус и жулик!
Ты, заячья душа, не стоишь честной пули,
Беги отсюда прочь в поля своей страны
И расскажи другим — где спят ее сыны!»

И сын паши бежал от этой речи гневной...
Тут ясные глаза открыла королевна,
И слабым голоском она едва-едва
Такие, покраснев, произнесла слова:

«Спаситель милый мой! Не спрашиваю — кто ты?
Благодарю тебя за смелость и заботы.
Ты спас меня и так приветлив был со мной,
Что я готова стать, мой друг, твоей женой!»

Кровь Янчи моего нельзя назвать водою.
Он в поле был один с принцессой молодою,
Но поборол в себе желания змею,
Припомнив в этот миг любимую свою.

Он отвечал ей так: «Принцесса молодая!
Вас ждет в своем дворце старик отец, рыдая.
Позвольте, я сперва туда вас отведу...»
Слез и повел коня принцессы в поводу.

13

Уже затмил небес пространство голубое
Закат, когда они пришли на место боя,
Уже сходила тьма, уже свет солнца гас,
И на поля глядел его багровый глаз.

Глядел — и на полях, туманами повитых,
Лишь воронов нашел сидящих на убитых...
Был солнцу этот вид так страшен, что оно
Нырнуло в океан и спряталось на дно.

Спокойной синевой тут озеро блистало,
Но в этот мрачный час оно пунцовым стало,
Когда в его воде венгерцев наших рать
Кровь турок принялась смывать и оттирать.

Отмывшись наконец от крови и от пыли,
Гусары короля с почетом проводили
В тот замок, что стоял совсем невдалеке
И башни отражал в клубящейся реке.

Туда же в этот час приехал Кукуруза.
С ним королевна шла. Пусть мне поможет муза
Представить, как она прекрасна и светла!..
Он — как гроза, она — как радуга была!

Принцесса, вся в слезах, к родителю на шею
Упала, и король сам прослезился с нею.
Вновь найденную дочь в уста облобызал
И, сдвинув набекрень корону, он сказал:

«Час горестей прошел! Теперь нам отдых нужен.
Пора героям сесть за королевский ужин!
Распорядитесь: пусть придворный кулинар
Заколет сто быков для доблестных мадьяр».

«Великий государь! В столовой всё готово —
От жареных цыплят до рейнского густого»,—
Раздался хриплый бас, и повар в колпаке
Предстал пред королем с шумовкою в руке.

И повара слова приятно отдавались
В ушах моих гусар: они проголодались,
И никого просить вторично не пришлось,
И чавканье солдат в столовой раздалось.

И так же горячо, как час назад османов,
Все стали истреблять индеек и фазанов,
И к сыру перешли, отдав колбасам честь.
(Чтоб ловко убивать — солидно надо есть!)

Уж кубок обходил столы во славу божью,
Когда король сказал с прочувствованной дрожью:
«Прошу вас, господа, мою послушать речь
И тем, что я скажу, отнюдь не пренебречь».

Хотя толпа гусар не перестала кушать,
Но слово короля была готова слушать.
Он кашлянул в кулак, потом отпил вина,
Стремясь, чтоб речь была красива и плавна,

И начал так: «Пускай свое мне скажет имя
Тот витязь, что вернул заботами своими
Больному старику единственную дочь
И недругов моих прогнал за море прочь!»

Тут встал из-за стола наш Янчи, воин грозный,
Поднялся и сказал: «Я Кукурузой прозван!
Пусть это имя вам мужицкое смешно,—
Как честный человек, мне нравится оно!»

И произнес король: «Любезный друг! Ты станешь
Отныне рыцарь мой, мой славный витязь Янош!»
Он вынул из ножон свой королевский меч
И, Янчи посвятив, свою продолжил речь:

«Чем можно наградить столь важные заслуги?
Ты видишь дочь мою? Возьми ее в супруги!
Вот дар мой! А чтоб мал не показался он,
В приданое бери мой королевский трон.

Мне стали тяжелы и скипетр и корона,
Мне восемьдесят лет, и я устал от трона,
От бунтов, от войны, от королевских дел —
От них я одряхлел, от них я поседел.

На твой высокий лоб корону я надену
И больше ничего не попрошу в замену,
Как только чтобы ты мне в замке дал чулан,
Покуда в склеп меня не стащит капеллан».

И всю толпу гусар, что в зале ели, пили,
Подарки короля донельзя удивили.
Что ж сделал Янчи наш? Он тоже тронут был
И добряка царя весьма благодарил.

Он встал и произнес: «Спасибо, ваша милость!
Мне щедрости такой награда и не снилась.
Но, как ни жалко мне, я должен вам сказать,
Что этот царский дар я не могу принять.

Мне взять его, король, не позволяет совесть.
Спроси вы: почему? — я б рассказал вам повесть,
Но повесть та длинна, грустна, и я молчу,
Поскольку в тягость быть собранью не хочу».

«Сынок!— сказал король. — Выкладывай нам смело,
Чем вызван твой отказ... Открой мне:
в чем здесь дело?..»
Историю свою наш Янчи начал тут,
А что он рассказал, то ниже все прочтут.

14

«Открою,— молвил он, вставая перед ними,—
Откуда получил я Кукурузы имя.
В ее густой листве меня в степи нашли
И Кукурузой в честь находки нарекли.

Средь поля кукуруз на маленькой полянке
Однажды в летний день сидела поселянка.
Вдруг слышит, что дитя блажит бог знает где.
Взглянула — и меня нашла на борозде.

Так горько плакал я, что в ней проснулась жалость,
Она взяла меня и накормила малость,
И с поля принесла в свою избушку: ей
И старику ее не дал господь детей.

Но этот злой старик меня сердито встретил:
«Нам голодно вдвоем, а тут еще и дети!
Чем этот лишний рот кормить прикажешь мне?
Неси его назад!» — он закричал жене.

«Хозяйство от него не обеднеет наше,—
Сказала моему приемному папаше
Она.— Когда б дитя я бросила, тогда
Что отвечала б я в день Страшного суда?

К тому ж он подрастет и в доме пригодится,
У нас овечки есть. Они начнут плодиться.
Нам выгодно вдвойне: во-первых, нет греха,
И мальчик, во-вторых, заменит пастуха».

Крестьянин уступил. Но, хоть играл я рядом,
Ни разу на меня не глянул добрым взглядом.
Когда ж у чудака неважно шли дела,
В ответе у него моя спина была.

Я сиротою рос. Меня держали строго:
Работа да битье, а радостей немного.
Все радости мои, пожалуй, были в том,
Что девочка одна к нам приходила в дом.

Мать Илушки моей давно слегла в могилу,
А старику вдовцу без женки скучно было,
Женился снова он, да вскоре и помри.
Дочь круглой сиротой осталась года в три.

Та девочка была тиха, как луч вечерний,
Как роза, для меня полна цветов и терний.
Мы с Илушкой в пыли играли у ворот,
Нас знало все село — двух маленьких сирот.

Хоть я ребенком был, но милую подружку
Не променял бы я на сладкую ватрушку.
Я всю неделю ждал, чтобы воскресным днем
На лавочке в саду с ней посидеть вдвоем.

Когда ж я в первый раз поцеловался с милой,
Кровь сердца моего забила с чудной силой,
С такой, что, думал я, один его удар
Способен в пустоту земной обрушить шар!

А мачеха ее частенько обижала...
И лишь одна боязнь в узде ее держала:
Свирепую каргу я укрощал, как мог,
Пускай за сироту накажет ведьму бог!

Но вот и у меня настала жизнь собачья.
Однажды в честный гроб мы положили, плача,
Кормилицу мою, ту, что меня нашла
И, как родная мать, ко мне добра была.

Едва ли кто видал, чтоб Кукуруза плакал!
Я грубоватым рос, был крепок. И, однако,
На этот бедный холм среди других могил,
Как дождик в серый день, я горько слезы лил.

Со мной моя любовь стояла у могилы.
Видать, не только мне,— ей тоже горько было.
Покойница ее ласкала, как могла,
И, добрая душа, сиротку берегла.

Бывало, лишь вдвоем увидит нас — и скажет:
«Постойте! Дайте срок! Вас узы брака свяжут,
И пара хоть куда получится из вас!
Лишь надо потерпеть: уже недолог час».

Как верили мы ей! Как терпеливо ждали!
Друг друга берегли, друг другу слово дали...
Когда б ее не взял господь в свои края,
Наверно, веселей была б судьба моя.

Но прахом всё пошло. Она глаза сомкнула.
На счастье, на любовь надежда обманула.
На нас дохнуло зло дыханием зимы,
Хоть, вопреки всему, нежней любили мы.

Что делать? Знать, судьба в руках у высшей власти!
Господь нам не судил и маленького счастья.
Однажды я в лесу не уберег овец —
И выгнал вон меня приемный мой отец.

Я горькое «прости» сказал моей любимой
И по миру пошел, бездомный и гонимый.
Немало обошел я городов и стран,
Покуда в полк меня не принял капитан.

Я Илушку мою не убеждал нимало,
Чтоб сердце никому она не отдавала,
Об этом и она не говорила мне.
В свою любовь, король, мы верили вполне.

Кончая речь свою, прошу вас, королевна:
Мой дерзостный отказ не осудите гневно.
Я буду верен ей до смерти, как жене,
Хотя бы даже смерть забыла обо мне».

15

Он кончил и обвел собранье пылким взглядом...
Как он растрогал всех! Катились слезы градом
По лицам короля, принцессы и других.
И жалость к пастуху была колодцем их.

Король ему сказал: «Дружище! Без сомненья,
Я применять к тебе не стану принужденья.
Когда принцессу ты не можешь взять женой,
То я тебе, сынок, подарок дам иной.

Не наградив тебя, не буду спать ночей я...» —
Король сошел в подвал и крикнул казначея,
И Кукурузе тот мешок червонцев дал.
Бедняга отродясь их столько не видал!

«Ну, витязь Янош! Ты теперь жених богатый.
Пусть будет этот дар моей неполной платой
За мужество твое с османами в борьбе.
Дарю его твоей невесте и тебе!

Хоть сладкое вино еще осталось в кубке,—
Я вижу: ты мечтой летишь к своей голубке.
Ты таешь! Ты горишь... Ступай, дружище, к ней.
Гусары ж в замке пусть кутят хоть десять дней...»

Как говорил король — так точно всё и было:
Пастух спешил к своей голубке сизокрылой,
Он счастья пожелал двору и королю
И в гавань поспешил к большому кораблю.

Хмельная рать гусар счастливца проводила,
Спокойного пути счастливцу посулила
И долго вслед ему смотрела... Пал туман
И скрыл корабль от глаз, окутав океан.

16

Пастух на корабле проснулся на рассвете.
Тугие паруса ловили крепкий ветер.
Но мысли пастуха неслись еще быстрей,
Свободны от руля и груза якорей.

И были те мечты безоблачны и ясны:
«О Илушка моя! О ангел мой прекрасный!
Ты радостей не ждешь, давно не веришь в них,
Не знаешь, что к тебе несется твой жених.

Я щедро награжден за скромную заслугу.
Мы станем наконец принадлежать друг другу,
Несчастий срок прошел, и после стольких бурь
Теперь блеснет и нам спокойная лазурь,

Я отчиму прощу жестокую обиду.
Что я им оскорблен — я не подам и виду.
Ведь счастья моего виновник все же он,
И будет мною он богато одарен».

Так думал Янчи наш и не однажды думал,
Пока корабль бежал по глади вод угрюмой
И хмурый океан хлестал его бока...
А Венгрия была всё так же далека!

Об Илушке своей мечтая непрестанно,
Пастух не слышал слов седого капитана:
«Ребята! Паруса повисли на ветру.
Теперь того и жди волненья поутру!»

Уж осень подошла. Над морем цепью длинной
Летели журавли. Тот поезд журавлиный,
Казалось, нес ему от Илушки привет.
С печалью и тоской пастух глядел им вслед,

С печалью и тоской пастух следил за ними
И тихо повторял возлюбленное имя,
Полузакрыв глаза, мечтою несся к ней
И с болью вспоминал о Венгрии своей.

17

Как думал капитан, так и случилось: вскоре
Погасли небеса, затрепетало море,
Рыдая и свистя, летел кипучий вал,
А ветер гнал его, крушил и бичевал.

На волны моряки глядели, брови хмуря:
В диковинку для них была такая буря,
Творился сущий ад и в небе и в воде,
И не было от волн спасения нигде!

Над судном небеса то меркли, то горели.
Испуганных людей слепили молний стрелы,
Пучину осветив, где плыл безмолвный краб...
И вдруг одна стрела ударила в корабль.

Валы обломки мачт и паруса влачили,
Могилу моряки нашли на дне пучины...
Где ж смелый Янчи наш? Судьбою пощажен
Иль тоже погребен в соленом море он?

Да, был и наш герой от смерти недалеко!
Но пастуха спасло всевидящее око:
Огромная волна беднягу подняла,
Чтоб пена для него могилой не была.

Так высоко его подкинул вал могучий,
Что головою он достал до синей тучи
И, оказавшись там, чтоб не свалиться вниз,
За краешек ее схватился и повис.

Два дня, два долгих дня на туче провисел он!
На третий наконец она на землю села,
И та земля была вершиною скалы,
Где гнезда грифы вьют да горные орлы.

Спустившись, он принес благодаренье богу.
Ведь, строго говоря, он потерял немного;
Безделицу, пустяк: с червонцами мешок.
Зато он спасся сам — и это хорошо!

Нам жизнь всего милей,— уж тут какие споры...
Наш Янчи посмотрел на пасмурные горы,
И между хмурых скал, встающих без конца,
Увидел грифа он, кормящего птенца.

На птицу наш пастух тотчас аркан накинул,
Пнул шпорой в бок ее, взобрался к ней на спину,
И, над хребтами гор стрелою воспарив,
Его, как жеребец, понес могучий гриф.

Сначала гриф его старался в бездну сбросить:
Он круто пастуха над пропастями носит,
Петляет... Но ему ничто не помогло,
Так цепко Янчи наш держался за крыло.

Бог знает сколько стран скитальцы облетели...
Уж чувствовал пастух усталость в крепком теле,
Но как-то поутру, когда редела мгла,
Увидел под собой храм своего села.

Придет же иногда подобная удача!
Пастух глядел на храм, от счастья чуть не плача,
А утомленный гриф летел всё вниз да вниз
И наконец в степи над холмиком повис.

Полураскрывши клюв, могучий гриф устало
Упал на этот холм, и крылья распластал он.
Наш Янчи слез с него и, отпустив крыло,
Задумчиво пошел в родимое село.

«Из странствий,— думал он,— я не принес сокровищ,
Но ты, моя любовь, мне дверь без них откроешь!
Важней, что верный друг к тебе вернулся вновь,
Вернулся и принес старинную любовь».

Меж тем в село плелись скрипучие телеги.
Уж виноград созрел. Янтарные побеги
Укладывал народ в бочонки дотемна,
И всюду стлался дух прокисшего вина.

Сельчане пастуха уже не узнавали,
Да Янчи-то и сам их замечал едва ли:
Не видя ничего, он шел на край села
К той хижине в саду, где Илушка жила.

Когда открыл он дверь, когда вступил он в сени,
Дыханье у него стеснилось на мгновенье,
Но, в комнату войдя возлюбленной своей,
Толпу чужих людей пастух увидел в ней.

«Я не туда попал!» — берясь за ручку двери,
Подумал наш герой (он сам себе не верил!).
Но женщина одна, прервав домашний труд,
Спросила у него, кого он ищет тут.

Взволнованный пастух назвал себя молодке...
«По смуглому лицу, одежде и походке,—
Воскликнула она,— я б не узнала вас!
Как хорошо, что вы вернулись в добрый час.

Войдите к нам в избу, благослови вас боже!
Вам надо отдохнуть. Я расскажу вам позже
Все новости родной округи и села».
И добрая душа его в избу ввела.

«Вы, дядюшка, меня не помните, пожалуй.
Я чуть не каждый день у Илушки бывала.
Мы жили рядом тут, да домик наш снесен...»
— «А где ж она сама?» — спросил молодку он.

Красавицы глаза наполнились слезами.
«Ужель вам ничего соседи не сказали? —
Смахнув слезу с ресниц, ответила она.—
Ведь Илушка давно в земле схоронена».

Добро, что на скамью уселся Кукуруза!
Когда бы он стоял, от тягостного груза
Жестокой вести той пастух свалился б с ног...
Рукою сердце он прижал, насколько мог.

Казалось, он хотел из сердца вырвать муку.
И долго просидел он, опершись на руку,
Как будто бы уснул. И, словно пробужден,
Молодку наконец спросил негромко он:

«Быть может, ты мне лжешь? Быть может, замуж вышла
Любимая моя, решив, что раз не слышно
Так долго обо мне, то, верно, я в гробу,
И в мужнюю она перебралась избу?

Я Илушку тогда увижу непременно,
И верь, что будет мне сладка ее измена...»
У женщины в лице была печаль видна,
И понял Янчи наш, что не лгала она.

18

Из глаз его забил источник слез обильный,
Он деревянный стол рукою обнял сильной
И голосом, порой ломавшимся от слез,
Склонясь на этот стол, с тоскою произнес:

«Зачем я не погиб с пашою в бранном споре?
Зачем я не нашел свою могилу в море?
И почему стрела господнего огня,
Как молния в скалу, ударила в меня?..»

Прошли часы. Печаль его терзать устала,
Немало потрудясь, кручина задремала,
И он спросил, лицо поднявши от стола:
«Скажи мне: как моя голубка умерла?»

«Бедняжки чистый дух сломили огорченья,
Сердечная тоска и мачехи мученья.
Но та за этот грех ответила сама:
Достались ей в удел лишь посох да сума.

Сиротка вас звала, когда ей было плохо,
И в тяжкий час конца сказала с тихим вздохом:
«Любимый Янчи мой! Когда любовь свою
Не позабудешь ты, мы встретимся в раю!»

Благословивши вас, она глаза закрыла
И тихо умерла. Близка ее могила.
Соседи до глухих кладбищенских ворот
За бедным гробом шли — и плакал весь народ».

И Янчи захотел проститься с гробом милой.
Молодка на погост беднягу проводила.
Оставшись там один, от горя сам не свой,
На холмик дорогой упал он головой.

Упал и зарыдал и те припомнил лета,
Когда ее глаза горели чистым светом...
А нынче те глаза в земле схоронены,
Потухли навсегда, навеки холодны!

Уже закат погас, и солнце закатилось,
И бледная луна над миром засветилась,
Печально озарив осенний небосклон,
Когда с сырой земли поднялся тихо он.

Поднялся, постоял, побрел, роняя слезы...
Потом вернулся вновь. Колючий кустик розы
На холмике расцвел и сиротливо рос.
И Кукуруза наш сорвал одну из роз.

И прошептал цветку: «Ты поднялся из пыли
Возлюбленной моей, что крепко спит в могиле.
В скитаниях моих не покидай меня!»
И вдаль ушел, цветок на сердце схороня.

19

Два спутника нашлись в дороге у венгерца.
И первый был печаль, что вечно грызла сердце,
И добрый старый меч — товарищ был второй,
Тот меч, которым встарь сразил пашу герой.

И долго по земле скитался он без дела...
Немало раз луна полнела и худела,
Немало раз земля впадала в зимний сон,
Когда свою печаль окликнул тихо он.

Окликнул и, грустя, сказал тоске сердечной:
«Когда наскучишь ты своей работой вечной?
Коль ты меня убить не можешь, то уйди,
Ищи себе приют в иной людской груди.

Довольно! Если ты мне дать покой не в силах,—
Я по миру пойду — и в странствиях унылых
Желанный мне конец найду, быть может, я.
В них оборвется жизнь бесцельная моя!»

Так наш пастух прогнал тревоги и печали.
Лишь изредка они в пустую грудь стучали,
Но крепко заперта была для них она.
Лишь на глазах слеза дрожала, солона.

Потом и со слезой бедняга рассчитался,
У Янчи на плечах лишь жизни груз остался...
Однажды в темный лес забрел он — и вблизи
Телегу увидал, застрявшую в грязи.

Хромому гончару она принадлежала.
Он бил кнутом коня, а колесо визжало,
Злорадствуя: «Ага! Попал, гончар, в беду!
Хоть лопни, никуда из грязи не пойду!»

«Отец! — сказал пастух горшечнику.— Здорово!»
Горшечник на него уставился сурово
И хмуро проворчал, присев на старый пень:
«Небось не у меня, у черта добрый день!»

«Ну, полно, старина! Что с вами? Не сердитесь!» —
Приветливо ему ответил добрый витязь.
«Как не сердиться мне? — за колесо берясь,
Сказал хромой гончар.— Смотри, какая грязь!»

«Я вам, отец, в беде могу помочь немного,
А вы скажите мне, куда меня дорога
Вот эта приведет, коль я по ней пойду?» —
Спросил пастух, коня хватая за узду.

«Приятель! Там лежат неведомые страны,
И населяют их не люди — великаны.
Тебе ходить туда совета я не дам.
Кто в этот край ни шел, все погибали там».

«Ну, вы уж на меня, хозяин, положитесь!» —
Хромому гончару сказал бесстрашный витязь,
Оглоблю ухватил и, даже не кряхтя,
Возок на твердый грунт он выкатил шутя.

Тот онемел, дивясь такой могучей силе!
Его глаза малы для удивленья были.
Когда ж: «Спасибо вам за то, что помогли!» —
Горшечник произнес, уж Янчи был вдали.

Он углубился в лес, и перéсек долину,
И скоро подошел к владеньям исполинов,
И стал на берегу их крошки-ручейка,
Который был широк, как бурная река.

На берегу стоял лесничий великанов...
Тут голову задрал, в лицо циклопу глянув,
Наш Кукуруза так, как если бы на шест
Пожарный он смотрел иль на церковный крест.

Увидев под собой прохожего с котомкой,
Циклоп загрохотал насмешливо и громко:
«Вот почему моя чесалась пятка так?!
Постой! Сейчас тебя я раздавлю, червяк!»

Но Янчи раздавить не так-то было просто!
Верзиле под пяту он меч подставил острый,
Ее об этот меч обрезал великан
И с грохотом в ручей обрушился, болван.

Тут наш пастух, взглянув на великана тело,
Понял, что тот упал, как этого хотел он:
«Ведь я по нем пройти, как по мосту, могу!»
Секунда — и герой на левом берегу.

Подняться не успел лесничий исполинов —
Уж Янчи, из ножон заветный меч свой вынув,
Клинок ему в хребет вогнал по рукоять.
И умер великан. Теперь ему не встать

У рубежа своей страны на карауле!
В последний раз глаза громадные мигнули,
Потом навеки в них затмился ясный свет,
И наступила ночь, конца которой нет.

Широкая волна хлестнула через тело,
И синяя вода ручья побагровела...
А Янчи-пастуха что ждало впереди?
Удача иль беда? Узнаем! Погоди!

20

Стеной вокруг него сомкнулся лес зеленый.
Шагая сквозь него, он видел, удивленный,
Что в том лесу растут деревья до небес,
Что это не простой, а великанский лес!

До самых облаков деревья доходили
И, прячась в облаках, незримы дальше были.
Их листья разрослись на ветках до того,
Что пол-листа на плащ хватило б для него.

Такие комары то там, то сям мелькали,
Что, будь они у нас, их спутали б с быками,
И часто приходил на помощь Янчи меч:
Он должен был мечом чудовищ этих сечь!

А пчелы в том краю! А мухи! А вороны!
У нас они малы, а там они огромны!
Мой витязь увидал одну издалека,
И то она была, как туча, велика!

Ну, словом, путник наш всё осмотрел, как надо.
Вдруг встала перед ним гранитная громада
И кровля вознеслась, рубинами горя,
Он был перед дворцом циклопьего царя.

Не знаю, с чем сравнить его ворота можно!
Боюсь, чтоб как-нибудь не выразиться ложно,
Поэтому скажу, что царь и великан
Не станет жить в избе, свой уважая сан!

«Ну, что ж! — сказал пастух, всё оглядев снаружи.—
Пожалуй, и внутри окажется не хуже
Вид этого дворца! Войду в него теперь!.. —
Он смело отворил чудовищную дверь.—

Ловушки не боюсь». (Был страх ему неведом!)
Циклоп-король сидел в то время за обедом.
Узнайте: что он ел? Рагу? Сосиски?.. Нет!
Он скалы пожирал. Чудовищный обед!

Когда пастух вошел в ужасное жилище,
Ему язык свело от этой страшной пищи,
Но ею пришлеца из человечьих стран
Задумал угостить злорадный великан:

«Уж если ты пришел, то пообедай с нами.
Коль ты скалы не съешь,— тебя съедим мы сами,
И скромный наш обед, и пресный и сухой,
Сегодня сдобрим мы, незваный гость, тобой!»

От речи короля другому б стало жутко!
Жестокий тон ее не походил на шутку.
Но у героя был бестрепетный язык.
«Признáюсь, я к таким обедам не привык,

Но всё же я готов! — спокойно отвечал он.—
И только об одном прошу вас: для начала
Поменьше положить на блюдо мне скалу».
Проговоривши так, он смело сел к столу.

Отрезав от скалы кусок пятифунтовый,
Царь молвил: «Вот твоя галушка и готова!
Как съешь ее, еще получишь две иль три.
Да только разгрызай как следует, смотри!»

«Ты будешь сам ее грызть в день своей кончины
И все свои клыки тупые, дурачина,
Обломишь об нее!» — воскликнул наш герой
И в короля метнул отрезанной горой.

Обломок этот в лоб так хлопнул великана,
Что мозг его потек, как влага из стакана,
И вышиб навсегда его свирепый дух.
«Давай еще одну! — смеясь, сказал пастух.—

Но, видимо, тебе галушки повредили!..»
Над смертью короля циклопы приуныли,
Прошибла их слеза от этакой беды.
(Одна слезинка их равна ведру воды!)

И старший великан, смущен подобной силой,
Промолвил пастуху: «Ах, господин, помилуй!
Коль нашего царя ты победил в борьбе,
То мы хотим служить вассалами тебе!»

«В том, что сказал наш брат, звучит и наша воля! —
Заговорили все.— Сядь на пустом престоле
И под руку свою нас всех принять изволь!
Отныне, человек, ты будешь наш король!»

«Быть вашим королем,— сказал он,— я согласен.
Но я отправлюсь в путь, что долог и опасен,
И ваш покину край, а вице-королем
Кого-нибудь из вас пока оставлю в нем

С тем, чтоб о всех делах подробно мне писал он.
От вас же одного прошу, как от вассалов:
Коль вы, не ровен час, мне будете нужны,
То все вы в тот же миг со мною быть должны!»

Тут золотой свисток из сумки вынул старший:
«Мы выполним свой долг и твой приказ монарший!
Лишь только свистнешь ты — и через пять минут,
Где б ни был ты, король, мы будем тут как тут!»

Когда он уходил, все пожелали счастья
Ему в делах его. Как символ царской власти,
Прилежно спрятал он свой золотой свисток
И через темный лес пустился на восток.

21

Я точно не могу сказать вам, сколько шел он,
Но с каждым шагом день сменялся мглой тяжелой,
И делалась она всё гуще, всё темней,
И света наконец не стало видно в ней.

«Ужели я ослеп? — догадки Янчи гложут.—
Иль среди бела дня настала ночь, быть может?»
Но полночь далека, глаза его целы.
Всё дело в том, что он спустился в царство мглы.

Ни солнце, ни луна, ни звезды полунощи
Не светят в том краю. Наш Янчи брел на ощупь.
Как черная стена, кругом стояла мгла,
И шелестели в ней нетопырей крыла.

Нет, это не крыла шумели без умолку!
То стая грязных ведьм, усевшись на метелки,
Летала взад-вперед. (Та черная страна
Была собранью ведьм нечистым отдана.)

Сюда отродья тьмы в условленные даты
Слетались каждый год на шабаш свой проклятый.
На шабаше как раз их и застали мы,
Когда они сошлись здесь, в самом сердце тьмы.

Таинственный костер пылал в пещере горной,
Над ним висел котел продымленный и черный,
А из него плыла неслыханная вонь!..
Пастух свои шаги направил на огонь,

Тихонько подошел и, к скважине замочной
Прильнувши, увидал их шабаш полуночный,
Пещеру, сотни ведьм вместившую, и в ней
Немало разглядел диковинных вещей:

В котел бросали жаб, мешки голов крысиных,
Проклятый черный мох, растущий на осинах,
Цветы, что расцвели у виселиц столба,
Гадюк хвосты, котов, людские черепа...

Считай иль не считай, а всё не перечислишь!
Тут даже Янчи наш похолодел от мысли,
Что он вполне здоров, не бредит, не ослеп,
А к ведьмам угодил в их колдовской вертеп!

Он руку протянул, чтоб вынуть из кармана
Свой золотой свисток, подарок великана,
И вдруг на метлы он наткнулся в темноте:
Колдуньи в уголку сложили метлы те,

Что над землею их носили, словно кони...
Наш Янчи поплевал на крепкие ладони,
В охапку метлы взял и схоронил вдали
От шабаша, чтоб их колдуньи не нашли.

Потом он засвистал пронзительно и длинно,
Тут встала перед ним ватага исполинов.
«Убейте этих ведьм! — он приказал.— Вперед!»
И рыцари его вломились в чертов грот.

В пещере началась большая заваруха:
Колдуньи из нее, царапая друг друга,
Метнулись к метлам все, но их и след простыл!
Так к отступленью путь отрезан ведьмам был.

А между тем его циклопы не дремали:
Они над головой по ведьме поднимали,
Швыряли оземь ведьм бесчувственных — и вмиг
В лепешку сапогом расплющивали их.

Но более всего героя удивляло,
Что в небе всякий раз, как ведьма умирала,
Сияющей зари ложилась полоса
И над страною тьмы светлели небеса!

Уж небо над землей совсем прозрачно стало,
Уже проклятых ведьм осталось вовсе мало,
Уже всего одна... Пастух взглянул — и в ней
Он мачеху узнал возлюбленной своей!

«Ну, эту,— крикнул он,— я сам ударю б пол!»
И выхватил ее из крепких рук циклопа,
Но ведьма, точно вьюн, скользнула между рук
И, словно гончий пес, помчалась в поле вдруг.

«Лови ее скорей!» — он крикнул исполину.
Тот в несколько прыжков сбежал за ней в долину
И ловко, на бегу поймав ее за хвост,
Проклятую каргу швырнул до самых звезд!

И труп ее нашли у дальнего селенья,
Палач ей в сердце кол вогнал без сожаленья,
И так она была презренна для людей,
Что вóроны — и те не каркали над ней!

А над страною тьмы впервые солнце встало,
Под теплым ветерком листва затрепетала...
Собравши метлы ведьм, их Янчи сжег дотла,
И улетела в ад проклятая зола.

Потом в родимый край он отпустил циклопов,
За верность похвалив и по плечам похлопав,
Тут снова все они герою поклялись,
Что преданы ему,— и с Янчи разошлись.

22

И снова и опять в неведомые дали
Пошел он, сбросив с плеч тяжелый груз печали,
Когда же он смотрел на розу на груди,
То слышал, как цветок шептал ему: «Иди!»

Он розу ту сорвал в час горький, в час унылый
С печального куста над памятной могилой,
Но ежели теперь увядший вид цветка
В нем и будил тоску,— она была сладка...

Был вечер. Солнца шар катился вниз куда-то,
Оставив за собой кровавый след заката.
Померкли облака и сделались темны,
И землю озарил зеленый свет луны.

Наш Кукуруза брел под призрачным сияньем,
Он в этот день прошел большое расстоянье
И на какой-то холм, измученный, прилег,
Чтоб после дня пути передохнуть часок.

Измученный прилег, уснул и не заметил,
Как ржавые венки качал полночный ветер
На каменных крестах, встававших в полный рост.
(А это был погост, заброшенный погост!)

Когда же наступил ужасный час полночи,
В могилах мертвецы свои раскрыли очи,
Разверзлась, застонав, сырая пасть могил —
И хоровод теней героя обступил.

Их страшная толпа плясала и визжала,
Под пятками у них сама земля дрожала,
Но за день так устал, так истомился он,
Что не могли они его нарушить сон.

Один мертвец отер могильный прах на веках
И дико закричал: «Я вижу человека!
Утащим-ка его в подземный край могил,
Раз в наше царство он бестрепетно вступил!»

Скелеты черепа к герою повернули
И кости мертвых рук над спящим протянули,
Но голосом трубы, далеким и глухим,
В деревне в этот миг запели петухи.

И хлопьями ночных блуждающих туманов
В могилу мертвецы обрушились, отпрянув,
И Янчи вышел в путь по холодку зари,
Не зная, чем ему грозили упыри.

23

Он вскоре поднялся на горную вершину.
Уж солнышко росу жемчужную сушило,
И так прекрасен мир казался в этот час,
Как будто он его увидел в первый раз!

Рассветная звезда над морем умирала...
Она еще жила, она еще играла,
Но, словно вздох мольбы, погасла наконец,
И солнце вознесло над миром свой венец!

Шар солнышка в зенит катился постепенно
И ласково смотрел на шелковую пену
У моря на груди — на синей, на такой
Огромной, что ее не охватить рукой!

Лишь рыбки на морской поверхности шалили,
А воды так светлы и так прозрачны были,
Что рыбья чешуя слепила блеском глаз,
Сквозь толщу этих вод сверкая, как алмаз.

Избушка рыбака стояла над водою,
И старец с бородой волнистой и седою
В пучину невод свой закинул с челнока.
И Янчи попросил седого рыбака:

«Не можете ли вы, отец мой, через море
Меня перевезти? Да только вот в чем горе:
Я беден. У меня гроша в кармане нет!»
Приветливый рыбак сказал ему в ответ:

«Хотя б ты был богат,— мне золота не надо.
Обильный мой улов — богатая награда
За ежедневный труд. Морская глубина —
Кормилица моя. Мне плата не нужна!

Но, видно, ты пришел издалека, не зная,
Что этот океан лег без конца, без края
И на берег другой отсюда нет пути.
Я не могу тебя туда перевезти».

«Что нет ему конца, мне было неизвестно,—
Ответил наш пастух,— но это интересно!
Хотя бы мне пришлось очнуться в нем на дне,—
Я перейду его, лишь стоит свистнуть мне».

Свой золотой свисток из сумки Янчи вынул.
Тотчас же стал пред ним один из исполинов.
«Не можешь ли меня,— спросил пастух слугу,—
За море отнести?» И тот сказал: «Могу.

Взберитесь побыстрей ко мне на плечи, витязь,
За волосы мои покрепче уцепитесь,
И я вас отнесу по этой луже вброд».
Промолвил великан и двинулся вперед.

24

Огромны, как столбы, гиганта ноги были.
Он ими, что ни шаг, отхватывал полмили.
Уже он долго шел,— недель, пожалуй, пять,—
А морю ни конца ни края не видать.

Лишь через шесть недель они в туманной дали
Темнеющей земли полоску увидали.
И Янчи закричал: «Вот берег новых стран!»
«Нет, это остров фей! — ответил великан.—

Наверное, и вы слыхали сказок вдосталь
Про их чудесный край, про их блаженный остров,
Лишь море вкруг него без края разлито,
А за морем лежит Великое Ничто».

«Неси,— сказал пастух,— меня на этот остров!»
— «Согласен! Но туда попасть не так-то просто.
На берегу его мы будем через час,
Но должен вам сказать, что ждет опасность нас!

Блаженный остров тот — край эльфов и сокровищ —
От смертных стерегут семь сказочных чудовищ...»
Но Янчи приказал: «Не спорь! Скорее в путь!
С чудовищами сам я справлюсь как-нибудь!»

И к чудо-островку, встающему из моря,
Послушный великан понес его, не споря,
Поставил на скалу и, шлепая по дну,
Через морской простор ушел в свою страну.

25

У входа в царство фей медведи сторожами
Стояли и людей когтями поражали.
Пастух на них напал у первой из дверей
И скоро прямо в ад отправил трех зверей.

Но вот опять стена и новые ворота.
Тут витязя ждала куда трудней работа,
И засучить пришлось по локоть рукава:
Здесь были на часах три аравийских льва!

Героя ли смутит безделица такая?
Бесстрашный и на них напал, мечом сверкая.
Хоть вовсе не шутя сопротивлялись львы,
Он все-таки отсек три львиных головы.

Победой упоен, не отирая пота,
Он штурмовать решил последние ворота.
Огромные, они стояли под замком,
И подле них лежал чудовищный дракон.

Уж это был дракон... О господи, помилуй...
Ужасные глаза сверкали дикой силой
И леденили кровь!.. Рот зверя был таков,
Что сразу шестерых проглатывал быков.

Хоть смелости всегда у пастуха хватало,
Но понял он, что тут одной отваги мало,
Что острой саблей с ним не сделать ничего,
И способа искал — как победить его.

Дракон разинул пасть и, щелкая клыками,
Зловеще зашипел. Потом заполз на камень
И был уже готов на пастуха напасть,
Но Кукуруза сам к дракону прыгнул в пасть.

И эта пасть за ним захлопнулась, как дверца!
Тут в полной темноте найдя драконье сердце,
Безжалостно его пронзил мечом пастух...
На землю изрыгнув свой ядовитый дух,

Ужасный околел... Что ж сделал Янчи смелый?
В боку у зверя он мечом дыру проделал
И, выпрыгнув, пошел в страну прекрасных фей.
Он тысячу чудес увидел сразу в ней!

26

В стране прекрасных фей морозов нет, конечно:
Роскошная весна там зеленеет вечно;
Восходов солнца нет, закатов солнца нет:
Всегда сияет там зари нежнейший свет!

Блаженна та страна — она подобье рая.
В ней не едят, не пьют, живут, не умирая.
У эльфов и у фей течет огонь в крови,
И служат пищей им лобзания любви.

Не плачет горе там, и не имеет власти
Над их сердцами грусть. Но ежели от счастья
У феи капли слез покатятся из глаз,
То каждая слеза становится алмаз.

Прекрасны косы фей! Они, забавы ради,
Хоронят в недрах гор их золотые пряди:
То золото, друзья, что на земле нашлось,—
Всё это пряди их окаменевших кос!

Из глаз у фей лучи такие вылетают,
Что радуги они из тех лучей сплетают.
Кто радугу длинней и ярче всех сплетет,
Тот ею и спешит украсить небосвод.

В часы, когда они уснут на брачном ложе,
Их теплый ветерок ласкает, не тревожа,
Их нежит и томит дыхание весны,
И феи в те часы такие видят сны,

Что даже их страна тех чудных снов бледнее!..
Когда наедине с возлюбленной своею
Остался человек, любовью упоен,
Он разве лишь тогда подобный видит сон.

27

Понятно, что пастух, вступая в их владенья,
Не мог на это всё глядеть без удивленья.
От света у него в глазах рябило вдруг,
Порою наш герой не смел глядеть вокруг...

Народец той земли без страха Янчи встретил.
Малютки вкруг него собрались, точно дети,
Заговорили с ним и в глубь своей земли,
Приветливо смеясь, героя повели.

Он с ними обошел весь островок, но вскоре
У витязя в груди зашевелилось горе.
В стране счастливых фей, в их радостном краю
Не мог не вспомнить он про Илушку свою:

«Зачем в стране любви жестокосердным роком
Я осужден всю жизнь скитаться одиноким?
Что б я ни видел, всё напоминает мне,
Что счастлив без нее не буду я вполне!»

Вблизи виднелся пруд спокойный и прозрачный.
Он подошел к пруду, заплаканный и мрачный,
С могильного холма возлюбленной своей
Взял в руки розу он — и обратился к ней:

«Сокровище мое! Пусть будет нам с тобою
Гробницей этих волн пространство голубое,
Пусть примет нашу грусть их светлая вода!
Я за тобою сам последую туда!»

Тут кинул розу он в сверкающие волны...
Но — чудо из чудес! Над заводью безмолвной
Вдруг в Илушку цветок преобразился!.. Вдруг
Явился перед ним его желанный друг!

(Он кинул свой цветок в источник вечной жизни,
Жививший всё, на что его водой ни брызни.
Едва лишь залила чудесная волна
Цветок его любви — и ожила она!)

Я много песен спел веселых и унылых,
Но что он испытал, я рассказать не в силах,
Когда, неся ее из чудотворных струй,
Он на губах своих почуял поцелуй!

Как Илушка его была красива! С нею
Сравниться не могли прекраснейшие феи
И выбрали ее царицей. А потом
И эльфы пастуха избрали королем.

Промчалось много лет! Давно всё это было!
Но Янчи с этих пор не разлучался с милой:
Как добрый властелин, он правит вместе с ней
До нынешнего дня счастливым царством фей!
1939

С ПОЛЬСКОГО

Адам Мицкевич

ПАН ТАДЕУШ

(Отрывки из поэмы)

1

Наутро господа и гости в Соплицове,
Размолвкой смущены, молчат да хмурят брови.
Дочь Войского велит прислуге задремавшей
Подать колоды карт мужчинам для марьяша,
А дам зовет гадать... Никто не веселится!
Лишь вьется трубок дым да шевелятся спицы.
Тут мухи мрут с тоски! Пан Войский, встав не в духе,
Отправился в подвал, где ссорятся стряпухи,
Где слышатся шлепки и вопли экономки,
Откуда поварят галдеж несется громкий.
Там наконец его развеселило пламя
И вид бараньих туш в печи над вертелами.

Судья скрипел пером, стараясь вызов грозный
Составить побыстрей, а терпеливый возный
Ждал под окном. И вот, свой труд замысловатый
Прочел ему судья: он требовал расплаты
От графа за вранье, позорное для чести
Шляхетской, он писал, что справедливой мести

Гервацпй заслужил за дерзкие удары,
Вчинял обоим иск, просил суда и кары.
Бумагу пан судья отправил в город мигом,
Дабы ее внесли в реестровую книгу.
А возному сказал, что в путь сбираться надо,
Чтоб вызов получил обидчик до заката.
С торжественным лицом, приличным этой вести,
Тот, взяв его, едва не заплясал на месте:
Он молодел душой в судебных передрягах!
Ведь в юности своей на этаких бумагах
Он наживал порой изрядные деньжата:
Не только синяки ему бывали платой!

Доволен от души работой столь отрадной,
Он форменный костюм спешит надеть нарядный.
Конечно, не контуш и не жупан надел он:
Он только на больших судах пускал их в дело.
А нынче, облачась в широкие рейтузы,
Он куртку натянул поверх рабочей блузы,
Для быстроты в ходьбе поднял повыше полы,
Надвинул до бровей на лоб треух тяжелый,
Наушники спустил, как в зимнее ненастье,
Взял палку и пешком, перекрестясь на счастье,
Пошел в опасный путь: ведь возный, как лазутчик,
Скрываться от врага был вынужден получше.

В пути он вел себя под стать лисе-плутовке:
Мясцо ей по нутру, но и стрелков уловки
Страшат ее. Она, ловя ноздрями ветер,
Обнюхивает всё, что на пути ни встретит,
Стараясь угадать: свежа находка, или
Охотники ее заране отравили?..
Сойдя с дороги, он побрел вдоль сенокоса,
К усадьбе подошел, но вдаль глядел, на просо,
И палкой так махал, чтоб всяк, бродягу встретив,
Решил, что коз своих в потраве он заметил.
Согнувшись, он ползком нырнул в густые травы
(Точь-в-точь коростеля так гонит пес легавый!),
К усадебной стене подполз и, мигом прянув
Через нее, исчез в раздолье конопляном.

Не раз в конопле той, согретой солнцем теплым,
И зверь, и человек спасал себя. В коноплю
Стремглав бежал косой, настигнутый в капусте;
Сигнет он в глушь ее, и пес его упустит,—

Она стеной стоит, залезешь — колет лапы,
Сбивает со следов ее тяжелый запах!
Дворовый, провинясь перед сердитым паном,
Спасался от плетей на поле конопляном,
Туда же рекрута бежали от набора,—
Властям их отыскать удастся там не скоро.
А в дни заездов, в дни междоусобной брани
И шляхтичи занять старались конопляник:
Удобно из него вести осаду было,—
Вплетаясь в дикий хмель, он прикрывал их с тыла.

Протазий был не трус, но запах стеблей вялых
Привел ему на ум ряд случаев бывалых,
Смутивших дух его,— свидетелем которых
Встарь конопляник был: горячий, словно порох,
Пан Дзиндолет из Тельш, нацелясь пистолетом,
Загнал его под стол, когда для Дзиндолета
Привез он вызов в суд, и там держал, желая,
Чтоб этот вызов он из-под стола пролаял.
Не помогли тогда ни жалобы, ни вопли,
Ни слезы старику, да помогла конопля.
Другим его врагом был дерзкий Володкевич,
Что сеймики громил и суд порочил в гневе.
Посланье прочитав, он хлопов кликнул снизу
И возному велел съесть принесенный вызов.
Тот сделал вид, что ест, но, малый расторопный,
Бочком пробрался в дверь и во весь дух — в коноплю!

Хоть вымер на Литве обычай тот столетний —
На вызов отвечать кинжалом или плетью
(И лишь изредка теперь встречали возных бранью),
Протазий полагал, что всё идет, как ране:
Он не служил давно, хоть и просил об этом,—
Быть возным старику — работа не по летам.
Судья его гонцом Фемиды быстрокрылой
И нынче б не послал, да дело спешным было!

Протазий, чуть дыша, развел рукой кустарник
И выглянул: в дому, в конюшнях и на псарнях
Не видно ни души. Дивясь такому чуду,
Поближе он подполз. Вновь смотрит. Тихо всюду!
Тут, малость осмелев, решает возный: «Ну-ка
К окошку подберусь!» Во всем дому — ни звука.
Тогда Протазий наш толкает дверь с размаха
И в графский коридор ступает не без страха.

Безлюдье, как в пустом завороженном замке!
Опасливо держа ладонь на медной клямке,
Протазий громко стал читать судейский вызов.
Вдруг слышатся шаги... Уже, свой сан унизив,
Старик хотел бежать. Но в кухню входит Робак.
Знакомые сошлись и удивились оба.

Заметно, что в поход спешил вельможный шляхтич:
Он дворню взял с собой, а дверь оставил настежь.
Видать, вооружал он гайдуков: на полках
Валялись штуцера, патроны и двустволки,
Слесарный инструмент, каким оружье чинят,
Был вынут из мешка и наспех в угол кинут,
Стояли шомпола и порох в банках... Что-то
Не видно, чтобы граф сбирался на охоту!
Коль зайцев он травить уехал,— разве нужно
Для этого ему холодное оружье?
А между тем лежит — тут сабля без эфеса,
Там сабля без ножон... Похоже, граф-повеса
Их слугам раздавал, готовясь к битве жаркой...
Знакомые нашли двух баб в саду фольварка,
Пугнули их, и те сказали поневоле,
Что в Добжин ускакать с дружиной граф изволил.

2

Отвагой шляхтичей и красотой шляхтянок
Прославлено в Литве местечко Добжин. Канул
В былое год, когда Ян Третий, духом твердый,
Под метлы собирал отряды шляхты гордой.
Из Добжина тогда привел к нему хорунжий
Шестьсот панов с людьми, конями и оружьем.
То был счастливый век! А нынче обеднело
Шляхетство и порой вздыхает: «То ли дело
Бывало в старину? На сеймах, на охотах
Мы ели легкий хлеб! А нынче знай работай,
Как подневольный хлоп!.. Едва лишь не в сермягах
Гуляют те, что встарь в жупанах и при шпагах
Блистали на балах. На благородных паннах,
В отличье от рубах мужицких домотканых,
Пестреют платьица из ситчиков фабричных,
Но скот пасти они считают неприличным
В лаптях. В свином хлеву, как на паркетах гладких,
Гуляют в башмачках и шерсть прядут в перчатках.
Мужчины там стройны, крепки, широкоплечи.

От прочих на Литве — по чистой польской речи
Легко их отличить. Влиянье ляшской крови
Сказалось в добжинцах. Их волосы и брови,
Как смоль, черны. Лицом они пригожи сами —
Высоколобые, с орлиными носами.
Кто ни увидит их, всем ясно, что из Польши
Они ведут свой род. Хоть пролетело больше
Четырехсот годов с тех пор, как стаей птичьей
Осели здесь они,— мазурский свой обычай
Всё добжинцы блюдут. Крестя ребят — святого
Всегда берут они из края, им родного.
Пример найти легко: так, ежели папашу
Варфоломеем звать, то сына Матиашем
Окрестят, и когда отца зовут Матеем,—
Наследника наречь должны Варфоломеем.
Привычно нежит слух им звук имен старинных:
Все женщины подряд там Кахны иль Марины,
Чтоб одного с другим не спутать с непривычки,—
У женщин и мужчин есть прозвища и клички.
Те прозвища дают и трусу, и герою,
Одно не подойдет — придумают второе:
Вас этак, скажем, ксендз назвал, крестя в купели,
А в Добжине найти вам прозвище сумели
Похлеще!.. Из него в дома панов окрестных
Страсть клички раздавать проникла повсеместно,
Но, раздавая их, толпа не замечала,
Что в Добжине они берут свое начало
И там они нужны. Везде ж, где их давали
Из моды подражать,— они умны едва ли!

Так Добжинский Матей друзьями против воли
Был прозван «Петушком, сидящим на костеле».
Но с той поры, когда восстание Костюшки
Разбили и в земле похоронили пушки,
Соседи, отменив его былую кличку,
«Забоком» стали звать Матея за привычку,
Чуть ссора закипит, хвататься то и дело
За левое бедро, где сабля встарь висела.
Литвины же его «Матеем средь Матеев»
Прозвали, так как он, господствовать умея,
Был земляками чтим и свой фольварк построил
На площади, между костелом и корчмою.

Старинный тот фольварк, казалось, рухнет скоро.
Виднелся сад в пролом упавшего забора,
Березки средь двора белели, точно свечки...

И всё ж фольварк тот был столицею местечка!
Он был велик. Стена господской половины
Была из кирпича. Конюшни и овины
Теснились вкруг него. На обомшелой крыше,
Как на лугу, ковыль рос, что ни год, то выше.
По ветхим стрехам служб сползали прихотливо
Висячие сады шафрана и крапивы,
Пестрел хвостатый щир ковром цветистых пятен,
Чернели в чердаках окошки голубятен,
На крылышках косых разрезывая воздух,
Вкруг стен вились стрижи и щебетали в гнездах,
А кролики, резвясь, искали у порога
Просыпанный ячмень... короче, если строго
Судить, то этот дом, встарь славный,— напоследки
Подобие являл крольчатника иль клетки.
А сколько битв велось вкруг этого фольварка!
Немало тут враги оставили подарков:
В траве блестит ядра железная макушка,
По дому тем ядром пальнула шведов пушка,
Обрушило оно ворот гнилую створку,
И створка на него легла, как на подпорку.
Средь куколи густой, между седой полыни
Подгнившие кресты виднеются доныне —
Свидетели того, что польским ветеранам
В чужой земле пришлось лечь спать на поле бранном.
Внимательно взглянув, на гумнах и амбарах
Нетрудно отыскать следы пробоин старых,
А приглядевшись к ним, увидишь взглядом зорким,
Что в каждой спит картечь, как шмель в подземной
норке.

Повсюду на гвоздях, крючках и петлях старых
Виднеются следы от сабельных ударов:
Коль саблей удалось срубить гвоздя головку,
Не выщербив клинка,— ценили зыгмунтовку!
Когда-то в доме был шляхетский герб над входом,
Но ласточки, гнездясь под крышей год за годом,
Свидетельство времен о знатности и силе
Живущей тут семьи — пометом облепили.
В сараях, в кладовых, в чуланах,— если нужно,
Лишь поищи,— найдешь на целый полк оружья:
Убранство Марса — шлем, позеленев от серы
Сражений, нынче стал гнездом для птиц Венеры —
Невинных голубков. В конюшне из кольчуги
Хозяйским жеребцам дают овес прислуги,

Забыв о вертелах, безбожная кухарка
Жаркое стала печь на шпагах в печке жаркой,
Закалку с них сводя... Повсюду Марс сердитый
Был вытеснен отсель Церерой домовитой.
В усадьбе и в дому, в сараях и на гумнах
Теперь царит она с Помоной и Вертумном.
Однако, выгнав прочь вояку Марса, ныне
Должны ему вернуть былую власть богини:
Война идет опять. Примчался в Добжин конный.
Тут он стучится в дверь, там в переплет оконный.
Всех разбудил, как встарь на барщину! Местечко
Собралось у корчмы. Зажглись в костеле свечки.
Туда бежит народ. Всяк хочет знать: в чем дело?
У юношей в руках оружье зазвенело.
Ведут коней. Мужчин удерживают жены.
Всем, видно, по душе блеск сабель обнаженных,
Все рвутся в смертный бой! Одно бедняг смущает:
С кем и за что война — никто из них не знает.
А в доме у ксендза, вопрос решая трудный,
Совет из стариков собрался многолюдный,
Но должного принять решенья не умея,
Послал своих гонцов в фольварк к отцу Матею.

Был крепок, несмотря на семьдесят два года,
Конфедерат Матей, седой солдат свободы.
Противники его до смерти без опаски
Припомнить не могли меч старика дамасский!
Звал «Розочкой» Матей свой кладенец бойцовский.
Он с Тизенгаузеном, подскарбием литовским,
Под знаменем одним сражался, точно с братом,
И королю служил, забыв конфедератов.
Но в день, когда король поехал в Тарговицу,
Ушел, с былым врагом не в силах помириться.
Он часто флаг менял! Кто знает: не за то ли
Его и «Петушком, сидящим на костеле»
Прозвали, что старик ряд партий друг за другом
Переменил, кружась по ветру, точно флюгер.
Причину перемен столь частых понапрасно
Искали б. Может быть, влюбленный в битвы страстно,
Он, стороне одной добыв мечом победу,
Старался и другой ее доставить следом?
А может быть, идти под тем стремился флагом,
Что нес, как думал он, его отчизне благо?
Все знали: в бой его влекла не жажда славы,
Не мелкая корысть и не расчет лукавый.

В последний раз они с прославленным Огинским
Под Вильною дрались, водимые Ясинским.
Всем показал Матей там чудеса отваги.
Один в толпу врагов он прыгнул с вала Праги
И в бой пошел, спеша на выручку Потея,
Что, брошенный, во рву лежал, от ран слабея.
Считали на Литве, что смельчаки убиты.
Глядят,— они пришли, исколоты, как сито.
Достойный пан Потей решил, что, дескать, надо
Матею дать за то богатую награду:
Он предложил ему фольварк, пять тысяч злотых
И хлопов пять семейств для барщинной работы.
Но старый отписал: «Пускай Матей Потея
Считает должником, а не Потей Матея».
Так отказался он от щедрого подарка.
Не взяв ни мужиков, ни денег, ни фольварка,
Трудами рук своих жил престарелый Матек:
На рынок вывозил он битых куропаток,
Лекарства для скота варил, для пчел колоды
Сколачивал да ждал от кроликов приплода.
Ходь в Добжине найдешь немало и доныне
Ученых, что сильны в законах и в латыни,
Хоть есть там богачи, а всё же между ними
Седой бедняк Матей считался самым чтимым
За прямоту души и мужество. Однако
Матей прославлен был не только как рубака:
Он был остер умом и умудрен годами,
Хранил родной страны забытые преданья,
Охотников мирил, знал всех пернатых нравы,
Весною собирал лекарственные травы
И, как ни спорил ксендз,— твердил народ окрестный,
Что будто обладал он силою чудесной.
И правда: вёдро ль он иль дождь сулил народу,—
Не мог и календарь так предсказать погоду!
Любой, кто начинал судиться или сеять,
Гнать баржи или жать,— шел наперед к Матею:
Тот помощи просил, тот спрашивал совета...
Старик у земляков искать авторитета
Не думал. Он встречал просителей сурово
И часто гнал за дверь, не говоря ни слова.
Лишь если возникал серьезный спор на сходке,—
Коль спросят у него,— давал ответ короткий.
Все думали, что он и нынешнее дело
Решит и, как всегда, поход возглавит смело.

Матей, сойдя во двор, заросший хмелем диким,
Глядел на облака и песенку мурлыкал:
«Когда взойдет заря». Погоду обещая,
Туман не улетал, а тяжелел и таял.
Рассветный ветерок его волною длинной
Прилежно устилал окрестные долины,
И солнышко взошло за речкою в тумане,
То серебря его, то золотом румяня.
Так в Слуцке мастера ткут драгоценный пояс:
Ткачиха за станком, о пряже беспокоясь,
Рукой не устает разглаживать основу,
А ткач плетет узор из бисера цветного,
Расцвечивая ткань... Так ветер утром рано
Прядет земле убор из солнца и тумана.

Матей прочел псалом и, подойдя к воротам
Сарая, приступил к хозяйственным заботам:
С охапкою травы присев у двери дома,
Он свистнул. В тот же миг на этот свист знакомый
Примчался рой крольчат. Старик им гладит спины,
Их красные глаза сверкают, как рубины.
Крольчата, осмелев, забрались стайкой шустрой
На руки к старику, привлечены капустой.
А он, седой, как лунь, сам белый, точно кролик,
Сидит, одной рукой подбрасывая вволю
Капусту для своих нахлебников раскосых,
Другою ж на порог из шайки сыплет просо.
Сыпнул — и в тот же миг к порогу слева, справа
Слетелась воробьев крикливая орава.
Меж тем, как занят он утехою невинной —
Кормежкою крольчат и дракой воробьиной,—
Вдруг кролики в траву, а воробьи на крышу
Шарахнулись, шаги иных гостей заслышав:
То люди к старику спешат дорожкой сада.
Из домика ксендза шляхетская громада
Послала их в фольварк Матея за советом.
Отдав ему поклон согласно этикета,
Гонцы идут в избу и славят Иисуса.
«Аминь!» — ответил им хозяин седоусый.
Узнав причину их столь раннего прихода,
На скамьи усадил Матей послов народа.
Тут встал один из них с кленовой лавки белой
И начал излагать случившееся дело.
Тем временем толпа в усадьбу прибывала!
Соседи были тут, да и чужих немало.

Тот в бричке прикатил, тот на коне, с оружьем.
Одни заходят внутрь, другие ждут снаружи,
А третьи, чтоб рассказ услыщать хоть немножко,
В светлицу к старику глядят через окошко.

3

Итак, набором фраз хоть и пустых, но звучных
Всех шляхтичей увлек красноречивый ключник.
Да как и не увлечь? Вокруг него стояло
Соседей, на судью имевших зуб, немало.
Тех он оштрафовал когда-то за потраву,
Иным он отказал в их жалобе неправой.
Все мстить ему хотят, со злобою не справясь!
Одним владеет гнев, другого жалит зависть.
Теперь весь этот люд стоял толпою злобной
Вкруг ключника, подняв кто саблю, кто оглоблю.

Тут Матек, с лавки встав и подпершись рукою,
Направился к столу и стал среди покоя.
Качая головой, смотря суровым взором
Поверх голов: «Глупцы! — он произнес с укором.—
Войну посеет граф, а беды вы пожнете.
Вас трудно приучить к общественной заботе.
Когда о Польше спор решался в смертном бое,
Вы и тогда, глупцы, бранились меж собою.
Ах, если б вы могли забыть о вечных спорах!
Вы встали б для нее железною опорой,
Но если вас опять грызет вражда былая,—
Я тысячу чертей в утробы вам желаю!..»

Он сел. Народ молчал, как пораженный громом,
Но в этот самый миг на улице за домом
Раздался крик: «Виват!» То у ворот Матея
Остановился граф и с ним отряд жокеев.
Граф в круглой шляпе был. Спадал волнистый локон
На лоб из-под нее. Заморский плащ широкий
Застежкой золотой заколот был у шеи.
Он, шпагу приподняв, у домика Матея
Стоял, и добрый конь плясал под ним, гарцуя,
А он смирял его, народу салютуя.

«Виват, вельможный граф!» — опять раздался гомон.
«С ним жить и умирать!..» Народ волной из дома
За ключником потек. Тех, кто остался, Матек
Из хаты выгнал прочь, засов задвинув в хате,

К окошку подошел и, прислонившись к раме,
Тех, что бежали прочь, опять назвал глупцами.
А шляхтичи спешат за графом и за паном
Гервазием к шинку. Три пояса с жупанов
Гервазий снять велел и тащит три бочонка
Из погреба на них. В одном была водчонка,
Мед во втором играл, а в третьем было пиво.
Три чопа выбил он, и три ручья игриво
Ударили из них. Один был серебристым,
Второй пунцовым был, а третий золотистым.
И тотчас к трем ручьям прильнуло триста чарок:
Толпа, благодаря вельможу за подарок,
Здоровье графа пьет и, торопясь напиться,
Кричит: «Вперед, паны! За графом! На Соплицу!»
1940

ПАН ТВАРДОВСКИЙ

(Вольный перевод)

Носогрейки хлопцы курят,
Пьют в дыму,
Едят в дыму,
Пляшут,
Свищут,
Балагурят
И орут на всю корчму.

На скамейке пан Твардовский
Развалился, как паша.
Служит весь синклит бесовский
Колдуну.
Гуляй, душа!

Он солдату-забияке,
Что с любым задраться рад,
Погрозил лишь пальцем в драке —
И, как мышь,
Притих солдат.

Он судье подбросил в шапку
Злотый адского литья —
И, как пес,
На задних лапках
Перед ним стоит судья.

Загулявшего портняжку,
Что пропил штаны давно,
Щелкнул в лоб,
Подставил чашку —
И рекой течет вино.

Ровно чарку гдовской старки —
Крепкой водки —
Первый сорт! —
Нацедил,
Хлебнул из чарки,
Глядь туда —
А в чарке —
Черт.

Щуплый черт одет, как стражник,
В рваный плащ и сапоги.
Знать, нечистый не из важных:
Так,
Из адской мелюзги.

Вылез черт.
Собачьим когтем
Почесал сопливый нос,
Вырос на два — на три локтя,
Кашлянул
И произнес:

«Ты,
Мосьпан,
Забыл,
Похоже,
Меж интрижек и пиров
Договор на бычьей коже,
Что твоя скрепила кровь.

Ведь, согласно договора,
Ты алхимию постиг.
Выполнял весь ад без спора
Сотни прихотей твоих.

И, как там писалось ниже,
Прямоту в делах любя,
Мы в Варшаве
И в Париже
Всем служили для тебя!

Вспомни ж,
Пунктами какими
Договор кончался наш:
Если мы сойдемся
В Риме —
Там
Ты душу нам отдашь.

Час пробил,
Ясновельможный!
Ты попался,
Старый плут.
Посмотри, неосторожный:
Ведь харчевню —
«Рим»
Зовут!»

Огляделся пан Твардовский:
Да.
Над дверью надпись —
«Рим».
Только шляхтич
Не таковский,
Чтоб отдаться в руки им!

«Что ж! — сказал,
Усмешку пряча.—
Помирать
Так помирать!
Перед смертью три задачи
Вправе я тебе задать:

На воротах церкви божьей
Видишь медного коня?
Оседлай-ка,
Если можешь,
Эту лошадь для меня.

Свей мне
Плетку из песка
Да построй высокий замок
Вон у этого леска.

Вместо дерева —
Орехи
В пятистенный сруб свяжи,

Зерна мака
Вместо стрехи
Аккуратно положи,
Да забей
В орешек каждый
Три дюймовые гвоздя...
Я дворец такой однажды
Видел,
По миру бродя».

Что поделать с окаянным?
Исхитрился ведь, шельмец:
Миг прошел —
И перед паном
Конь храпит,
Стоит дворец!

«Тьфу ты, пропасть!
Экий, право,
Прыткий бес!..
А все ж постой:
Окунись-ка,
Пане дьявол,
В пузырек с водой святой!»

Бедный черт испуган насмерть,
Вытирает лапкой пот.
«У меня,—
Он стонет,—
Насморк!
От воды меня несет!»

Лях решил:
«Уж не избег ли
Я напасти?
Струсил бес!»
Но, прошедший муштру в пекле,
В склянку черт,
Кряхтя, полез.

Вылез.
«Ну,— кричит,— и баня!
Фу!
Поддал ты пару мне!

Марш теперь,
Вельможный пане,
На расправу к Сатане!»

«Не спеши!
Помедли малость! —
Черту шляхтич говорит.—
Дельце тут еще осталось.
Сладишь с ним —
Мой козырь бит!

Слышишь —
Визг несется с луга?
Дело клонится к тому,
Что сейчас моя супруга
К нам пожалует в корчму.

Я с большой охотой,
Право,
Спрячусь в ад
На два-три дня,
Коль возьмешься ты,
Лукавый,
Заменить при ней меня.

Будь ей,
Бесе,
Вместо няни,
Угождай,
Войди в фавор,
А прогневается пани,—
Расторгаем договор!»

Черт на пани только глянул,
Грозный голос услыхал,—
К двери в ужасе отпрянул,
По корчме метаться стал.

«Что ж ты мечешься без толку?
К делу, бес!
Без дураков!»

Черт согнулся,
Юркнул в щелку,
Запищал
И был таков!

1940

ТЮЛЬПАНЫ

(Вольный перевод)

В комьях грязи дорожной
Пан Сапега вельможный
Воротился в свой краковский замок.
Пан не будит прислуги,
Прямо в спальню супруги
Он идет между дремлющих мамок.

Тихо в спальном покое...
Только вдруг — что такое?
У алькова — кровавая лужа.
Ручкой, словно из снега,
Злая пани Сапега
Заколола уснувшего мужа.

Тело спрятать ей надо:
До поляны средь сада
Дотащила тяжелого пана
И, с неженскою силой
Закопавши в могилу,
Посадила на ней два тюльпана.

Месяц плавал в тумане,
Руки вымыла пани
И спалила кровавое платье...
Утром плеткою кто-то
Постучался в ворота:
В гости едут к ней мужние братья.

«Ну, золовка, здорово!
Как! Неужто ни слова
Нет с Украйны от нашего братца?»
— «Нет полгода ни слова!
Я уж плакать готова!
Матка-боска! Убит, может статься?

Жестоки киевляне,
И на русской поляне,
Знать, гниют его белые кости!..
Скиньте шлемы тугие,
Деверья дорогие,
Отдыхайте, любезные гости!»

Дни за днями минуют,
Гости в замке пируют
С молодою хозяйкою вместе.
Смерть хранит свои тайны:
Муж не шлет ей с Украйны
С гайдуком ни поклона, ни вести.

«Пана Жигмонта в драке,
Видно, сшибли казаки! —
Говорят ей влюбленные братья.—
Не сидеть же во вдовах?
Одному из нас слово
Дай, раскрой для счастливца объятья!»

«Вот ведь, право, задача! —
Пани молвит им, плача,—
Бог свидетель, вы оба мне любы!
Оба в ратной науке
Закалили вы руки,
У обоих медовые губы.

Сговоримся заране:
Я в саду на поляне
Посадила тюльпаны весною.
Слов я даром не трачу:
Чей из двух наудачу
Я возьму, тому буду женою!»

Хочет пани, не глянув,
Взять один из тюльпанов,
Но цветы друг на друга похожи...
Быть меж братьями сваре:
«Мой!» — сказал тот, что старе.
«Мой!» — ответствовал тот, что моложе.

«Все делили мы дружно:
И коней и оружье,
А любовью поделимся вряд ли!»
Тут соперники разом
Шапки скинули наземь
И схватились за длинные сабли.

Стены замка трясутся!..
Насмерть рыцари бьются!..
Вдруг покойник выходит из гроба:

«Те тюльпаны, панове,
Напились моей крови!
Спрячьте сабли: мои они оба!..»

Братья видят в испуге
Призрак в ржавой кольчуге,
В польском выцветшем красном жупане.
Он мешает их бою
И в могилу с собою
Увлекает безгласную пани.

Это все миновало!
Уж и замка не стало:
Лишь руины стоят средь поляны
Да цветут, что ни лето,
Словно в память об этом,
На зеленой поляне тюльпаны.

Февраль 1941

С СЕРБСКОХОРВАТСКОГО

Владимир Назор

МАТЬ-СЛАВЯНКА

Насиделась ли ты на теплом пепелище отчего дома?
Сына Иова колыбельку ты нашла ли среди разгрома?
Отыскала ли ты на ощупь, ничего не видя сквозь слезы,
Образок Георгия древний? Вышиванье дочери Розы?..
Горький чад затмевает солнце, очи дым выжигает едкий,
И сидишь ты среди развалин, надломившаяся, как ветка,
Безутешная мать-славянка!

Находились ли твои ноги по полям и лесам угрюмым,
Где напрасно весь день искала ты свою коровенку Руму?
Видно, недруг угнал буренку иль волк зарезал проклятый.
Кто ж теперь кормилицей будет старой бабушке и ребятам?
Не печалься! От вражьей пули глазки деток твоих погасли.
Для кого же сбивать сметану? Что за прок в молоке и масле,
Безутешная мать-славянка?

Накричалась ли ты, вдовица, над печальной участью друга?
Он, врагам предателем выдан, был, как пес, избит и поруган,
Был измучен и крепко связан и в сырую кинут темницу...
Его сердце билось для славы, как для воздуха сердце птицы!

Но придя к тебе полумертвым, погруженным в
горькие думы,
Окровавленный и бессильный, он у ног твоих лег и умер,
Безутешная мать-славянка!

Настоялась ли ты над ямой, самой страшной ямой на свете,
Где с зарезанной бабкой рядом улеглись убитые дети
И боятся вместе с чужими спать в могиле и кличут маму...
Ты наслушалась этих криков? Нагляделась ты в эту яму?
Но отравлена ядом скорби, ядом горькой-горькой печали,
На уста свои ты сурово наложила печать молчанья,
Безутешная мать-славянка!

Ты бледнеешь, худеешь, сохнешь... Полно! Лучше кричи
и сетуй!
Пусть широким эхом несутся причитанья твои по свету!
Остротой возмездья пусть станет острота твоей скорби
древней!
Пусть вся тяжесть воспоминаний станет тяжестью мести
гневной!
Пусть обрушится на пришельцев скорбь твоя ударом
тяжелым!
Пламя мученичества пусть станет над челом твоим —
ореолом,
Безутешная мать-славянка!

Август 1945

СОДЕРЖАНИЕ

Дума о России

РУССКИЕ СТИХИ

СОЛОВЬИНЫЙ МАНÓК

ДЕНЬ ГНЕВА

МУЖСКАЯ РАБОТА

РАННИЕ СТИХИ

ПОЭМЫ, ДРАМА

ПЕРЕВОДЫ

ИЗ ПОЭЗИИ НАРОДОВ СССР

С башкирского

Мажит Гафури

С грузинского

Александр Абашели

С литовского

Людас Гира

Саломея Нерис

С осетинского

Коста Хетагуров

С татарского

Муса Джалиль

С украинского

Максим Рыльский

С эстонского

Йоханнес Барбарус

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ПОЭЗИИ

С венгерского

Шандор Петефи

С польского

Адам Мицкевич

С сербскохорватского

Владимир Назор

Кедрин Д. Б.

К 33 Дума о России/ Сост. С. Д. Кедриной; Вступ. ст. Ю. Я. Петрунина; Ил. В. В. Кортовича.— М.: Правда, 1989.—496 с.

ISBN 5-253-00096-8

В сборник произведений известного советского поэта Д. Б. Кедрина (1907—1945) включены стихотворения и поэмы разных лет, драма в стихах «Рембрандт», переводы.

К $\frac{4702010200—1942}{080(02)—90}$ 1942—90

84 Р 7

Литературно-художественное издание

КЕДРИН Дмитрий Борисович

ДУМА О РОССИИ

Составитель
Кедрина Светлана Дмитриевна

Редактор
Е. М. Кострова

Художественный редактор
Р. А. Клочков

Технический редактор
Т. В. Мешкова

ИБ 1942

Сдано в набор 16.09.88. Подписано к печати 05.12.89.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2.
Гарнитура «Баскервиль». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 26,04. Усл. кр.-отт. 26,46. Уч.-изд. л. 25,72.
Тираж 200 000 экз. (1-й завод: 1 — 100 000 экз.)
Заказ № 05442. Цена 2 р. 10 к.

Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина Издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии ордена Ленина
комбината печати издательства «Радянська Україна».
252047, г. Киев-47, проспект Победы, 50.


2 р. 10 к.


ДМИТРИЙ КЕДРИН